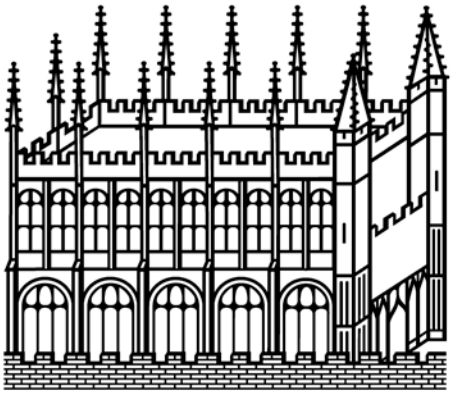


Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD

This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.

300 JJ 16

DOMI NUS ILLU MINA TIO MEA

Taylor Institution.

PG-3462. A1. 1923 (16)
= Rep. Slav. 459

OXFORD

М. ГОРЬКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

«КНИГА» О-ВО С ОГР. ОТВ.
БЕРЛИН
1923

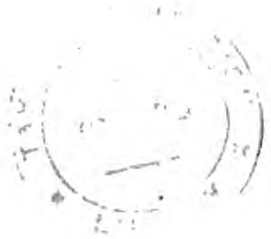
М. ГОРЬКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

PG3462. A1. 1923 (16)

VERLAG «KNIGA» G. m. b. H.
BERLIN
1923



Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechtes, vorbehalten.

Copyright by Kniga Verlag G. m. b. H. Berlin

Мои университеты.

Итак — я еду учиться в Казанский университет, не менее этого.

Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю «исключительными способностями к науке».

— Вы созданы природой для служения науке, — говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.

Я тогда еще не знал, что науке можно служить в роли кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам «кое-какие» экзамены — он так и говорил: «кое-какие» — в университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду «ученым». Все — очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал добрым сердцем.

Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним.

Провожая меня, бабушка советовала:

— Ты — не сердись на людей, ты сердишься все, строг и заносчив стал! Это — от деда у тебя, а — что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты — одно помни: не Бог людей судит, это — чорту лестно! Прощай, ну . . .

И отирая с бурых, дряблых щек скупые слезы, она сказала:

— Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я — помру . . .

За последнее время я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут, вдруг, с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека так плотно, так сердечно близкого мне.

Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукою, а другой, — концом старенькой шали, отирает лицо свое, темные глаза полные сияния неистребимой любви к людям.

И вот я в полутатарском городе, в тесной квартирке одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы, одна из его стен выходила на пустырь пожарища, на пустыре густо разрослись сорные травы, в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины, возвышались развалины кирпичного здания, под развалинами — обширный подвал: в нем жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов.

Евреиновы — мать и два сына — жили на нищенскую пенсию. В первые же дни я увидал, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трех здоровых парней, не считая себя самое?

Была она молчалива; в ее серых глазах застыло безнадежное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои; — тащит лошадка воз в гору и знает — не вывезу, — а все-таки везет!

Дня через три после моего приезда, утром, когда дети еще спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня:

— Вы зачем приехали?

— Учиться, в университет.

Ее брови поползли вверх вместе с желтой кожей лба, она порезала ножом палец себе и, высасывая кровь, опустилась на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:

— О, чорт . . .

Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:

— Вы хорошо умеете чистить картофель.

Ну, еще бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:

— Вы думаете — этого достаточно, чтоб поступить в университет?

В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнесся к ее вопросу серьезно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки.

Она вздохнула:

— Ах, Николай, Николай . . .

А он, в эту минуту, вошел в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, веселый.

— Мама, хорошо бы пельмени сделать!

— Да, хорошо, — согласилась мать.

Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо — плохо, да и мало его.

Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучек моркови, а Николай, подмигнув мне, об'яснил ее поведение словами:

— Не в духе . . .

Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины, вообще, нервнее мужчин, таково свойство их природы, — это неоспоримо доказано одним солидным ученым, кажется — швейцарцем. Джон Стюарт Милль, англичанин, тоже говорил кое-что по этому поводу.

Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно, затем Фуко, Ларош-Фуко и Лярошжаклен сливались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить кто кому отрубил голову: Лавуазье — Дюмурье или — наоборот? Славный юноша искренно желал «сделать меня человеком», он уверенно обещал мне это, но — у него не было времени и всех остальных условий для того, чтоб серьезно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство, еще менее чувствовал это его брат, тяжелый, молчаливый гимназист. А мне уже давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни, я хорошо видел изворотливость женщины, принужденной ежедневно обманывать желудки своих детей и кор-

мить приблудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне, я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтоб не обедать, а в дурную погоду — отсиживался на пустыре, в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет — фантазия, и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашел способ выращивать хлебные зерна об'емом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать немало благодеяний для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не только мне одному.

Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни жизни, а так как дней этих было много, — я все более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, и чем труднее слагались условия жизни — тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде.

Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было заработать пятнадцать-двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли, — каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголенно-жадные, люди грубых инстинктов, — мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Все, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Брет-Гарт и огромное количество «бульварных» романов, прочитанных мною, еще более возбуждали мои симпатии к этой среде.

Профессиональный вор Башкин, бывший ученик учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:

— Что ты, как девушка, ежишься, али честь потерять боязно? Девке честь — все ее достояние, а тебе — только хомут. Честен бык, так он — сеном сыт!

Рыженький, бритый точно актер, ловкими, мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котенка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился «Граф Монте-Кристо»:

— В этой книге есть и цель и сердце, — говорил он.

Любил женщин и рассказывал о них вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле, в этой судороге было что-то болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его я слушал внимательно, чувствуя их красоту.

— Баба, баба! — выпевал он, и желтая кожа его лица разгоралась румянцем, темные глаза сияли восхищением. — Ради бабы я — на все пойду. Для нее, как для чорта, — нет греха! Живи влюблен, лучше этого ничего не придумано!

Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви, — его песни распевались во всех городах Волги, и — между прочими — ему принадлежит широко распространенная песня:

Не красива, я бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это . . .

Хорошо относился ко мне темный человек Трусов, благообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской «часовых дел мастер», но занимался сбытом краденого.

— Ты, Максим, к воровским шалостям не приучайся! — говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищурив хитрые и дерзкие глаза. — Я вижу: у тебя иной путь, ты человечек духовный.

— Что значит — духовный?

— А — в котором зависти нет ни к чему, только любопытство . . .

Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому; между прочим, зависть мою возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным, стихоподобным ладом с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении:

— «Мутноокой ночью сижу я, — как сыч в дупле, — в номерах, в нищем городе Свияжске, а — осень, октябрь, ленивенько дождь идет, ветер дышет, точно обиженный татарин песню тянет; — без конца песня: о-о-о-у-у-у» . . .

. . . «И вот пришла она, легкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах — обманная чистота души. «Милый», — говорит честным голосом — «не виновата я против тебя». Знаю — врет, а верю — правда! Умом — твердо знаю, сердцем — не верю, никак!»

Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывал глаза и часто мягким жестом касался груди своей против сердца.

Голос у него был глухой, тусклый, а слова — яркие, и что-то соловьиное пело в них.

Завидовал я Трусову, — этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев, а однажды таинственно сказал о царе Александре III:

— Этот царь в своем деле мастер!

Трусов казался мне одним из тех «злодеев», которые в конце романа — неожиданно для читателя — становятся великодушными героями.

Иногда, в душные ночи, эти люди переправлялись через речку Казанку, в луга, в кусты, и там пили, ели, беседуя о своих делах, но чаще — о сложности жизни, о странной путанице человеческих отношений, особенно много о женщинах. О них говорилось с озлоблением, с грустью, иногда — трогательно и почти всегда с таким чувством, как будто заглядывая во тьму, полную жутких неожиданностей. Я прожил с ними две, три ночи под темным небом с тусклыми звездами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. Во тьме, влажной от близости Волги, ползли во все стороны золотыми пауками огни мачтовых фонарей, в черную массу горного берега вкраплены огненные комья и жилы — это светятся окна трактиров и домов богатого села Услон. Глухо бьют по воде плицы колес пароходов, надсадно, волками воют матросы на караване барж, где-то бьет молот по железу, заунывно тянется песня, — тихонько тлеет чья-то душа, — от песни на сердце пеплом ложится грусть.

И еще грустнее слушать тихо скользящие речи людей, — люди задумались о жизни и говорят каждый о своем, почти не

слушая друг друга. Сидя или лежа под кустами, они курят папиросы, изредка — не жадно — пьют водку, пиво и идут куда-то назад, по пути воспоминаний.

— А вот со мной был случай, — говорит кто-то придавленный к земле ночною тьмой.

Выслушав рассказ, люди соглашаются:

— Бывает и так, — все бывает . . .

«Было», «бывает», «бывало» — слышу я, и мне кажется, что в эту ночь люди пришли к последним часам своей жизни, — все уже было, больше ничего не будет!

Это отводило меня в сторону от Башкина и Трусова, но все-таки — нравились мне они и по всей логике испытанного мною было бы вполне естественно, если б я пошел с ними. Оскорбленная надежда подняться вверх, начать учиться — тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне способным на преступление не только против «священного института собственности». Однако, романтизм юности помешал мне свернуть с дороги, идти по которой я был обречен. Кроме гуманного Брет-Гарта и бульварных романов я уже прочитал не мало серьезных книг, — они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более значительному, чем все, что я видел.

И в то же время у меня зародились новые знакомства, новые впечатления. На пустырь, рядом с квартирой Евреинова собирались гимназисты играть в городки, и меня очаровал один из них — Гурий Плетнев. Смуглый, синеволосый как японец, с лицом в мелких черных точках, точно натертым порохом, неугасимо веселый, ловкий в играх, остроумный в беседе, он был насыщен зародышами разнообразных талантов. И, как почти все талантливые русские люди, он жил на средства, данные ему природой, не стремясь усилить и развить их. Обладая тонким слухом и великолепным чутьем музыки, любя ее, он артистически играл на гуслях, балалайке, гармонике, не пытаясь овладеть инструментом, более благородным и трудным. Был он беден, одевался плохо, но его удальству, бойким движениям жилистого тела, широким жестам, очень отвечали: измятая, рваная рубаха, штаны в заплатах и дырявые, стоптанные сапоги.

Он был похож на человека, который после длительной и тяжкой болезни только-что встал на ноги, или похож был на узника,

вчера выпущенного из тюрьмы — все в жизни было для него ново, приятно, все возбуждало в нем шумное веселье — он прыгал по земле, как ракета-шутиха.

Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной, веселой трущобе — «Марусовке», вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоеванный у владельцев его: голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнев помещался в корридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце корридора у окна: стол, стул и это — все. Три двери выходили в корридор, за двумя жили проститутки, за третьей — чахоточный математик из семинаристов, длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жесткой рыжеватой шерстью, едва прикрытый грязным тряпьем; сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и ребра скелета.

Он питался, кажется, только собственными ногтями, об'едая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным, но, из жалости, подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он поднимал с пола свертки и уносил к себе, всхрапывая как усталая лошадь. Если же они забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары, он, открывая дверь, хрипел в корридор:

— Хлеба!

В его глазах, провалившихся в темные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого сознанием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец, с вывернутой ногою, в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на желтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча, в странной тишине. Только однажды, поздно ночью меня разбудил хриплый яростный крик математика:

— А я говорю — тюрьма! Геометрия — клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!

Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел:

— К чорту! Вон!

Когда его гость выкатился в корридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетайку, — математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в спутанные волосы на голове, хрипел:

— Эвклид — дурак! Дур-рак . . . Я докажу, что Бог умнее грека!

И хлопнул дверью настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.

Вскоре я узнал, что человек этот хочет — исходя от математики — доказать бытие Бога, но он умер раньше, чем успел сделать это.

Плетнев работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать копеек в ночь и, если я не успевал заработать, мы жили потребляя в сутки четыре фунта хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для работы, — нужно было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, капризно-гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему, оказалось, что я начал учиться «слишком рано» и, что даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места, — по возрасту.

Плетнев и я спали на одной и той же койке, я — ночами, он — днем. Измятый бессонной ночью, с лицом еще более потемневшим и воспаленными глазами, он приходил рано утром, я тотчас бежал в трактир за кипятком, самовара у нас, конечно, не было. Потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика фельетониста «Красное домино» и удивлял меня шутливым отношением к жизни, — мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне.

У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за «квартиру» ему было нечем, и он платил веселыми шутками, игрою на гармонике, трогательными песнями; когда он, тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из ее нахальных глаз на пухлые, сизые щеки пьяницы и обжоры обильно катились мелкие слезинки,

она сгоняла их с кожи щек жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.

— Ах, Гурочка, — вздыхая, говорила она, — артист вы! И будь вы чуточку покрасивше — устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношев пристроила к женщинам, у которых сердце скучает в одинокой жизни!

Один из таких «юношев» жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего — скорняка, парень среднего роста, широкогрудый с уродливо узкими бедрами, похожий на треугольник острым углом вниз, угол этот немного отломлен, — ступни ног студента маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос, а на белом, бескровном лице угрюмо таращились выпуклые, зеленоватые глаза.

С великим трудом, голодая, как бездомная собака, вопреки воле отца, он исхитрился кончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и ему захотелось учиться пению.

Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет сорока, сын ее был уже студент на третьем курсе, дочь — кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая, как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие, серые глаза, скрытые в темных ямах, одета она в черное платье, в шелковую старомодную головку, в ее ушах дрожат серьги с камнями ядовито-зеленого цвета.

Иногда, вечерами или рано по утрам, она приходила к своему студенту, и я не раз наблюдал, как эта женщина, точно прыгнув в ворота, шла по двору решительным шагом. Лицо ее казалось страшным, губы так плотно сжаты, что почти не видны, глаза широко открыты, обреченно, тоскливо смотрят вперед, но — кажется, что она слепая. Нельзя было сказать, что она уродлива, но в ней ясно чувствовалось напряжение, уродующее ее, как бы растягивая ее тело и до боли сжимая лицо.

— Смотри, — сказал Плетнев — точно безумная!

Студент ненавидел купчиху, прятался от нее, а она преследовала его точно безжалостный кредитор или шпион.

— Сконфуженный человек я, — каялся он, выпивши. — И

— зачем надо мне петь? С такой рожей и фигурой — не пустят меня на сцену, не пустят!

— Прекрати эту канитель! — советовал Плетнев.

— Да. Но жалко мне ее! Не выношу, а — жалко! Если бы ты знал, как она — эх . . .

Мы — знали, потому что слышали, как эта женщина, стоя на лестнице, ночью, умоляла глухим, вздрагивающим голосом:

— Христа ради . . . голубчик, ну — Христа ради!

Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей, давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки.

После чая Плетнев ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или вареной «требухи», мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой.

Оставаясь один, я бродил по корридорам и закоулкам «Марусовки», присматриваясь, как живут новые для меня люди. Дом был очень набит ими и похож на муравьиную кучу. В нем стояли какие-то кислые, едкие запахи, и всюду по углам прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел; непрерывно трещали машины швеек, хористки оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент, громко декламировал спившийся, полубезумный актер, истерически орали похмелевшие проститутки и — возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос:

— Зачем все это?

Среди голодной молодежи бестолково болтался рыжий, плешивый, скуластый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади, — за эти зубы прозвали его «Рыжий конь». Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами, и заявлял всем и каждому:

— Жив быть не хочу, а — разорю их в дребезги! Нищими по миру пойдут, три года будут милостыней жить, — после того я им ворочу все, что отсужу у них, все отдам и спрошу: — что, черти? То-то!

— Это — цель твоей жизни, Конь? — спрашивали его.

— Весь я, всей душой нацелился на это и больше ничего делать не могу!

Он целые дни торчал в Окружном Суде, в Палате, у своего адвоката, часто, вечерами, привозил на извозчике множество кульков, свертков, бутылок и устраивал у себя, в грязной комнате с провисшим потолком и кривым полом, шумные пиры, приглашая студентов, швеек, — всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам «Рыжий конь» пил только ром, напиток, от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые темно-рыжие пятна, — выпив, он завывал:

— Милые вы мои птицы! Люблю вас — честный вы народ! А я — злой подлец и кр-рокодил, — желаю погубить родственников и — погублю! Ей-богу! Жив быть не хочу, а . . .

Глаза «Коня» жалобно мигали, и нелепое, скуластое лицо орошалось пьяными слезами, он стирал их со щек ладонью и размазывал по коленям, — шаровары его всегда были в масляных пятнах.

— Как вы живете? — кричал он. — Голод, холод, одежа плохая, — разве это — закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живете . . .

И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал:

— Кому денег надо? Берите, братцы!

Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки, он хохотал, говоря:

— Да, это — не вам! Это — студентам.

Но студенты денег не брали.

— К черту деньги! — сердито кричал сын скорняка.

Он сам, однажды, пьяный, принес Плетневу пачку десятирублевок, смятых в твердый ком, и сказал, бросив их на стол:

— Вот — надо? Мне — не надо . . .

Лег на койку нашу и зарычал, зарыдал, так что пришлось отпаивать и отливать его водою. Когда он уснул, Плетнев попытался разгладить деньги, но это оказалось невозможно — они были так туго сжаты, что надо было смочить их водою, чтоб отделить одну от другой.

В дымной, грязной комнате с окнами в каменную стену соседнего дома тесно и душно, шумно и кошмарно. «Конь» орет всех громче. Я спрашиваю его:

— Зачем вы живете здесь, а не в гостинице?

— Милый — для души! Тепло душе с вами . . .

Сын скорняка подтверждает:

— Верно, Конь! И я — тоже. В другом месте я бы пропал...

Конь просит Плетнева:

— Сыграй! Спой . . .

Положив гусли на колени себе, Гурий поет:

— «Ты взойди-ко, взойди, солнце красно».

Голос у него мягкий, проникающий в душу.

В комнате становится тихо, все задумчиво слушают жалобные слова и негромкий звон гусельных струн.

— Хорошо, чорт! — ворчит несчастный купчихин утешитель.

Среди странных жителей старого дома Гурий Плетнев, обладая мудростью, имя которой — веселье, играл роль доброго духа волшебных сказок. Душа его, окрашенная яркими красками юности, освещала жизнь фейерверками славных шуток, хороших песен, острых насмешек над обычаями и привычками людей, смелыми речами о грубой неправде жизни. Ему только-что исполнилось двадцать лет, по внешности он казался подростком, но все в доме смотрели на него как на человека, который в трудный день может дать умный совет и всегда способен чем-то помочь. Люди получше — любили его, похуже — боялись и даже старый будочник Никифорыч всегда приветствовал Гурия лисьей улыбкой.

Двор «Марусовки» — «проходной», поднимаясь в гору, он соединял две улицы: Рыбнорядскую со Старо-Горшечной; на последней, недалеко от ворот нашего жилища приткнулась уютно в уголке будка Никифорыча.

Это — старший городовой в нашем квартале; высокий, сухой старик, увешанный медалями, лицо у него — умное, улыбка — любезная, глаза — хитрые.

Он относился очень внимательно к шумной колонии бывших и будущих людей; несколько раз в день его аккуратно вытесанная фигура являлась на дворе, шел он не торопясь и посматривал в окна квартир взглядом смотрителя зоологического сада в клетки зверей. Зимою, в одной из квартир были арестованы однорукий офицер Смирнов и солдат Муратов, георгиевские кавалеры, участники Ахал-Текинской экспедиции Скобелева; арестовали их — а также Зобнина, Овсянкина, Григорьева, Крылова и еще кого-то за попытку устроить тайную типографию, для чего Муратов и Смирнов днем, в воскресенье, пришли во-

ровать шрифты в типографию Ключникова на бойкой улице города. За этим делом их и схватили. А однажды ночью в Марусовке был схвачен жандармами длинный, угрюмый житель, которого я прозвал «Блуждающей колокольней». Утром, узнав об этом, Гурий возбужденно растрепал свои черные волосы и сказал мне:

— Вот что, Максимыч, тридцать семь чертей, беги, брат, скорее . . .

Об'яснив, куда нужно бежать, он добавил:

— Смотри — осторожнее! Может быть, там сыщики . . .

Таинственное поручение страшно обрадовало меня, и я полетел в Адмиралтейскую слободу с быстротой стрижа. Там, в темной мастерской медника, я увидал молодого кудрявого человека с необыкновенно синими глазами, он лудил кастрюлю, но — был не похож на рабочего. А в углу, у тисков, возился, притирая кран, маленький старичек с ремешком на белых волосах.

Я спросил медника:

— Нет ли работы у вас?

Старичек сердито ответил:

— У нас — есть, а для тебя — нет!

Молодой, мельком взглянув на меня, снова опустил голову над кастрюлей. Я тихонько толкнул ногою его ногу, — он изумленно и гневно уставился на меня синими глазами, держа кастрюлю за ручку и как бы собираясь швырнуть ею в меня. Но, увидав, что я подмигиваю ему, сказал спокойно:

— Ступай, ступай . . .

Еще раз подмигнув ему, я вышел за дверь, остановился на улице; кудрявый, потягиваясь, тоже вышел и молча уставился на меня, закуривая папиросу:

— Вы — Тихон?

— Ну, да!

— Петра арестовали.

Он нахмурился сердито, щупая меня глазами.

— Какого это Петра?

— Длинный, похож на дьякона.

— Ну?

— Больше ничего.

— А какое мне дело до Петра, дьякона и всего прочего? — спросил медник, и характер его вопроса окончательно убедил меня: это не рабочий. Я побежал домой, гордясь тем, что

сумел исполнить поручение. Таково было мое первое участие в делах «конспиративных».

Гурий Плетнев был близок к ним, но в ответ на мои просьбы ввести меня в круг этих дел, говорил:

— Тебе, брат, рано! Ты — поучись . . .

Евреинов познакомил меня с одним таинственным человеком. Знакомство это было осложнено предосторожностями, которые внушили мне предчувствие чего-то очень серьезного. Евреинов повел меня за город, на Арское поле, предупреждая по дороге, что знакомство это требует от меня величайшей осторожности, его надо сохранить в тайне. Потом, указав мне вдали небольшую, серую фигурку, медленно шагавшую по пустынному полю, Евреинов оглянулся, тихо говоря:

— Вот он! Идите за ним, и когда он остановится, подойдите к нему, сказав: я приезжий . . .

Таинственное — всегда приятно, но здесь оно показалось мне смешным: знойный, яркий день, в поле, серою былинкой качается одинокий человечек, — вот и все. Догнав его у ворот кладбища, я увидал пред собою юношу с маленьким, сухим личиком и строгим взглядом глаз, круглых, как у птицы. Он был одет в серое пальто гимназиста, но светлые пуговицы отпороты и заменены черными, костяными, на изношенной фуражке заметен след герба и вообще в нем было что-то преждевременно ощипанное, — как будто он торопился показаться самому себе человеком вполне созревшим.

Мы сидели среди могил, в тени густых кустов. Человек говорил сухо, деловито, и весь, насквозь, не понравился мне. Строго расспросив меня, что я читал, он предложил мне заниматься в кружке, организованном им, я согласился, и мы расстались, — он ушел первый, осторожно оглядывая пустынное поле.

В кружке, куда входили еще трое или четверо юношей, я был моложе всех и совершенно не подготовлен к изучению книги Адама Смита с примечаниями Чернышевского. Мы собирались в квартире ученика учительского института Миловского, — впоследствии он писал рассказы под псевдонимом Елеонский и, написав томов пять, кончил самоубийством, — как много людей, встреченных мною, ушло самовольно из жизни!

Это был молчаливый человек, робкий в мыслях, осторожный

в словах. Жил он в подвале грязного дома и занимался столярной работой для «равновесия тела и души». С ним было скучно. Чтение книги Смита не увлекало меня, скоро основные положения экономики показались очень знакомыми мне, я усвоил их непосредственно, они были написаны на коже моей, и мне показалось, что не стоило писать толстую книгу трудными словами о том, что совершенно ясно для всякого, кто тратит силы свои ради благополучия и уюта «чужого дяди». С великим напряжением высиживал я два, три часа в яме, насыщенной запахом клея, рассматривая, как по грязной стене ползают мокрицы.

Однажды вероучитель опоздал придти в обычный час, и мы, думая, что он уже не придет, устроили маленький пир, купив бутылку водки, хлеба и огурцов. Вдруг мимо окна быстро мелькнули серые ноги нашего учителя, едва успели мы спрятать водку под стол, как он явился среди нас, и началось толкование мудрых выводов Чернышевского. Мы все сидели неподвижно как истуканы, со страхом ожидая, что кто-нибудь из нас опрокинет бутылку ногою. Опрокинул ее наставник, опрокинул, и, взглянув под стол, не сказал ни слова. Ох, уж лучше бы он крепко выругался!

Его молчание, суровое лицо и обиженно прищуренные глаза страшно смутили меня. Поглядывая исподлобья на багровые от стыда лица моих товарищей, я чувствовал себя преступником против вероучителя и сердечно жалел его, хотя водка была куплена не по моей инициативе.

На чтениях было скучно, хотелось уйти в Татарскую слободу, где живут какой-то особенной, чистоплотной жизнью добродушные ласковые люди; они говорят смешно искаженным русским языком; по вечерам, с высоких минаретов их зовут в мечети странные голоса муэдзинов, — мне думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, не знакомо мне, не похоже на то, что я знаю, и что не радует меня.

Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни; эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце мое; мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда.

Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром; артель грузчиков взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь, дул верховый ветер, по серой

реке сердито прыгали волны, ветер, бешенно срывая их гребни, кропил реку холодным дождем. Артель, человек полсотни, угрюмо расположилась на палубе пустой баржи, кутаясь рогожами и брезентом, баржу тащил маленький буксирный пароход, задыхаясь, выбрасывая в дождь красные снопы искр.

Вечерело. Свинцовое, мокрое небо, темнея, опускалось над рекою. Грузчики ворчали и ругались, проклиная дождь, ветер, жизнь, лениво ползали по палубе, пытаясь спрятаться от холода и сырости. Мне казалось, что эти полусонные люди не способны к работе, не спасут погибающий груз.

К полуночи доплыли до переката, причалили пустую баржу борт о борт к сидевшей на камнях; артельный староста, ядовитый старичишка, рябой хитрец и сквернослов, с глазами и носом коршуна, сорвав с лысого черепа мокрый картуз, крикнул высоким, бабьим голосом:

— Молись ребята!

В темноте, на палубе баржи, грузчики сбились в черную кучу и заворчали как медведи, а староста, кончив молиться раньше всех, завизжал:

— Фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки! С Богом — начинай!

И тяжелые, ленивые, мокрые люди начали «показывать работу». Они, точно в бой, бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи, — с гиком, ревом, с прибаутками. Вокруг меня с легкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжелые, угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал гуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывая подолы на головы, обнажая животы. В мокрой тьме при слабом свете шести фонарей метались черные люди, глухо топая ногами о палубы барж. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырехпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине. Работали играя, с веселым увлечением детей, с той пьяной радостью делать, слаще которой только об'ятие женщины.

Большой бородатый человек в поддевке, мокрый, скользкий

— должно быть хозяин груза или доверенный его — вдруг заорал возбужденно:

— Молодчики — ведерко ставлю! Разбойнички — два идет! Делай!

Несколько голосов сразу, со всех сторон тьмы густо рявкнули:

— Три ведра!

— Три пошло! Делай, знай!

И вихрь работы еще усилился.

Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я, и все вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя — месяца, года, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места куда захотят.

Я жил эту ночь в радости, не испытанной мною, душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. За бортами плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистел над рекою ветер, в серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые, мокрые люди и кричали, смеялись, любуясь своей силой, своим трудом. А, тут, еще ветер разодрал тяжелую массу облаков, и на синем, ярком пятне небес сверкнул розоватый луч солнца — его встретили дружным ревом веселые звери, встряхивая мокрой шерстью милых морд. Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлеченных ею.

Казалось, что такому напряжению радостно раз'яренной силы ничто не может противостоять, она способна содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещие сказки. Посмотрев минуту, две, на труд людей, солнечный луч не одолел тяжкой толщи облаков и утонул среди них, как ребенок в море, а дождь превратился в ливень.

— Шабаш! — крикнул кто-то, но ему свирепо ответили:

— Я те пошабашу!

И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождем и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля.

Потом перешли на пароход и там все уснули, как пьяные, а

приехав в Казань, вывалились на песок берега потоком серой грязи и пошли в трактир пить три ведра водки.

Там ко мне подошел вор Башкин, осмотрел меня и спросил:

— Чего с тобой делали?

Я с восторгом рассказал ему о работе, он выслушал меня и вздохнув сказал презрительно:

— Дурак. И — хуже того — идиёт!

Посвистывая, виляя телом как рыба, он уплыл среди тесно составленных столов, — за ними шумно пировали грузчики, в углу кто-то, тенором, запевал похабную песню.

— Эх, было это дельце ночною порой, —
Вышла прогуляться в садик барыня — эй!

Десяток голосов оглушительно заревел, прихлопывая ладонями по столам:

— Сторож город сторожит,
Видит — барыня лежит . . .

Хохот, свист и гремят слова, которым, по отчаянному цинизму, вероятно нет равных на земле.

Кто-то познакомил меня с Андреем Деренковым, владельцем маленькой, бакалейной лавки, спрятанной в конце бедной, узенькой улицы, над оврагом, заваленным мусором.

Деренков, сухорукий человечек, с добрым лицом в светлой бородке и умными глазами, обладал лучшей в городе библиотекой запрещенных и редких книг, — ими пользовались студенты многочисленных учебных заведений Казани и различные, революционно-настроенные люди.

Лавка Деренкова помещалась в низенькой пристройке к дому скопца-менялы, дверь из лавки вела в большую комнату, ее слабо освещало окно во двор, за этой комнатой, продолжая ее помещалась тесная кухня, за кухней в темных сенях между пристройкой и домом в углу прятался чулан, и в нем скрывалась злокозненная библиотека. Часть ее книг была переписана пером в толстые тетради, — таковы были «Исторические письма» Лаврова, «Что делать?» Чернышевского, некоторые статьи Писарева, «Царь-голод», «Хитрая механика», — все эти рукописи были очень зачитаны, измяты.

Когда я, впервые, пришел в лавку, Деренков, занятый с покупателями, кивнул мне на дверь в комнату; я вошел туда

и вижу: в сумраке, в углу, стоит на коленях, умиленно молясь, маленький старичек, похожий на портрет Серафима Саровского. Что-то неладное, противоречивое почувствовал я, глядя на старичка.

О Деренкове мне говорили, как о «народнике»; в моем представлении народник — революционер, а революционер не должен веровать в Бога, богомольный старичек показался мне лишним в этом доме.

Кончив молиться, он аккуратно пригладил белые волосы головы и бороды, присмотрелся ко мне и сказал:

— Отец Андрея. А вы кто будете? Вот как? А я думал — переодетый студент.

— Зачем же студенту переодеваться? — спросил я.

— Ну, да, — тихо отозвался старик — ведь как не переоденься — Бог узнает!

Он ушел в кухню, а я, сидя у окна — задумался и вдруг услыхал возглас:

— Вот он какой!

У косяка двери в кухню стояла девушка, одетая в белое, ее светлые волосы были коротко острижены, на бледном, пухлом лице сияли, улыбаясь, синие глаза. Она была очень похожа на ангела, как их изображают дешевые олеографии.

— Отчего вы испугались? Разве я такая страшная? — говорила она тонким, вздрагивающим голосом, и осторожно, медленно подвигалась ко мне, держась за стену, точно она шла не по твердому полу, а по зыбкому канату, натянутому в воздухе. Это неумение ходить еще больше уподобляло ее существу иного мира. Она вся вздрагивала, как будто в ноги ей впивались иглы, а стена жгла ее детски пухлые руки. И пальцы рук были странно неподвижны.

Я стоял пред нею молча, испытывая чувство странного смятения и острой жалости. Все необычно в этой темной комнате!

Девушка села на стул так осторожно, точно боялась, что стул улетит из-под нее. Просто, как никто этого не делает, она рассказала мне, что только пятый день начала ходить, а до того почти три месяца лежала в постели — у нее отнялись руки и ноги.

— Это — нервная болезнь такая, — сказала она улыбаясь.

Помню, мне хотелось, чтоб ее состояние было об'яснено как-то

иначе; нервная болезнь — это слишком просто для такой девушки и в такой странной комнате, где все вещи робко прижались к стенам, а в углу, пред иконами слишком ярко горит огонек лампады и по белой скатерти большого, обеденного стола беспричинно ползает тень ее медных цепей.

— Мне много говорили о вас, — вот я и захотела посмотреть какой вы, — слышал я детски тонкий голос.

Эта девушка разглядывала меня каким-то невыносимым взглядом, что-то проницательно читающее видел я в синих глазах. С такой девушкой я не мог — не умел — говорить. И молчал, рассматривая портреты Герцена, Дарвина, Гарибальди.

Из лавки выскочил подросток одних лет со мною, белобрысый, с наглыми глазами, он исчез в кухне, крикнув ломким голосом:

— Ты зачем вылезла, Марья?

— Это мой младший брат, Алексей, — сказала девушка. — А я — учусь на акушерских курсах, да, — вот, — захворала. Почему вы молчите? Вы — застенчивый?

Пришел Андрей Деренков, сунув за пазуху свою сухую руку; молча погладил сестру по мягким волосам, растрепал их и стал спрашивать — какую работу я ищу?

Потом явилась рыжекудрая, стройная девица с зеленоватыми глазами, строго посмотрела на меня и, взяв белую девушку под руки, увела ее, сказав:

— Довольно, Марья!

Имя не шло девушке, было грубо для нее.

Я тоже ушел, странно взволнованный, а через день, вечером, снова сидел в этой комнате, пытаясь понять — как и чем живут в ней? Жили — странно.

Милый, кроткий старик Степан Иванович, беленький и как бы прозрачный, сидел в уголке и смотрел оттуда, шевеля темными губами, тихо улыбаясь, как будто просил:

— Не трогайте меня!

В нем жил заячий испуг, тревожное предчувствие несчастия, — это было ясно мне.

Сухорукий Андрей, одетый в серую куртку, замазанную на груди маслом и мукою до твердости древесной коры, ходил по комнате как-то боком, виновато улыбаясь, точно ребенок, которому только-что простили какую-то шалость. Ему помогал торговать Алексей — ленивый, грубый парень. Третий брат

— Иван, учился в учительском институте и, живя там в интернате, бывал дома только по праздникам; это был маленький, чисто одетый, гладко причесанный человечек, похожий на старого чиновника. Больная Марья жила где-то на чердаке и редко спускалась вниз, а когда она приходила, я чувствовал себя неловко, точно меня связывало невидимыми путами.

Хозяйство Деренковых вела сожительница домохозяина-скопца, высокая худощавая женщина с лицом деревянной куклы и строгими глазами злой монахини. Тут же вертелась ее дочь, рыжая Настя; когда она смотрела зелеными глазами на мужчин — ноздри ее острого носа вздрагивали.

Но действительными хозяевами в квартире Деренковых были студенты университета, духовной академии, ветеринарного института, — шумное сборище людей, которые жили в настроении забот о русском народе, в непрерывной тревоге о будущем России. Всегда возбужденные статьями газет, выводами только-что прочитанных книг, событиями в жизни города и университета, они по вечерам, сбегались в лавочку Деренкова со всех улиц Казани для яростных споров и тихого шопота по углам. Приносили с собою толстые книги и, тыкая пальцами в страницы их, кричали друг на друга, утверждая истины, кому какая нравилась.

Разумеется, я плохо понимал эти споры, истины терялись для меня в обилии слов, как звездочки жира в жидком супе бедных. Некоторые студенты напоминали мне стариков начетников сектантского Поволжья, но я понимал, что вижу людей, которые готовятся изменить жизнь к лучшему, и хотя искренность их захлебывалась в бурном потоке слов, но — не тонула в нем. Задачи, которые они пытались решать, были ясны мне, и я чувствовал себя лично заинтересованным в удачном решении этих задач. Часто мне казалось, что в словах студентов звучат мои немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу.

Они же смотрели на меня, точно столяры на кусок дерева, из которого можно сделать не совсем обыкновенную вещь.

— Самородок! — рекомендовали они меня друг другу, с такой же гордостью, с какой уличные мальчишки показывают один другому медный пятак, найденный на мостовой. Мне не нравилось, когда меня именовали — «самородком» и «сыном

народа», — я чувствовал себя пасынком жизни и порою очень испытывал тяжесть силы, руководившей развитием моего ума. Так, увидав в окне книжного магазина книгу, озаглавленную неведомыми мне словами «Афоризмы и максимы», я воспылал желанием прочитать ее и попросил студента духовной академии дать мне эту книгу.

— Здравствуйте! — иронически воскликнул будущий архиерей, человек с головою негра, — курчавый, толстогубый, зубастый. — Это, брат, ерунда. Ты читай, что дают, а в область, тебе не подобающую — не лезь!

Грубый тон учителя очень задел меня. Книгу я, конечно, купил, заработав часть денег на пристанях, а часть заняв у Андрея Деренкова. Это была первая серьезная книга, купленная мною, она до сей поры сохранилась у меня.

Вообще — со мною обращались довольно строго: когда я прочитал «Азбуку социальных наук», мне показалось, что роль пастушеских племен в организации культурной жизни преувеличена автором, а предприимчивые бродяги, охотники — обижены им. Я сообщил мои сомнения одному филологу, — а он, стараясь придать бабьему лицу своему выражение внушительное, целый час говорил мне о «праве критики».

— Чтоб иметь право критиковать — надо верить в какую-то истину, — во что верите вы? — спросил он меня.

Он читал книги даже на улице, — идет по панели, закрыв лицо книгой, и толкает людей. Валяясь у себя на чердаке в голодном тифе, он кричал:

— Мораль должна гармонически совмещать в себе элементы свободы и принуждения, — гармонически, гар-гар-гарм . . .

Нежный человек, полубольной от хронического недоедания, изнуренный упорными поисками прочной истины, он не знал никаких радостей кроме чтения книг, и когда ему казалось, что он примирил противоречия двух сильных умов, его милые, темные глаза детски счастливо улыбались. Лет через десять после жизни в Казани, я снова встретил его в Харькове, он отбыл пять лет ссылки в Кемь и снова учился в университете. Он показался мне живущим в муравьиной куче противоречивых мыслей; погибая от туберкулеза, он старался примирить Нитчше с Марксом, харкал кровью и хрипел, хватая мои руки холодными липкими пальцами.

— Без синтеза — невозможно жить!

Он умер на пути в университет в вагоне трамвая.

Не мало видел я таких великомучеников разума ради, — память о них священна для меня.

Десятка два подобных людей собиралось в квартире Деренкова, — среди них был даже японец, студент духовной академии Пантелеймон Сато. Порою являлся большой, широкогрудый человек, с густой окладистой бородищей и по татарски бритой головой. Он казался туго зашитым в серый казакин, застегнутый на крючки до подбородка. Обыкновенно он сидел где-нибудь в углу, покуривая коротенькую трубку и глядя на всех серыми, спокойно читающими глазами. Его взгляд часто и пристально останавливался на моем лице, я чувствовал, что серьезный этот человек мысленно взвешивает меня, и, почему-то, опасался его. Его молчаливость удивляла меня, все вокруг говорили громко, много, решительно, и чем более резко звучали слова, тем больше, конечно, они нравились мне; я очень долго не догадывался, как часто в резких словах прячутся мысли жалкие и лицемерные. О чем молчит этот бородатый богатырь?

Его звали «Хохол» и, кажется, никто, кроме Андрея, не знал его имени. Вскоре мне стало известно, что человек этот недавно вернулся из ссылки, из Якутской области, где он прожил десять лет. Это усилило мой интерес к нему, но не внушило мне смелости познакомиться с ним, хотя я не страдал ни застенчивостью, ни робостью, а, напротив, болел каким-то тревожным любопытством, жаждой все знать и как можно скорее. Это качество всю жизнь мешало мне серьезно заняться чем-либо одним.

Когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным и единосущным, вместилищем начал всего прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел плотников, грузчиков, каменщиков, знал Якова, Осипа, Григория, а тут говорили именно о единосущном народе и ставили себя куда-то ниже его, в зависимость от его воли. Мне же казалось, что именно эти люди воплощают в себе красоту и силу мысли, в них сосредоточена и горит добрая, человеко-

любивая воля к жизни, к свободе строительства ее по каким-то новым канонам человеколюбия.

Именно человеколюбия не наблюдал я в человечках, среди которых жил до той поры, а здесь оно звучало в каждом слове, горело в каждом взгляде.

Освежающим дождем падали на сердце мое речи народопоклонников, и очень помогла мне наивная литература о мрачном житии деревни, о великомученике-мужике. Я почувствовал, что только очень крепко, очень страстно любя человека, можно почерпнуть в этой любви необходимую силу для того, чтоб найти и понять смысл жизни. Я перестал думать о себе и начал внимательнее относиться к людям.

Андрей Деренков доверчиво сообщил мне, что скромные доходы его торговли целиком идут на помощь людям, которые верят: «счастье народа — прежде всего». Он вертелся среди них точно искренно верующий дьячок за архиерейской службой, не скрывая восторга пред бойкой мудростью книгочеев; счастливо улыбаясь, засунув сухую руку за пазуху, дергая другою рукой во все стороны мягкую бородку свою, он спрашивал меня:

— Хорошо? То-то же!

И когда против народников еретически возражал ветеринар Лавров, — обладатель странного голоса, подобного гоготу гуся, — Деренков, испуганно закрывая глаза, шептал:

— Какой смутьян!

Его отношение к народникам было сродно моему, но отношение студенчества к Деренкову казалось мне грубоватым и небрежным отношением господ к работнику, трактирному лакею. Сам он этого не замечал. Часто, проводив гостей, он оставлял меня ночевать, мы чистили комнату и потом, лежа на полу, на войлоках, долго дружеским шопотом беседовали во тьме, едва освещенной огоньком лампады. С тихой радостью верующего он говорил мне:

— Накопятся сотни, тысячи таких хороших людей, займут в России все видные места и сразу переменят всю жизнь!

Он был лет на десять старше меня, и я видел, что рыжеволосая Настя очень нравится ему, он старался не смотреть в ее задорные глаза, при людях говорил с нею суховато, командующим голосом хозяина, но провожал ее тоскующим взглядом, а говоря наедине с нею смущенно и робко улыбался, дергая бородку.

Его маленькая сестренка наблюдала словесные битвы тоже из уголка; детское лицо ее смешно надувалось напряжением внимания, глаза широко открывались, а когда звучали особенно резкие слова, — она шумно вздыхала, точно на нее брызнули ледяной водой. Около нее солидным петухом расхаживал рыжеватый медик, он говорил с нею таинственным полушопотом и внушительно хмурил брови. Все это было удивительно интересно.

Но — наступила осень, жизнь без постоянной работы стала невозможна для меня. Увлеченный всем, что творилось вокруг, я работал все меньше и питался чужим хлебом, а он всегда очень туго идет в горло. Нужно было искать на зиму «место», и я нашел его в крендельной пекарне Василия Семенова.

Этот период жизни очерчен мною в рассказах «Хозяин», «Коновалов», «Двадцать шесть и одна» — тяжелое время! Однако — поучительное.

Тяжело было физически, еще тяжелее — морально.

Когда я опустился в подвал мастерской, между мною и людьми, видеть и слушать которых стало уже необходимо для меня, — выросла «стена забвения». Никто из них не ходил ко мне в мастерскую, а я, работая четырнадцать часов в сутки, не мог ходить к Деренкову в будни, в праздничные дни или спал, или же оставался с товарищами по работе. Часть их с первых же дней стала смотреть на меня, как на забавного шута, некоторые отнеслись с наивной любовью детей к человеку, который умеет рассказывать интересные сказки. Чорт знает, что я говорил этим людям, но, разумеется, все, что могло внушить им надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни. Иногда это удавалось мне и, видя как опухшие лица освещаются человеческой печалью, а глаза вспыхивают обидой и гневом, — я чувствовал себя празднично и с гордостью думал, что «работаю в народе», «просвещаю» его.

Но, разумеется, чаще приходилось мне испытывать мое бессилие, недостаток знаний, неумение ответить даже на простейшие вопросы жизни, быта. Тогда я чувствовал себя сброшенным в темную яму, где люди копошатся как слепые черви, стремясь только забыть действительность и находя это забвение в кабаках, да в холодных об'ятиях проституток.

Посещение публичных домов было обязательно каждый месяц

в день получки заработка; об этом удовольствии мечтали вслух за неделю до счастливого дня, а прожив его — долго рассказывали друг другу об испытанных наслаждениях. В этих беседах цинически хвастались половой энергией, жестоко глумились над женщинами, говорили о них брезгливо отплевываясь.

Но — странно! — за всем этим я слышал — мне чудилось— печаль и стыд. Я видел, что в «домах утешения», где за рубль можно было купить женщину на всю ночь, мои товарищи вели себя смущенно, виновато — это казалось мне естественным. А некоторые из них держались слишком развязно, с удальством, в котором я чувствовал нарочитость и фальшь. Меня жутко интересовало отношение полов, и я наблюдал за этим с особенной остротою. Сам я еще не пользовался ласками женщины и это ставило меня в неприятную позицию: надо мною зло издевались и женщины, и товарищи. Скоро меня перестали приглашать в «дома утешения», заявив откровенно:

— Ты, брат, с нами не ходи.

— Почему?

— Так, уж! Не хорошо с тобой.

Я цепко ухватился за эти слова, чувствуя в них что-то важное для меня, но не получил об'яснения более толкового.

— Экой, ты! Сказано тебе — не ходи! Скушно с тобой . . .

И только Артем сказал, усмехаясь:

— Вроде, как при попе, али при отце.

Девицы сначала высмеивали мою сдержанность, потом стали спрашивать с обидой:

— Брезгуешь?

Сорокалетняя «девушка», пышная и красивая полька Тереза Борута, «экономка», глядя на меня умными глазами породистой собаки, сказала:

— Оставимте ж его, подруги, — у него, обязательно невеста есть — да? Такой силач обязательно невестой держится, больше ничем!

Алкоголичка, она пила запоем и пьяная была неописуемо отвратительна, а в трезвом состоянии удивляла меня вдумчивым отношением к людям и спокойным исканием смысла в их деяниях.

— Самый же непонятный народ, это, обязательно, студенты академии, да, — рассказывала она моим товарищам. — Они

такое делают с девушками: велят помазать пол мылом, поставят голую девушку на четвереньки, руками — ногами на тарелки и толкают ее в зад — далеко ли уедет по полу? Так — одну, так и другую. Вот. Зачем это?

— Ты врешь! — сказал я.

— Ой, нет! — воскликнула Тереза не обижаясь, спокойно, в спокойствии этом было что-то подавляющее.

— Ты выдумала это!

— Как же такое может выдумать девушка? Разве я — сумасшедшая? — спросила она вытаращив глаза.

Люди прислушивались к нашему спору с жадным вниманием, а Тереза все рассказывала об играх гостей бесстрастным тоном человека, которому нужно только одно: понять — зачем это?

Слушатели с отвращением плевались, дико ругали студентов, а я, видя, что Тереза возбуждает вражду к людям, уже излюбленным мною, говорил, что студенты любят народ, желают ему добра.

— Так-то — студенты с Воскресенской улицы, штатские, с университета, я ж говорю о духовных, с Арского поля! Они, духовные, сироты все, а сирота растет обязательно вором или озорником, плохим человеком растет, он же ни к чему не привязан, сирота!

Спокойные рассказы «экономки» и злые жалобы девушек на студентов, чиновников и вообще на «чистую публику» вызывали в товарищах моих не только отвращение и вражду, но почти радость, она выражалась словами:

— Значит, — образованные-то хуже нас!

Мне тяжело и горько было слышать эти слова. Я видел, что в полутемные, маленькие комнаты стекается, точно в ямы, вся грязь города, вскипает на чадном огне и, насыщенная враждою, злобой, снова изливается в город. Я наблюдал, как в этих щелях, куда инстинкт и скука жизни забивают людей, создаются из нелепых слов трогательные песни о тревогах и муках любви, как возникают уродливые легенды о жизни «образованных людей», зарождается насмешливое и враждебное отношение к непонятному, и видел, что «дома утешения» являются университетами, откуда мои товарищи выносят знания весьма ядовитого характера.

Смотрел я, как по грязному полу двигаются, лениво шаркая

ногами, «девушки для радости», как отвратительно трясутся их дряблые тела под назойливый визг гармоники, или под раздражающий треск струн разбитого пианино, смотрел — и у меня зарождались какие-то неясные, но тревожные мысли. От всего вокруг истекала скука, отравляя душу бессильным желанием куда-то уйти, где-то спрятаться.

Когда, в мастерской, я начинал рассказывать о том, что есть люди, которые бескорыстно ищут путей к свободе, к счастью народа, — мне возражали:

— А, вот, девки не то говорят про них!

И нещадно, с циничесой злостью высмеивали меня, а я был задорным кутенком, чувствовал себя не глупее и смелее взрослых собак, — я тоже злился. Начиная понимать, что думы о жизни не менее тяжелы, чем сама жизнь, я, порою, ощущал в душе вспышки ненависти к упрямо терпеливым людям, с которыми работал. Меня особенно возмущала их способность терпеть, покорная безнадежность, с которой они подчинялись полубезумным издевательствам пьяного хозяина.

И — как нарочно! — именно в эти тяжелые дни мне довелось познакомиться с идеей совершенно новой и хотя органически враждебной мне, но, все-таки, очень смутившей меня.

В одну из тех вьюжных ночей, когда кажется, что злобно воющий ветер изорвал серое небо в мельчайшие клочья, и они сыплются на землю, хороня ее под сугробами ледяной пыли, и кажется, что кончилась жизнь земли, солнце погашено, не взойдет больше, — в такую ночь, на Масляной неделе я возвращался в мастерскую от Деренковых. Шагал, закрыв глаза, против ветра, сквозь мутное кипение серого хаоса и вдруг — упал, наскочив на человека лежавшего поперек панели. Мы оба выругались, я — по-русски, он — на французском языке:

— О, дьявол . . .

Это возбудило мое любопытство, я поднял его, поставил на ноги, — он был маленького роста, легкий. Толкая меня, он гневно кричал:

— Моя шапка, черт вас возьми! Отдайте шапку! Я — замерзну!

Найдя в снегу шапку, я встряхнул ее, надел на его ершистую голову, но он сорвал шапку и, махая ею на меня, ругался на двух языках, гнал меня:

— Прочь!

Вдруг бросился вперед и утонул в кипящей кашице. Идя дальше, я снова увидал его — он стоял обняв руками деревянный столб погашенного фонаря и убедительно говорил:

— Лена, я погибаю . . . о, Лена . . .

Видимо, он был пьян и, пожалуй, замерз бы, оставь я его на улице. Я спросил, где он живет?

— Какая это улица? — закричал он со слезами в голосе. — Я не знаю, куда идти.

Я обнял его за талию и повел, допрашивая, где он живет.

— На Булаке, — бормотал он, вздрагивая. — На Булаке . . . там — бани, — дом . . .

Шагал он неверно, сбивчиво и мешал мне идти; я слышал, как стучали его зубы:

— Си тю савэ, — бормотал он, толкая меня.

— Что вы говорите?

Он остановился, поднял руку и сказал внятно, — с гордостью, как показалось мне.

— Си тю савэ у же те мен . . .

И сунул пальцы руки в рот себе, качаясь, почти падая. Присев, я взял его на спину себе и понес, а он, упираясь подбородком в череп мой, ворчал:

— Си тю саве у . . . Но я замерзаю, о, Боже . . .

На Булаке я с трудом добился у него — в каком доме он живет, наконец, мы влезли в сени маленького флигеля, спрятанного в глубине двора и вихрях снега. Он нащупал дверь, осторожно постучал и зашипел:

— Шш! Тише . . .

Дверь открыла женщина в красном капоте, с зажженной свечей в руке, уступив нам дорогу, она молча отошла в сторону и, вынув откуда-то лорнет, стала рассматривать меня.

Я сказал ей, что у человека, кажется, застыли руки и его необходимо раздеть, уложить в постель.

— Да? — спросила она звучно и молодо.

— Руки нужно опустить в холодную воду . . .

Она молча указала лорнетом в угол, — там, на мольберте стояла картина, — река, деревья. Я удивленно взглянул в лицо женщины, странно неподвижное, а она отошла в угол комнаты, к столу, на котором горела лампа под розовым аба-

журом, села там и, взяв со стола валета червей, стала рассматривать его.

— У вас нет водки? — громко спросил я. Она не ответила, раскладывая по столу карты. Человек, которого я привел, сидел на стуле, низко наклонив голову, свесив вдоль туловища красные руки. Я положил его на диван и стал раздевать, ничего не понимая, живя как во сне. Стена предо мною над диваном была сплошь покрыта фотографиями, среди них тускло светился золотой венок в белых бантах ленты, на конце ее золотыми буквами было напечатано:

«Несравненной Джильде».

— Черт побери — тише! — застонал человек, когда я начал растирать его руки.

Женщина озабоченно и молча раскладывала карты. Лицо у нее остроносое, птичье, его освещают большие, неподвижные глаза. Вот она руками девочки-подростка взбила седые свои волосы, пышные точно парик, и спросила тихо, но звучно:

— Ты видел Мишу, Жорж?

Жорж оттолкнул меня, быстро сел и торопливо сказал:

— Но, ведь он уехал в Киев . . .

— Да, в Киев, — повторила женщина, не отводя глаз от карт, и я заметил, что голос ее звучит однотонно, не выразительно.

— Он скоро приедет . . .

— Да?

— О, да! Скоро.

— Да? — повторила женщина.

Полураздетый Жорж соскочил на пол и в два прыжка встал на колени у ног женщины, говоря ей что-то по-французски.

— Я спокойна, — по-русски ответила она.

— Я — заплутался, знаешь? Мятель, страшный ветер, я думал — замерзну. Мы немного пили, — торопливо рассказывал Жорж, гладя ее руку, лежавшую на колене. Ему было лет сорок, красное толстогубое лицо его с черными усами казалось испуганным, тревожным, он крепко потирал седую щетину волос на своем круглом черепе и говорил все более трезво.

— Мы завтра едем в Киев, — сказала женщина не то — спрашивая, не то — утверждая.

— Да, завтра! И тебе нужно отдохнуть. Почему ты не ляжешь? Уже очень поздно . . .

— Он не приедет сегодня, Миша?

— О, нет! Такая мятель . . . Идем, ляг . . .

Он увел ее в маленькую дверь за шкафом книг, взяв лампу со стола. Я долго сидел один, ни о чем не думая, слушая его тихий, сиповатый голос. Мохнатые лапы шаркали по стеклам окна. В луже растаявшего снега робко отражалось пламя свечи. Комната была тесно заставлена вещами, теплый странный запах наполнял ее, усыпляя мысль.

Вот Жорж явился, пошатываясь, держа в руках лампу, абажур ее дробно стучал о стекло.

— Легла.

Поставил лампу на стол, задумчиво остановился среди комнаты и заговорил, не глядя на меня:

— Ну, что же? Без тебя, вероятно, я бы погиб . . . Спасибо! Ты кто?

Он склонил голову на бок прислушиваясь к шороху в соседней комнате и вздрагивая.

— Это ваша жена? — тихонько спросил я.

— Жена. Все. Вся жизнь! — раздельно, не громко, глядя в пол, сказал этот человек и снова начал крепко растирать голову ладонями.

— Чаю выпить, — а?

Он рассеянно пошел к двери, но остановился, вспомнив, что прислуга об'елась рыбой и ее отправили в больницу.

Я предложил поставить самовар, он согласно кивнул головой и, видимо, забыв, что полураздет, шлепая босыми ногами по мокрому полу, отвел меня в маленькую кухню. Там, прислонясь спиной к печке, он повторил:

— Без тебя — я бы замерз, — спасибо!

И вдруг, вздрогнув, уставился на меня испуганно расширенными глазами.

— Что же было бы с нею тогда? О, Господи . . .

Быстро, шопотом, глядя в темную дыру двери, он сказал:

— Ты видишь, — она больная. У нее застрелился сын, музыкант, в Москве, а она все ждет его, вот уже два года, почти . . .

Потом, когда мы пили чай, он бессвязно, не обычными словами рассказал, что женщина — помещица, он — учитель истории, был репетитором ее сына, влюбился в нее, она ушла от мужа —

немца, барона, — пела в опере, они жили очень хорошо, хотя первый муж ее всячески старался испортить ей жизнь.

Рассказывал он, как будто читая неясно написанное, прищурив глаза, напряженно присматриваясь к чему-то в полутьме грязной кухни, с прогнившим у печки полом. Обжигаясь, прихлебывая чай, лицо его морщилось, круглые глаза пугливо мигали.

— Ты — кто? — еще раз спросил он. — Да, крендельщик, рабочий. — Странно. Не похоже. Что это значит?

Слова его звучали беспокойно, он смотрел на меня недоверчиво, взглядом затравленного.

Я кратко рассказал о себе.

— Вот как? — тихо воскликнул он. — Да, вот как . . .

И вдруг оживился, спрашивая:

— Ты знаешь сказку о «Гадком утенке»? Читал?

Лицо его исказилось, он начал говорить с гневом, изумляя меня неестественными — до визга — повышениями сиповатого голоса.

— Эта сказка — соблазняет! В твои годы я тоже подумал — не лебедь ли я? И — вот . . . Должен был идти в академию — пошел в университет. Отец — священник — отказался от меня. Изучал — в Париже — историю несчастий человечества — историю прогресса. Писал, да. О, как все это . . .

Он подскочил на стуле, прислушался и затем сказал мне:

— Прогресс — это выдумано для самоутешения! Жизнь — не разумна, лишена смысла. Без рабства — нет прогресса, без подчинения большинства меньшинству — человечество остановится на путях своих. Желая облегчить нашу жизнь, наш труд, мы только усложняем ее, увеличиваем труд. Фабрики и машины для того, чтоб делать еще и еще машины, это — глупо. Все больше становится рабочих, а необходим только крестьянин, производитель хлеба. Хлеб — это все, что надо взять трудом у природы. Чем меньше нужно человеку — тем более он счастлив, чем больше желаний — тем меньше свободы.

Быть может — не в этих словах, но именно эти оглушающие мысли впервые слышал я, да еще в такой резкой, оголенной форме. Человек, взвизгнув от возбуждения, боязливо останавливал взгляд на двери, открытой во внутренние комнаты, минуту слушал тишину и снова шептал почти с яростью.

— Пойми, — каждому нужно не много: кусок хлеба и женщину . . .

Заговорив о женщине таинственным шопотом, словами, которых я не знал, стихами, которых не читал, — он вдруг стал похож на вора Башкина.

— Беатриче, Фиаметта, Лаура, Нинон, — шептал он имена, не знакомые мне, и рассказывал о каких-то влюбленных королях, поэтах, читал французские стихи, отсекая ритмы тонкой, голой до локтя рукою.

— «Любовь и голод правят миром», — слышал я горячий шопот и вспомнил, что эти слова напечатаны под заголовком революционной брошюры «Царь-Голод», — это придавало им в моих мыслях — особенно веское значение.

— Люди ищут забвения, утешения, а не — знания!

Эта мысль окончательно поразила меня.

Я ушел из кухни утром, — маленькие часы на стене показывали шесть с минутами. Шагал в серой мгле по сугробам, слушая вой мятели и вспоминая яростные взвизгивания разбитого человека, чувствовал, что его слова остановились где-то в горле у меня, душат. Не хотелось идти в мастерскую видеть людей и, таская на себе кучу снега, я шатался по улицам Татарской слободы до поры, когда стало светло, и среди волн снега начали нырять фигуры жителей города.

Больше я никогда не встречал учителя и не хотел встретить его. Но впоследствии я неоднократно слышал речи о бессмыслии жизни и бесполезности труда, — их говорили безграмотные странники, бездомные бродяги, «толстовцы» и высоко культурные люди. Говорил об этом иеромонах, магистр богословия, химик, работавший по взрывчатым веществам, биолог, — неовиталист и многие еще. Но эти идеи уже не влияли на меня так ошеломляюще, как тогда, когда я впервые познакомился с ними.

И только, вот, года два тому назад — спустя более тридцати лет после первой беседы на эту тему — я неожиданно услышал те же мысли и почти в тех же словах от старого знакомого моего, рабочего.

Однажды у меня с ним завязалась беседа «по душе», и этот человек — политический «воротило», как он, невесело усмехаясь, называл себя, сказал мне с тою бесстрашной искренностью, которой обладают, кажется, только русские люди.

— А. М., — милый, — ничего мне не надо, никуда все это, — академии, науки, аэропланы, — лишнее! Надобно только угол тихий и — бабу, чтоб я ее целовал, когда хочу, а она мне честно, — душой и телом — отвечала, — вот! Вы — по интеллигентски рассуждаете, вы уж, не наш, а — отравленный человек, для вас идея выше людишек, вы по-жидовски думаете: человек — для Субботы?

— Евреи не думают так . . .

— Черт их знает, как они думают, — народишко темный, — ответил он, бросив окурок папиросы в реку и следя за ним.

Мы сидели на набережной Невы, на гранитной скамье, лунной ночью осени, оба истерзанные днем бесполезных волнений, упрямого, но безуспешного желания сделать что-то доброе, полезное.

— Вы с нами, а — не наш, вот что я говорю, — продолжал он вдумчиво, тихо. — Интеллигентам приятно беспокоиться, они издаля веков присовокупились к бунтам. Как Христос был идеалистом и бунтовал для надземных целей, — так и вся интеллигенция бунтует для утопии. Бунтует — идеалист, а с ним никчемность, негодяйство, сволочь и все — со зла, видят они, что места в жизни нет для них. Рабочий восстает для революции, ему нужно добиться правильного распределения орудий и продуктов труда. Захватив власть окончательно, — думаете, согласится он на государство? Ни за что! Все разойдутся, и каждый, за свой страх, устроит себе спокойный уголок...

— Техника, говорите? Так она еще туже затягивает петлю на шее нашей, еще крепче вяжет нас. Нет, надо освободиться от лишнего труда. Человек покоя хочет. Фабрики да науки покоя не дадут. Одному — немного надо. Зачем я буду город громоздить, когда мне только маленький домик нужен? Где кучей живут — там и водопроводы, и канализация, и электричество. А — попробуйте без этого жить, — как легко будет! Нет, много лишнего у нас и все это — от интеллигенции, потому я и говорю: интеллигенция — вредная категория.

Я сказал, что никто не умеет так глубоко и решительно обессмысливать жизнь, как это делаем мы, русские.

— Самый свободный народ по духу, — усмехнулся мой собеседник. — Только, — вы не сердитесь, я правильно рассуждаю, так миллионы наши думают, да — сказать не умеют . . .

Жизнь надо устроить проще, тогда она будет милосерднее к людям . . .

Человек этот никогда не был «толстовцем», не обнаруживал склонности к анархизму, — я хорошо знаю историю его духовного развития.

После беседы с ним, я невольно подумал: а, что, если действительно миллионы русских людей только потому терпят тягостные муки революции, что лелеют в глубине души надежду освободиться от труда? Минимум труда — максимум наслаждения, это очень заманчиво и увлекает, как все неосуществимое, как всякая утопия.

И мне вспомнились стихи Генриха Ибсена:

Я консерватор? О, нет!
Я все тот же, кем был всю жизнь, —
Не люблю перемещать фигуры,
Но — хотел бы смешать всю игру.

Помню только одну революцию, —
Она была умнее последующих
И могла бы все разрушить —
Разумею, конечно, Всемирный потоп.

Но — и тогда Дьявола надули! —
Вы знаете — Ной стал диктатором.

О, если это можно сделать честнее
Я не откажусь помочь вам, —
Вы хлопочите о Всемирном потопе,
Я же, с радостью, суну торпеду под ковчег!

Лавка Деренкова давала ничтожный доход, а количество людей и «делишек», нуждавшихся в материальной помощи, — все возрастало.

— Надо придумать что-нибудь, — озабоченно пощупывая бородку, говорил Андрей и виновато улыбался, тяжко вздыхал.

Мне казалось, что этот человек считает себя осужденным на бессрочную каторгу помощи людям и, хотя примирился с наказанием, но, все-таки, порою оно тяготит его.

Не однажды, разными словами, я спрашивал:

— Почему вы делаете это?

Он, видимо не понимая моих вопросов, отвечал на вопрос — для чего? — говорил книжно и невразумительно о тяжелой жизни народа, о необходимости просвещения, знания.

— А — хотят, ищут люди знания?

— Ну, как же. Конечно! Ведь вы — хотите?

Да, я — хотел. Но — я помнил слова учителя истории:

— «Люди ищут забвения, утешения, а не — знания».

Для таких острых идей — вредна встреча с людьми семнадцати лет от роду, идеи притупляются от этих встреч, люди тоже не выигрывают.

Мне стало казаться, что я всегда замечал одно и то же: людям нравятся интересные рассказы только потому, что позволяют им забыть на час времени тяжелую, но привычную жизнь. Чем больше «выдумки» в рассказе, тем жаднее слушают его. Наиболее интересна та книга, в которой много красивой «выдумки». Кратко говоря — я плавал в чадном тумане.

Деренков придумал открыть булочную. Помню — было совершенно точно высчитано, что это предприятие должно давать не менее тридцати пяти процентов на каждый оборот рубля. Я должен был работать «подручным» пекаря и, как «свой человек», следить, чтоб оный пекарь не воровал муку, яйца, масло и выпеченный товар.

И вот я переселился из большого грязного подвала в маленький, почище, — забота о чистоте его лежала на моей обязанности. Вместо артели в сорок человек предо мною был один, — у него седые виски, острая бородка, сухое, копченое лицо, темные, задумчивые глаза и странный рот: маленький точно у окуня, губы пухлые, толстые и сложены так, как будто он мысленно целуется. И что-то насмешливое светится в глубине глаз.

Он, конечно, воровал, — в первую же ночь работы он отложил в сторону десяток яиц, фунта три муки и солидный кусок масла.

— Это — куда пойдет?

— А это пойдет одной девченочке, — дружески сказал он и, сморщив переносье, добавил: — Ха-арошая девченка!

Я попробовал убедить его, что воровство считается преступлением. Но — или у меня не хватило красноречия или я сам был недостаточно крепко убежден в том, что пытался доказать, — речь моя не имела успеха.

Лежа на ларе теста и глядя в окно на звезды, пекарь удивленно забормотал:

— Он меня — учит! Первый раз видит и — готово — учит! А сам втрое моложе меня. Смешно . . .

Осмотрел звезды и спросил:

— Будто, — видел я тебя где-то, — ты у кого работал? У Семенова? Это где бунтовали? Так. Ну, значит, я тебя во сне видел . . .

Через несколько дней я заметил, что человек этот может спать сколько угодно и в любом положении, даже стоя, опершись на лопату. Засыпая, он приподнимал брови, и лицо его странно изменялось, принимая иронически удивленное выражение. А любимой темой его были рассказы о кладах и снах. Он убежденно говорил:

— Землю я вижу насквозь, и вся она, как пирог, кладами начинена: котлы денег, сундуки, чугуны везде зарыты. Не раз бывало: вижу во сне знакомое место, — скажем баню, под углом у ней сундук серебряной посуды зарыт. Проснулся и пошел ночью рыть, аршина полтора вырыл — гляжу — угли и собачий череп. Вот, оно, — нашел! . . . Вдруг — трах! — окно в дребезги, и баба какая-то орет неистово: Караул, воры. Конечно — убежал, а то бы — избили. Смешно.

Я часто слышу это слово, смешно! — но Иван Козьмич Лутонин не смеется, а только, улыбчиво прищурив глаза, морщит переносицу, расширяя ноздри.

Сны его — не затейливы, они также скучны и нелепы, как действительность, и я не понимаю: почему он сны свои рассказывал с увлечением, а о том, что живет вокруг его — не любит говорить?

Весь город взволнован: застрелилась, приехав из-под венца, насильно выданная замуж дочь богатого торговца чаем. За гробом ее шла толпа молодежи, несколько тысяч человек, над могилой студенты говорили речи, полиция разгоняла их. В маленьком магазине рядом с пекарней все кричат об этой драме, комната за магазином набита студентами, к нам, в подвал, доносятся возбужденные голоса, резкие слова.

— Косы ей драли мало, девице этой, — говорит Лутонин, и вслед за этим сообщает мне:

— Ловлю, будто, я карасей в пруде, вдруг — полицейский: стой, как ты смеешь? Бежать некуда, нырнул я в воду и — проснулся . . .

Но, хотя действительность протекала где-то за пределами его внимания, — он скоро почувствовал, что в булочной есть

что-то необычайное: в магазине торгуют девицы, неспособные к этому делу, читающие книжки — сестра хозяина и подруга ее, — большая, розовощекая, с ласковыми глазами. Приходят студенты, долго сидят в комнате за магазином и кричат или шепчутся о чем-то. Хозяин бывает редко, а я — «подручный» — являюсь, как будто, управляющим булочной.

— Родственник ты хозяину? — спрашивает Лутонин. — А, может, он тебя в зятья прочит? Нет? Смешно. А — зачем студенты шляются? Для барышень . . . Н-да. Ну, это может быть . . . Хотя барышни незначительно вкусно-красивы . . . Студентишки-то, наверно, больше едят булки, чем для барышень стараются . . .

Почти ежедневно в пять, шесть часов утра, на улице, у окна пекарни является коротконогая девушка; сложенная из полушарий различных размеров, она похожа на мешок арбузов. Спустив голые ноги в яму перед окном, она, позевывая, зовет:

— Ваня!

На голове у нее пестрый платок, из-под него выбиваются курчавые, светлые волосы, осыпая мелкими колечками ее красные, мячами надутые щеки, низенький лоб, щекоча полусонные глаза. Она лениво отмахивает волосы с лица маленькими руками, пальцы их забавно растопырены, точно у новорожденного ребенка. Интересно — о чем можно говорить с такой девицей. Я бужу пекаря, он спрашивает ее:

— Пришла?

— Видишь.

— Спала?

— Ну, а как же?

— Что видела во сне?

— Не помню . . .

Тихо в городе. Впрочем — где-то шаркает метла дворника, чирикают только что проснувшиеся воробьи. В стекла окон упираются тепленькие лучи восходящего солнца. Очень приятны мне эти задумчивые начала дней. Вытянув в окно волосатую руку, пекарь щупает ноги девицы, она подчиняется исследованию равнодушно, без улыбки, мигая овечьими глазами.

— Пешков, вынимай сдобное, пора!

Я вынимаю из печи железные листы, пекарь хватает с них

десяток плюшек, слоек, саек, бросая их в подол девушке, а она, перебрасывая горячую плюшку с ладони на ладонь, кусает ее желтыми зубами овцы, обжигается и сердито стонет, мычит.

Любуясь ею, пекарь говорит:

— Опусти подол, бесстыдница . . .

А когда она уходит, он хвастается предо мною:

— Видал? Как ярочка, вся в кудряшках. Я, брат, чистоплотный, с бабами не живу, только с девицами. Это у меня — тринадцатая! Никифорычу — крестная дочь.

Слушая его восторги, я думаю:

— И мне — так жить?

Вынув из печи весовой белый хлеб, я кладу на длинную доску десять, двенадцать короваев и поспешно несу их в лавочку Деренкова, а возвратясь назад, набиваю двухпудовую корзину булками и сдобными и бегу в духовную академию, чтоб поспеть к утреннему чаю студентов. Там, в обширной столовой, стою у двери, снабжая студентов булками «на книжку» и «за наличный расчет», — стою и слушаю их споры о Толстом; — один из профессоров академии — Гусев — яростный враг Льва Толстого. Иногда у меня в корзине под булками лежат книжки, я должен незаметно сунуть их в руки того или другого студента, иногда — студенты прячут книги и записки в корзину мне.

Раз в неделю я бегаю еще дальше — в «Сумасшедший дом», где читал лекции психиатр Бехтерев, демонстрируя больных. Однажды он показывал студентам больного манией величия: когда в дверях аудитории явился этот длинный человек, в белом одеянии, в колпаке, похожем на чулок, я невольно усмехнулся, но он, остановясь на секунду рядом со мною, взглянул в лицо мне, и я отскочил, — как будто он ударил в сердце мое черным, но огненным острием своего взгляда. И все время, пока Бехтерев, дергая себя за бороду, почтительно беседовал с больным, я тихонько ладонью гладил лицо свое, как будто обожженное горячей пылью.

Больной говорил глухим басом, он чего-то требовал, грозно вытягивая из рукава халата длинную руку с длинными пальцами, мне казалось, что все его тело неестественно вытягивается, бесконечно растет, что этой темной рукою он, не сходя с места, достигнет меня и схватит за горло. Угрожающе и

властно блестел из темных ям костлявого лица пронизывающий взгляд черных глаз. Десятка два студентов рассматривают человека в нелепом колпаке, немногие — улыбаясь, большинство — сосредоточенно и печально, их глаза подчеркнуто обыкновенны, в сравнении с его обжигающими глазами. Он страшен и что-то величественное есть в нем, — есть.

В рыбьем молчании студентов отчетливо звучит голос профессора, каждый вопрос его вызывает грозные окрики глухого голоса, он исходит как будто из-под пола, из мертвых, белых стен, движения тела больного архиерейски медленны и важны.

Ночью я писал стихи о маниаке, называя его «владыкой всех владык, другом и советником Бога», и долго образ его жил со мною, мешая мне жить.

Работая от шести часов вечера почти до полудня, днем я спал и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая когда закиснет другое и посадив хлеб в печь. По мере того, как я постигал тайны ремесла, пекарь работал все меньше, он меня «учил», говоря с ласковым удивлением:

— Ты — способный к работе, через год, два — будешь пекарем. Смешно. Молодой ты, не будут слушать тебя, уважать не будут . . .

К моему увлечению книгами он относился неодобрительно:

— Ты бы не читал, а спал, — заботливо советовал он, но никогда не спрашивал — какие книги читаю я?

Сны, мечты о кладах и круглая, коротенькая девица совершенно поглощали его. Девица нередко приходила ночью, и тогда он или уводил ее в сени на мешки муки или — если было холодно — говорил мне, сморщив переносье.

— Выдь на полчасика!

Я уходил, думая: как страшно не похожа эта любовь на ту, о которой пишут в книгах . . .

В маленькой комнатке за магазином жила сестра хозяина, я кипятил для нее самовары, но старался возможно реже видеть ее — неловко было мне с нею. Ее детские глаза смотрели на меня все тем же невыносимым взглядом, как при первых встречах, в глубине этих глаз я подозревал улыбку и мне казалось, что это насмешливая улыбка.

От избытка сил я был очень неуклюж, пекарь, наблюдая как я ворочаю и таскаю пятипудовые мешки, говорил сожалея:

— Силы у тебя — на троих, а ловкости нет! И, хоша ты длинный, а, все-таки, — бык . . .

Несмотря на то, что я уже немало прочитал книг, любил читать стихи и сам начинал писать их, — говорил я «своими словами». Я чувствовал, что они тяжелы, резки, но мне казалось, что только ими я могу выразить глубочайшую путаницу моих мыслей. А иногда я грубил нарочито, из протеста против чего-то чуждого мне и раздражавшего меня.

Один из учителей моих, студент математик, упрекал меня:

— Черт вас знает, как говорите вы. Не словами, а — гирями! Вообще — я не нравился себе, как это часто бывает у подростков; видел себя смешным, грубым. Лицо у меня — скуластое, калмыцкое, голос — не послушен мне.

А сестра хозяина двигалась быстро, ловко, как ласточка в воздухе, и мне казалось, что легкость ее движений разноречит с круглой, мягкой фигуркой ее. Что-то неверное есть в ее жестах и походке, что-то нарочное. Голос ее звучит весело, она часто смеется и, слыша этот звонкий смех, я думаю: ей хочется, чтоб я забыл о том, какою я видел ее первый раз. А я не хотел забыть об этом, — мне было дорого необыкновенное, мне нужно было знать, что оно возможно, существует.

Иногда она спрашивала меня:

— Что вы читаете?

Я отвечал кратко, и мне хотелось спросить ее:

— А вам зачем знать это?

Однажды пекарь, лаская коротконогую, сказал мне хмельным голосом:

— Выдь на минутку. Эх, шел бы ты к хозяйской сестре, чего зеваешь? Ведь студенты . . .

Я обещал разбить ему голову гирей, если он скажет еще что-нибудь такое же, и ушел в сени, на мешки. В щель неплотно прикрытой двери слышу голос Лутонина:

— Зачем я буду сердиться на него? Он насосался книг и — вроде сумасшедшего живет . . .

В сенях пищат и возятся крысы, в пекарне мычит и стонет девица. Я вышел на двор, там лениво, почти бесшумно сыплется мелкий дождь, но все-таки душно, воздух насыщен запахом

гари — горят леса. Уже далеко за полночь. В доме напротив булочной открыты окна; в комнатах, неярко освещенных, поют:

— Сам Варламий святой
С золотой головой
Сверху глядя на них
Улыбается . . .

Я пытаюсь представить себе Марию Деренкову лежащей на коленях у меня, — как лежит на коленях пекаря его девица — и всем существом моим чувствую, что это невозможно, даже страшно.

— И всю ночь, напролет,
Он и пьет, и поет
И еще — о! . . . кое-чем
Занимается . . .

Задорно выделяется из хора густое, басовое — о. Согнувшись, упираясь руками в колени, я смотрю в окно; сквозь кружево занавески мне видно квадратную яму, серые стены ее освещает маленькая лампа под голубым абажуром, перед нею, лицом к окну, сидит девушка и пишет. Вот — подняла голову и красной вставкой для пера поправила прядь волос на виске. Глаза ее прищурены, лицо улыбается. Она медленно складывает письмо, заклеивает конверт, проводя языком по краям его, и, бросив конверт на стол, грозит ему маленьким пальцем, — меньше моего мизинца. Но — снова берет письмо, хмурясь, разрывает конверт, читает, заклеивает в другой конверт, пишет адрес, согнувшись над столом, и размахивает письмом в воздухе, как белым флагом. Кружась, всплескивая руками, идет в угол, где ее постель, потом выходит оттуда, сняв кофточку, — плечи у нее круглые, как пышки — берет лампу со стола и скрывается в углу. Когда наблюдаешь, как ведет себя человек наедине сам с собою, — он кажется безумным. Я хожу по двору, думая о том, как странно живет эта девушка, когда она одна в своей норе.

А когда к ней приходил рыжеватый студент и, пониженным голосом, почти шопотом — говорил ей что-то, она вся сжималась, становясь еще меньше, смотрела на него робко улыбаясь и прятала руки за спину или под стол. Не нравился мне этот рыжий. Очень не нравился.

Пошатываясь, кутаясь в платок, идет коротконогая и урчит.

— Иди в пекарню . . .

Пекарь, выкидывая тесто из ларя, рассказывает мне, как утешительна и неутомима его возлюбленная, а я — соображаю:

— Что же будет со мною дальше?

И мне кажется, что где-то близко, за углом, меня ожидает несчастие.

Дела булочной идут так хорошо, что Деренков ищет уже другую, более обширную пекарню и решил нанять еще подручного. Это — хорошо, у меня слишком много работы, я устаю до отупения.

— В новой пекарне ты будешь старшим подручным, — обещает мне пекарь. — Скажу, чтоб положили тебе десять рублей в месяц. Да.

Я понимаю, что ему выгодно иметь меня старшим, он — не любит работать, а я работаю охотно, усталость полезна мне, она гасит тревоги души, сдерживает настойчивые требования инстинкта пола. Но — не позволяет читать.

— Хорошо, что ты бросил книжки, — крысы бы с'ели их! — говорит пекарь. — А — неужто ты снов не видишь? Наверно — видишь, только — скрытен ты! Смешно. Ведь сны рассказывать — самое безвредное дело, тут опасаться нечего . . .

Он очень ласков со мною, кажется — даже уважает меня. Или — боится, как хозяйского ставленника, хотя это не мешает ему аккуратно воровать товар.

Умерла бабушка. Я узнал о смерти ее через семь недель после похорон, из письма, присланного двоюродным братом моим. В кратком письме — без запятых — было сказано, что бабушка, собирая милостыню на паперти церкви и упав, — сломала себе ногу. На восьмой день «прикинулся Антонов огонь». Позднее я узнал, что оба брата и сестра с детьми — здоровые, молодые люди — сидели на шее старухи, питаясь милостыней, собранной ею. У них не хватило разума позвать доктора.

В письме было сказано:

«Схоронили ее на Петропавловском где все наши провожали мы и нищие они ее любили и плакали. Дедушка тоже плакал нас прогнал а сам остался на могиле мы смотрели из кустов как он плакал он тоже скоро помрет».

Я — не плакал, только — помню — точно ледяным ветром

охватило меня. Ночью, сидя на дворе, на поленице дров, я почувствовал настойчивое желание рассказать кому-нибудь о бабушке, о том, какая она была сердечно-умная, мать всем людям. Долго носил я в душе это тяжелое желание, но рассказать было некому, так оно невысказанное и перегорело.

Я вспомнил эти дни много лет спустя, когда прочитал удивительно правдивый рассказ А. П. Чехова про извозчика, который беседовал с лошадью о смерти сына своего. И пожалел, что в те дни острой тоски не было около меня ни лошади, ни собаки, и что я не догадался поделиться горем с крысами, — их было много в пекарне и я жил с ними в отношениях доброй дружбы.

Около меня начал коршуном кружиться городовой Никифорыч. Статный, крепкий, в серебряной щетине на голове, с окладистой, заботливо подстриженной бородкой, он, вкусно причмокивая, смотрел на меня точно на битого гуся перед Рождеством.

— Читать любишь, слышал я? — спрашивал он. — Какие же книги, например? Скажем — Жития святых, али Библию?

И Библию читал я, и Четьи Минеи, — это удивляло Никифорыча, видимо сбивая его с толка.

— М-да? Чтение — законно полезное! А — графа Толстого сочинений не случалось читывать?

Читал я и Толстого, но — оказалось — не те сочинения, которые интересовали полицейского.

— Это — скажем так — обыкновенные сочинения, которые все пишут, а, говорят, в некоторых он против попов вооружился, — их бы почитать!

«Некоторые», напечатанные на гектографе, я тоже читал, но они мне показались скучными и я знал, что о них не следует рассуждать с полицией.

После нескольких бесед на ходу, на улице, старик стал приглашать меня:

— Заходи ко мне на будку, чайку попить.

Я, конечно, понимал чего он хочет от меня, но — мне хотелось идти к нему. Посоветовался с умными людьми, и было решено, что если я уклонюсь от любезности будочника, — это может усилить его подозрения против пекарни.

И вот, — я в гостях у Никифорыча. Треть маленькой конуры занимает русская печь, треть — двуспальная кровать за ситце-

вым пологом, со множеством подушек в кумачевых наволоках, остальное пространство украшает шкаф для посуды, стол, два стула и скамья под окном. Никифорыч, расстегнув мундир, сидит на скамье, закрывая телом своим единственное маленькое окно, рядом со мною — его жена, пышногрудая бабенка лет двадцати, румяно-ликая, с лукавыми и злыми глазами, странного, сиреневого цвета; ярко красные губы ее капризно надуты, голосок сердито суховат.

— Известно мне, — говорит полицейский, — что в пекарню к вам ходит крестница моя Секлетея, — это девка распутная и подлая. И все бабы — подлые.

— Все? — спрашивает его жена.

— До одной! — решительно подтверждает Никифорыч, брякая медалями, точно конь сбруей. И выхлебнув с блюдца чай, смачно повторяет:

— Подлые и распутные от последней уличной . . . и даже до цариц! Савская царица к царю Соломону пустыней ездила за тысячи верст для распутства. А также царица Екатерина, хоша и прозвана Великой . . .

Он подробно рассказывает историю какого-то истопника, который в одну ночь с царицей получил все чины от сержанта до генерала. Его жена, внимательно слушая, облизывает губы и толкает ногою под столом мою ногу. Никифорыч говорит очень плавно, вкусными словами и, как-то незаметно для меня, переходит на другую тему:

— Например: есть тут студент первого курса Плетнев.

Супруга его, вздохнув, вставила:

— Не красивый, а — хорош!

— Кто?

— Господин Плетнев.

— Во-первых — не господин, господином он будет, когда выучится, а, покамест, просто студент, каких у нас тысячи. Во-вторых — что значит — хорош?

— Веселый. Молодой.

— Во-первых — паяц в балагане тоже веселый . . .

— Паяц — за деньги веселится.

— Цыц! Во-вторых — и кобель кутенком бывает . . .

— Паяц — вроде обезьяны . . .

— Цыц, сказал я, между прочим! Слышала?

— Ну, слышала.

— То-то . . .

И Никифорыч, укротив жену, советует мне:

— Вот — познакомься-ко с Плетневым, — очень интересный!

Так как он видел меня с Плетневым на улице, вероятно, не один раз, я говорю:

— Мы знакомы.

— Да? Вот как . . .

В его словах звучит досада, он порывисто двигается, брякают медали. А я — насторожился; мне было известно, что Плетнев печатает на гектографе некие листочки.

Женщина, толкая меня ногою, лукаво подзадоривает старика, а он, надуваясь павлином, распускает пышный хвост своей речи. Шалости супруги его мешают мне слушать, и я снова не замечаю, когда изменился его голос, стал тише, внушительнее.

— Незримая нить — понимаешь? — спрашивает он меня и смотрит в лицо мое округленными глазами, точно испугавшись чего-то.

— Прими Государь Императора за паука . . .

— Ой, что ты! — воскликнула женщина.

— Тебе — молчать! Дура, — это говорится для ясности, а не в поношение, кобыла. Убирай самовар . . .

Сдвинув брови, прищурив глаза, он продолжает внушительно:

— Незримая нить — как бы паутинка, — исходит из сердца Его Императорского Величества Государь Императора Александра Третьего и прочая, — проходит она сквозь господ министров, сквозь Его Высокопревосходительство Губернатора и все чины вплоть до меня и даже до последнего солдата. Этой нитью все связано, все оплетено, незримой крепостью ее и держится на веки вечные Государево Царство. А — полячишки, жиды и русские подкуплены хитрой Английской Королевой, стараются эту нить порвать где можно, будто бы они — за народ!

Грозным шопотом он спрашивает, наклоняясь ко мне через стол:

— Понял? То-то. Я тебе почему говорю? Пекарь твой хвалит тебя, ты, дескать, парень умный, честный и живешь — один. А к вам, в булочную, студенты шляются, сидят у Деренковой по ночам. Ежели — один, понятно. Но — когда много?

А? Я против студентов не говорю — сегодня он студент, а завтра — товарищ прокурора. Студенты — хороший народ, только они торопятся роли играть, а враги Царя — подзуживают их! Понимаешь? И еще скажу . . .

Но он не успел сказать — дверь широко распахнулась, вошел красноносый, маленький старичек с ремешком на кудрявой голове, с бутылкой водки в руке и уже выпивший.

— Шашки двигать будем? — весело спросил он, и тотчас весь заблестел огоньками прибауток.

— Тесть мой, жене отец, — с досадой, угрюмо сказал Никифорыч.

Через несколько минут я простился и ушел, лукавая баба, притворяя за мною дверь будки, ущипнула меня, говоря:

— Облака-то какие красные — огонь!

В небе таяло одно маленькое, золотистое облако.

Не желая обижать учителей моих, я скажу, все-таки, что будочник решительнее и нагляднее, чем они, об'яснил мне устройство государственного механизма. Где-то сидит паук и от него исходит, скрепляя, опутывая всю жизнь, «незримая нить». Я скоро научился всюду ощущать крепкие петельки этой нити.

Поздно вечером, заперев магазин, хозяйка позвала меня к себе и деловито сообщила, что ей поручено узнать — о чем говорил со мною будочник?

— Ах, Боже мой! — тревожно воскликнула она, выслушав подробный доклад, и забегала, как мышь, из угла в угол комнаты, встряхивая головою. — Что, — пекарь не выспрашивает вас ни о чем? Ведь его любовница — родня Никифорыча, да? Его надо прогнать.

Я стоял, прислонясь у косяка двери, глядя на нее исподлобья. Она как-то слишком просто произнесла слово — «любовница» — это не понравилось мне. И не понравилось ее решение прогнать пекаря.

— Будьте очень осторожны, — говорила она и, как всегда, меня смущал цепкий взгляд ее глаз, казалось — он спрашивает меня о чем-то, чего я не могу понять. Вот она остановилась предо мною, спрятав руки за спину.

— Почему вы всегда такой угрюмый?

— У меня недавно бабушка умерла.

Это показалось ей забавным, улыбаясь она спросила:

— Вы очень любили ее?

— Да. Больше вам ничего не нужно?

— Нет.

Я ушел и ночью написал стихи, в которых, помню, была упрямая строка:

— «Вы — не то, чем хотите казаться».

Было решено, чтоб студенты посещали булочную возможно реже. Не видя их, я почти потерял возможность спрашивать о непонятном мне в прочитанных книгах и стал записывать вопросы, интересовавшие меня, в тетрадь. Но однажды, усталый, заснул над нею, а пекарь прочитал мои записки. Разбудив меня, он спросил:

— Что это ты пишешь? «Почему Гарибальди не прогнал короля?» Что такое Гарибальди? И — разве можно гонять королей?

Сердито бросил тетрадь на ларь, залез в приямок и ворчал там:

— Скажи пожалуйста — королей гонять надобно ему. Смешно. Ты эти затеи — брось. Читатель. Лет пять тому назад в Саратове таких читателей жандармы ловили, как мышей, да. Тобой и без этого Никифорыч интересуется. Ты — оставь королей гонять.

Он говорил с добрым чувством ко мне, а я не мог ответить ему так, как хотелось бы, — мне запретили говорить с пекарем на «опасные темы».

В городе ходила по рукам какая-то волнующая книжка, ее читали и — ссорились. Я попросил ветеринара Лаврова достать мне ее, но он безнадежно сказал:

— Э, нет, батя, не ждите! Впрочем — кажется ее, на днях, будут читать в одном месте, может быть я сведу вас туда . . .

В полночь «Успеньева дня» я шагаю Арским полем, следя, сквозь тьму, за фигурой Лаврова — он идет сажень на пятьдесят впереди. Поле — пустынно, а все-таки я иду «с предосторожностями» — так советовал Лавров, — насвистываю, напеваю, изображая «мастерового под хмельком». Надо мною лениво плывут черные клочья облаков, между ними золотым мячом катится луна, тени кроют землю, лужи блестят серебром и сталью. За спиною сердито гудит город.

Путеводитель мой останавливается у забора какого-то сада за духовной академией, я торопливо догоняю его. Молча перелезаем через забор, идем густо заросшим садом, задевая ветви деревьев, крупные капли воды падают на нас. Остановясь у стены дома, тихо стучим в ставень наглухо закрытого окна, — окно открывает кто-то бородатый, за ним я вижу тьму и не слышу ни звука.

— Кто?

— От Якова.

— Влезайте.

В кромешной тьме чувствуется присутствие многих людей, слышен шорох одежд и ног, тихий кашель, шопот. Вспыхивает спичка, освещая мое лицо, я вижу у стен на полу несколько темных фигур.

— Все?

— Да.

— Занавесьте окна, чтобы не видно было света сквозь щели ставень.

Сердитый голос громко говорит:

— Какой это умник придумал собрать нас в нежилом доме?

— Тише!

В углу зажгли маленькую лампу. Комната — пустая, без мебели, только — два ящика, на них положена доска, а на доске, — как галки на заборе — сидят пятеро людей. Лампа стоит тоже на ящике, поставленном «попом». На полу у стен еще трое и на подоконнике один — юноша с длинными волосами, очень тонкий и бледный. Кроме его и бородача я знаю всех. Бородатый басом говорит, что он будет читать брошюру «Наши разногласия», ее написал Георгий Плеханов, «бывший народоволец».

Во тьме, на полу кто-то рычит:

— Знаем!

Таинственность обстановки приятно волнует меня; поэзия тайны — высшая поэзия. Чувствую себя верующим за утренней службой во храме и вспоминаю катакомбы, первых христиан. Комнату наполняет глуховатый бас, отчетливо произнося слова.

— Ер-рунда, — снова рычит кто-то из угла.

Там, в темноте загадочно и тускло блестит какая-то медь, напоминая о шлеме воина. Догадываюсь, что это отдушник печи.

В комнате гудят пониженные голоса, они сцепились в темный хаос горячих слов и нельзя понять кто что говорит. С подоконника, над моей головой, насмешливо и громко спрашивают:

— Будем читать или нет?

Это говорит длинноволосый бледный юноша. Все замолчали, слышен только бас чтеца. Вспыхивают спички, сверкают красные огоньки папирос, освещая задумавшихся людей, прищуренные или широко раскрытые глаза.

Чтение длится утомительно долго, я устаю слушать, хотя мне нравятся острые и задорные слова, легко и просто они укладываются в убедительные мысли.

Как-то сразу, неожиданно пресекается голос чтеца и тотчас же комната наполнилась возгласами возмущения:

— Ренегат!

— Медь звенящая . . .

— Это — плевок в кровь, пролитую героями.

— После казни Генералова, Ульянова . . .

И снова с подоконника раздается голос юноши:

— Господа, — нельзя ли заменить ругательства серьезными возражениями, по существу?

Я не люблю споров, не умею слушать их, мне трудно следить за капризными прыжками возбужденной мысли, и меня всегда раздражает обнаженное самолюбие спорящих.

Юноша, наклонясь с подоконника, спрашивает меня:

— Вы — Пешков, булочник? Я — Федосеев. Нам надо бы познакомиться. Собственно — здесь делать нечего, шум этот — надолго, а пользы в нем мало. Идемте?

О Федосееве я уже слышал, как об организаторе очень серьезного кружка молодежи, и мне понравилось его бледное, нервное лицо, с глубокими глазами.

Идя со мною полем, он спрашивал есть ли у меня знакомства среди рабочих, что я читаю, много ли имею свободного времени и, между прочим, сказал:

— Слышал я об этой булочной вашей, — странно, что вы занимаетесь чепухой. Зачем это вам?

С некоторой поры я и сам чувствовал, что мне это не нужно, о чем и сказал ему. Его обрадовали мои слова, крепко пожав мне руку, ясно улыбаясь, он сообщил, что через день уезжает

недели на три, а, возвратясь, даст мне знать, как и где мы встретимся.

Дела булочной шли весьма хорошо, лично мои — все хуже. Переехали в новую пекарню, и количество обязанностей моих возросло еще более. Мне приходилось работать в пекарне, носить булки по квартирам, в академию и в «институт благородных девиц». Девицы, выбирая из корзины моей сдобные булки, подсовывали мне записочки и, нередко, на красивых листочках бумаги я, с изумлением, читал циничные слова, написанные полудетским почерком. Странно чувствовал я себя, когда веселая толпа чистеньких, ясноглазых барышень окружала корзину и, забавно гримасничая, перебирала маленькими розовыми лапками кучу булок, — смотрел я на них и старался угадать — которые пишут мне бесстыдные записки, может быть, не понимая их зазорного смысла? И, вспоминая грязные «дома утешения», думал:

— Неужели из этих домов и сюда простирается «незримая нить»?

Одна из девиц, полногрудая брюнетка, с толстой косою, остановив меня в корридоре, сказала торопливо и тихо:

— Дам тебе десять копеек, если ты отнесешь эту записку по адресу.

Ее темные, ласковые глаза налились слезами, она смотрела на меня крепко прикусив губы, а щеки и уши у нее густо покраснели. Принять десять копеек я благородно отказался, а записку взял и вручил сыну одного из членов судебной палаты, длинному студенту с чахоточным румянцем на щеках. Он предложил мне полтинник, молча и задумчиво отсчитав деньги мелкой медью, а когда я сказал, что это мне не нужно — сунул медь в карман своих брюк, но — не попал, и деньги рассыпались по полу.

Растерянно глядя, как пятаки и семишники катятся во все стороны, он потирал руки так крепко, что трещали суставы пальцев, и бормотал, трудно вздыхая:

— Что же теперь делать? Ну, прощай! Мне нужно подумать . . .

Не знаю, что он выдумал, но я очень пожалел барышню. Скоро она исчезла из института, а лет через пятнадцать, я встретил ее учительницей в одной Крымской гимназии, она

страдала туберкулезом и говорила обо всем в мире с беспощадной злобой человека, оскорбленного жизнью.

Кончив разносить булки, я ложился спать, вечерком работал в пекарне, чтоб к полуночи выпустить в магазин сдобное, — булочная помещалась около городского театра и после спектакля публика заходила к нам истреблять горячие слойки. Затем шел месить тесто для весового хлеба и французских булок, а замесить руками пятнадцать, двадцать пудов — это не игрушка.

Снова спал часа два, три и снова шел разносить булки.

Так — изо дня в день.

А мною овладел нестерпимый зуд сеять «разумное, доброе, вечное». Человек общительный, я умел живо рассказывать, фантазия моя была возбуждена пережитым и прочитанным. Очень немного нужно было мне для того, чтоб из обыденного факта создать интересную историю, в основе которой капризно извивалась «незримая нить». У меня были знакомства с рабочими фабрик Крестовникова и Алофузова; особенно близок был мне старик-ткач Никита Рубцов, человек, работавший почти на всех ткацких фабриках России, беспокойная, умная душа.

— Пятьдесят и семь лет хожу я по земле, Лексей, ты мой, Максимыч, молодой ты мой шиш, новый челночек! — говорил он придушенным голосом, улыбаясь больными, серыми глазами в темных очках, самодельно связанных медной проволокой, от которой у него на переносице и за ушами являлись зеленые пятна окиси. Ткачи звали его «Немцем», за то, что он брил бороду, оставляя тугие усы и густой клок седых волос под нижней губой. Среднего роста, широкогрудый, он был исполнен скорбной веселостью.

— Люблю в цирк ходить, — говорил он, склоняя на левое плечо лысый, шишковатый череп. — Лошадей — скотов — как выучивают, а? Утешительно. Гляжу на скот с почтением, — думаю: ну, значит, и людей можно научить пользоваться разумом. Скота — сахаром подкупают циркачи, ну, мы, конечно, сахар в лавочке купить способны. Нам — для души сахар нужно, а это будет — ласка! Значит, парень, лаской надо действовать, а не поленом, как установлено промежду нас, — верно?

Сам он был не ласков с людьми, говорил с ними полупрезрительно и насмешливо, в спорах возражал односложными восклицаниями, явно стараясь обидеть совопросника. Я познакомился с ним в пивной, когда его собирались бить и уже дважды ударили, я вступился и увел его.

— Больно ударили вас? — спросил я, идя с ним во тьме, под мелким дождем осени.

— Ну, — так ли бьют? — равнодушно сказал он. — Постойка, — почему это ты со мной на «вы» говоришь?

С этого и началось наше знакомство. Вначале он высмеивал меня остроумно и ловко, но когда я рассказал ему, какую роль в жизни нашей играет «незримая нить», он задумчиво воскликнул:

— А ты — не глуп, нет! Ишь ты? . . И стал относиться ко мне отечески ласково, даже именуя меня по имени и отчеству.

— Мысли твои, Лексей, ты мой, Максимыч, шило мое милое, — правильные мысли, только никто тебе не поверит, не выгодно . . .

— Вы верите?

— Я — пес бездомный, короткохвостый, а народ состоит из цепных собак, на хвосте каждого репья много: жены, дети, гармошки, калошки. И каждая собачка обожает свою конуру. Не поверят. У нас, — у Морозова на фабрике — было дело. Кто впереди идет, того по лбу бьют, а лоб — не задница, долго саднится.

Он стал говорить несколько иначе, когда познакомился со слесарем Шапошниковым, рабочим Крестовникова, — чахоточный Яков, гитарист, знаток Библии поразил его яростным отрицанием Бога. Расплевывая во все стороны кровавые шматки изгнивших легких, Яков крепко и страстно доказывал:

— Первое: создан я вовсе не «по образу и подобию Божию», — я ничего не знаю, ничего не могу и, притом, не добрый человек, нет не добрый. Второе: Бог не знает как мне трудно, или знает, да не в силе помочь, или может помочь, — да — не хочет. Третье: Бог не всезнающий, не всемогущий, не милостив, а — проще — нет его. Это — выдумано, все выдумано, вся жизнь выдумана, однако — меня не обманешь.

Рубцов изумился до немоты, потом посерел от злости и стал

дико ругаться, но Яков торжественным языком цитат из Библии обезоружил его, заставил умолкнуть и вдумчиво с'ежиться.

Говоря, Шапошников становился почти страшен. Лицо у него было смуглое, тонкое, волосы курчавые и черные, как у цыгана, из-за синеватых губ сверкали волчьи зубы. Темные глаза его неподвижно упирались прямо в лицо противника, и трудно было выдержать этот тяжелый, сгибающий взгляд — он напоминал мне глаза больного манией величия.

Идя со мною от Якова, Рубцов говорил угрюмо:

— Против Бога предо мной не выступали. Этого я никогда не слыхал. Всякое слышал, а такого — нет. Конечно, человек этот не жилец на земле. Ну, — жалко. Раскалился до бела . . . Интересно, брат, очень интересно.

Он быстро и дружески сошелся с Яковом и весь как-то закипел, заволновался, то и дело отирая пальцами больные глаза.

— Та-ак, — ухмыляясь, говорил он, — Бога, значит, в отставку? Хм. Насчет царя у меня, шпигорь ты мой, свои слова: мне царь не помеха. Не в царях дело, — в хозяевах. Я с каким хошь царем помирюсь, хошь с Иваном Грозным: на, сиди, царствуй, коли любо, только — дай ты мне управу на хозяина — во-от. Дашь — золотыми цепями к престолу прикую, молиться буду на тебя . . .

Прочитав «Царь Голод», он сказал:

— Все — обыкновенно правильно!

Впервые видя литографированную брошюру, он спрашивал меня:

— Кто это тебе написал? Четко пишет. Ты скажи ему — спасибо.

Рубцов обладал ненасытной жадностью знать. С величайшим напряжением внимания он слушал сокрушительные богохульства Шапошникова, часами слушал мои рассказы о книгах и радостно хохотал, закинув голову, выгибая кадык, восхищаясь:

— Ловкая штучка умишко человечий, ой, ловкая.

Сам он читал с трудом, — мешали больные глаза, но он тоже много знал и, нередко, удивлял меня этим:

— Есть у немцев плотник необыкновенного ума, — его сам король на советы приглашает.

Из расспросов моих выяснилось, что речь идет о Бебеле.

— Как вы это знаете?

— Знаю, — кратко отвечал он, почесывая мизинцем шишковатый череп свой.

Шапошникова не занимала тяжкая сумятица жизни, он был весь поглощен уничтожением Бога, осмеянием духовенства, особенно ненавидя монахов.

Однажды Рубцов миролюбиво спросил его:

— Что ты, Яков, все только против Бога кричишь?

Он завыл еще более озлобленно:

— А что еще мешает мне, ну? Я почти два десятка лет веровал, в страхе жил пред ним. Терпел. Спорить — нельзя. Установлено сверху. Жил связан. Вчитался в Библию, — вижу: выдумано. Выдумано, Никита.

И, размахивая рукою, точно разрывая «незримую нить», он почти плакал:

— Вот — умираю через это раньше время!

Было у меня еще несколько интересных знакомств, нередко забегал я в пекарню Семенова к старым товарищам, они принимали меня радостно, слушали охотно. Но — Рубцов жил в Адмиралтейской слободе, Шапошников — в Татарской, далеко за Кабаном, верстах в пяти друг от друга, я очень редко смог видеть их. А ко мне ходить — невозможно, негде было принять гостей, к тому же новый пекарь, отставной солдат, вел знакомство с жандармами — задворки жандармского управления соприкасались с нашим двором, и солидные «синие мундиры» лазили к нам через забор — за булками для полковника Гангардта и хлебом для себя. — И еще — мне было рекомендовано не очень «высовываться в люди», дабы не привлекать к булочной излишнего внимания.

Я видел, что работа моя теряет смысл. Все чаще случалось, что люди, не считаясь с ходом дела, выбирали из кассы деньги так неосторожно, что иногда нечем было платить за муку. Деренков, теребя бородку, уныло усмехался.

— Обанкротимся.

Ему жилось тоже плохо: рыжекудрая Настя ходила «не порожной» и фыркала злой кошкой, глядя на все и на всех зеленым, обиженным взглядом.

Она шагала прямо на Андрея, как будто не видя его; он виновато ухмыляясь уступал ей дорогу и вздыхал.

Иногда он жаловался мне:

— Не серьезно все. Все все берут, — без толку. Купил себе полдюжины носков — сразу исчезли.

Это было смешно — о носках — но я не смеялся, видя как бьется скромный, бескорыстный человек, стараясь наладить полезное дело, а все вокруг относятся к этому делу легкомысленно и беззаботно, разрушая его. Деренков не рассчитывал на благодарность людей, которым служил, но — он имел право на отношение к нему более внимательное, — дружеское и не встречал этого отношения. А семья его быстро разрушилась, — отец заболевал тихим помешательством на религиозной почве, младший брат начинал пить и гулять с девицами, сестра вела себя, как чужая, и у нее, видимо, разыгрывался невеселый роман с рыжим студентом, — я часто замечал, что глаза ее опухли от слез, и студент стал ненавистен мне.

Мне казалось, что я влюблен в Марию Деренкову. Я был влюблен также в продавщицу из нашего магазина Надежду Щербатову, дородную, краснощекую девицу, с неизменно ласковой улыбкой алых губ. Я вообще был влюблен. Возраст, характер и запутанность моей жизни требовали общения с женщиной и это было скорее поздно, чем преждевременно. Мне необходима была женская ласка, или, хотя бы, дружеское внимание женщины, нужно было говорить откровенно о себе, разобраться в путанице бессвязных мыслей, в хаосе впечатлений.

Друзей у меня — не было. Люди, которые смотрели на меня, как на «материал, подлежащий обработке», не возбуждали моих симпатий, не вызывали на откровенность. Когда я начинал говорить им не о том, что интересовало их, — они советовали мне:

— Бросьте это!

Гурия Плетнева арестовали и отвезли в Петербург, в «Кресты». Первый сказал мне об этом Никифорыч, встретив меня рано утром на улице. Шагая навстречу мне задумчиво и торжественно, при всех медалях, — как будто возвращаясь с парада — он поднял руку к фуражке и молча разминулся со мной, но тотчас остановясь, сердитым голосом сказал в затылок мне:

— Гурия Александровича арестовали сегодня ночью . . .

И, махнув рукою, добавил потише, оглядываясь:

— Пропал юноша!

Мне показалось, что на его хитрых глазах блестят слезы.

Я знал, что Плетнев ожидал ареста, он сам предупредил меня об этом и советовал не встречаться с ним, ни мне, ни Рубцову, с которым он также дружески сошелся, как и я.

Никифорыч, глядя под ноги себе, скучно спросил:

— Что не приходишь ко мне? . .

Вечером я пришел к нему, он только что проснулся и, сидя на постели, пил квас, жена его, согнувшись у окошка, чинила штаны.

— Так-то, вот, — заговорил будочник, почесывая грудь, обросшую енотовой шерстью, и глядя на меня задумчиво. — Арестовали. Нашли у него кастрюлю, — он в ней краску варил для листков против Государя.

И, плюнув на пол, он сердито крикнул жене:

— Давай штаны!

— Сейчас, — ответила она, не поднимая головы.

— Жалеет, плачет, — говорил старик, показав глазами на жену. — И мне — жаль. Однако — что может сделать студент против государя?

Он стал одеваться, говоря:

— Я, на минуту, выйду . . . Ставь самовар, ты.

Жена его неподвижно смотрела в окно, но когда он скрылся за дверью будки, она, быстро повернувшись, протянула к двери туго сжатый кулак, сказав, с великой злобой, сквозь оскаленные зубы:

— У, стерво старое!

Лицо у нее опухло от слез, левый глаз почти закрыт большим синяком. Вскочила, подошла к печи и, наклоняясь над самоваром, зашипела:

— Обману я его, так обману — завоет! Волком завоет. Ты — не верь ему, ни единому слову не верь! Он тебя ловит. Врет он, — никого ему не жаль. Рыбак. Он — все знает про вас. Этим живет. Это охота его — людей ловить . . .

Она подошла вплоть ко мне и голосом нищенки сказала:

— Приласкал бы ты меня, а?

Мне была неприятна эта женщина, но ее глаз смотрел на меня с такою злой, острой тоской, что я обнял ее и стал гладить жестковатые волосы, растрепанные и жирные.

— За кем он теперь следит?

— На Рыбнорядской, в номерах за какими-то.

— Не знаешь фамилию? . .

Улыбаясь, она ответила:

— Вот я скажу ему, про что ты спрашиваешь меня. Идет . . . Гурочку-то он выследил . . .

И отскочила к печке.

Никифорыч принес бутылку водки, варенья, хлеба. Сели пить чай. Марина, сидя рядом со мною, подчеркнуто ласково угощала меня, заглядывая в лицо мое здоровым глазом, а супруг ее внушал мне:

— Незримая эта нить — в сердцах, в костях, ну-ко — вытрави, выдери ее? Царь — народу — Бог.

И неожиданно спросил:

— Ты, вот, начитан в книгах, Евангелие читал? Ну, как, по-твоему все верно там?

— Не знаю.

— По моему — приписано лишнее. И — не мало. Например, — насчет нищих: блаженны нищие, — чем же это блаженны они? Зря немножко сказано. И вообще — насчет бедных — много непонятного. Надо различать: бедного от обедневшего. Беден — значит — плох. А кто обеднел — он несчастлив, может быть. Так надо рассуждать. Это — лучше.

— Почему?

Он, пытливо глядя на меня, помолчал, а потом заговорил отчетливо и веско, видимо — очень продуманные мысли.

— Жалости много в Евангелии, а жалость — вещь вредная. Так я думаю. Жалость требует громадных расходов на ненужных и вредных даже людей. Богадельни, тюрьмы, сумасшедшие дома. Помогать надо людям крепким, здоровым, чтоб они зря силу не тратили. А мы помогаем слабым, — слабого разве сделаешь сильным? От этой канители крепкие слабеют, а слабые — на шее у них сидят. Вот чем заняться надо — этим. Передумать надо многое. Надо понять — жизнь давно отвернулась от Евангелия, у нее — свой ход. Вот, видишь — из чего Плетнев пропал? Из-за жалости. Нищим подаем, а студенты пропадают. Где здесь разум, а?

Впервые слышал я эти мысли в такой резкой форме, хотя и раньше сталкивался с ними, — они более живучи и шире распространены, чем принято думать. Лет через семь, читая о

Нитчше, я очень ярко вспомнил философию казанского городового. Скажу кстати: редко встречались мне в книгах мысли, которых я не слышал раньше, в жизни.

А старый «ловец человеков» все говорил, постукивая в такт словам пальцами по краю подноса. Сухое лицо его строго нахмурилось, но смотрел он не на меня, а в медное зеркало ярко вычищенного самовара.

— Идти пора тебе, — дважды напоминала ему жена, он не отвечал ей, нанизывал слово за словом на стержень своей мысли, и — вдруг она, неуловимо для меня, потекла по новому пути.

— Ты — парень неглупый, грамотен, разве пристало тебе булочником быть? Ты мог бы не меньше деньги заработать и другой службой государеву царству . . .

Слушая его, я думал, как предупредить незнакомых мне людей на Рыбнорядской улице о том, что Никифорыч следит за ними? Там, в номерах, жил недавно возвратившийся из ссылки, из Ялуторовска, Сергей Сомов, человек, о котором мне рассказывали много интересного.

— Умные люди должны жить кучей, как, примерно, пчелы в улье, или осы в гнездах. Государево царство . . .

— Гляди — девять часов, — сказала женщина.

— Чорт!

Никифорыч встал, застегивая мундир.

— Ну, ничего, на извозчике поеду. Прощай, брат. Заходи, не стесняйся . . .

Уходя из будки, я твердо сказал себе, что уже никогда больше не приду в «гости» к Никифорычу — отталкивал меня старик, хотя и был интересен. Его слова о вреде жалости очень взволновали и крепко в'елись мне в память. Я чувствовал в них какую-то правду, но было досадно, что источник ее — полицейский.

Споры на эту тему были не редки, один из них особенно жестоко взволновал меня.

В городе явился «толстовец», — первый, которого я встретил, — высокий, жилистый человек, смуглолицый, с черной бородой козла и толстыми губами негра. Сутулясь, он смотрел в землю, но, порою, резким движением вскидывал лысоватую голову и обжигал страстным блеском темных, влажных глаз, — что-то не-

навидящее горело в его остром взгляде. Беседовали в квартире одного из профессоров, было много молодежи и между нею — тоненький, изящный попик, магистр богословия, в черной, шелковой рясе; она очень выгодно оттеняла его бледное, красивое лицо, освещенное сухонькой улыбкой серых, холодных глаз.

Толстовец долго говорил о вечной непоколебимости великих истин Евангелия; голос у него был глуховатый, фразы коротки, но слова звучали резко, в них чувствовалась сила искренней веры, он сопровождал их однообразным, как бы подсекающим жестом волосатой левой руки, а правую держал в кармане.

— Актер, — шептали в углу, рядом со мною.

— Очень театрален, да . . .

А я незадолго перед этим прочитал книгу — кажется Дрепэра — о борьбе католицизма против науки и мне казалось, что это говорит один из тех, яростно верующих во спасение мира силою любви, которые готовы, из милосердия к людям, резать их и жечь на кострах.

Он был одет в белую рубаху с широкими рукавами и какой-то серенький, старый халатик поверх ее, — это тоже отделяло его от всех. В конце проповеди своей он вскричал:

— Итак — со Христом вы или с Дарвином?

Он бросил этот вопрос, точно камень, в угол, где тесно сидела молодежь и откуда на него со страхом и восторгом смотрели глаза юношей и девушек. Речь его видимо очень поразила всех, люди молчали, задумчиво опустив головы. Он обвел всех горящим взглядом и строго добавил:

— Только фарисеи могут пытаться соединить эти два непримиримых начала и соединяя их постыдно лгут сами себе, развращают ложью людей . . .

Встал попик, аккуратно откинул рукава рясы и заговорил плавно, с ядовитой вежливостью и снисходительной усмешкой:

— Вы очевидно, придерживаетесь вульгарного мнения о фарисеях, оно же суть не токмо грубо, но и насквозь ошибочно . . .

К великому изумлению моему он стал доказывать, что фарисеи были подлинными и честными хранителями заветов иудейского народа и что народ всегда шел с ними против его врагов.

— Читайте, например, Иосифа Флавия . . .

Вскочив на ноги и подсекая Флавия широким, уничтожающим жестом, толстовец закричал.

— Народы и ныне идут с врагами своими против друзей, народы не по своей воле идут, их гонят, насилуют. Что мне ваш Флавий?

Попик и другие разодрали основную тему спора на мельчайшие частицы, и она исчезла.

— Истина, это — любовь, — восклицал толстовец, а глаза его сверкали ненавистью и презрением.

Я чувствовал себя опьяненным словами, не улавливал мысли в них, земля подо мною качалась в словесном вихре и, часто, я с отчаянием думал, что нет на земле человека глупее и бездарнее меня.

А толстовец, отирая пот с багрового лица, свирепо закричал:

— Выбросьте Евангелие, забудьте о нем, чтоб не лгать! Распните Христа вторично, это — честнее!

Предо мною стеной встал вопрос: как же? Если жизнь — непрерывная борьба за счастье на земле, — милосердие и любовь должны только мешать успеху борьбы?

Я узнал фамилию толстовца — Клопский, узнал, где он живет и на другой день, вечером явился к нему. Жил он в доме двух девушек помещиц, с ними он и сидел в саду за столом, в тени огромной старой липы. Одетый в белые штаны и такую же рубаху, расстегнутую на темной волосатой груди, длинный, угловатый, сухой, — он очень хорошо отвечал моему представлению о бездомном Апостоле, проповеднике истины.

Он черпал серебряною ложкой из тарелки малину с молоком, вкусно глотал, чмокал толстыми губами и, после каждого глотка, сдувал белые капельки с редких усов кота. Прислуживая ему, одна девушка стояла у стола, другая — прислонилась к стволу липы, сложив руки на груди, мечтательно глядя в пыльное, жаркое небо. Обе они были одеты в легкие платья сиреневого цвета и почти не различимо похожи одна на другую.

Он говорил со мною ласково и охотно о творческой силе любви, о том, что надо развивать в своей душе это чувство, единственно способное «связать человека с духом мира» — с любовью, распыленной повсюду в жизни.

— Только этим можно связать человека! Не любя — невозможно понять жизнь. Те же, которые говорят: закон жизни — борьба, это — слепые души, обреченные на гибель. Огонь непобедим огнем, так и зло непобедимо силою зла!

Но когда девушки ушли, обняв друг друга, в глубину сада, к дому, человек этот, глядя вслед им прищуренными глазами, спросил:

— А ты — кто?

И, выслушав меня, начал, постукивая пальцами по столу, говорить о том, что человек — везде человек и нужно стремиться не к перемене места в жизни, а к воспитанию духа в любви к людям.

— Чем ниже стоит человек, тем ближе он к настоящей правде жизни, к ее святой мудрости . . .

Я несколько усомнился в его знакомстве с этой «святой мудростью», но промолчал, чувствуя, что ему скучно со мной; он посмотрел на меня отталкивающим взглядом, зевнул, закинул руки за шею себе, вытянул ноги и, устало прикрыв глаза, пробормотал; как бы сквозь дрему:

— Покорность любви . . . закон жизни . . .

Вздрогнув, взмахнул руками, хватаясь за что-то в воздухе, уставился на меня испуганно:

— Что? Устал я, прости!

Снова закрыл глаза и, как от боли, крепко сжал зубы, обнажив их; нижняя губа его опустилась, верхняя — приподнялась и синеватые волосы редких усов ощетинились.

Я ушел с неприязненным чувством к нему и смутным сомнением в его искренности.

Через несколько дней я принес рано утром булки знакомому доценту, холостяку, пьянице и еще раз увидал Клопского. Он, должно-быть, не спал ночь, лицо у него было бурое, глаза красны и опухли, — мне показалось, что он пьян. Толстенький доцент, пьяный до слез, сидел, в нижнем белье и с гитарой в руках, на полу среди хаоса сдвинутой мебели, пивных бутылок, сброшенной верхней одежды, сидел раскачиваясь и рычал:

— Милосер-рдия . . .

Клопский резко и сердито кричал:

— Нет милосердия! Мы сгинем от любви или будем раздавлены в борьбе за любовь, — все едино: нам суждена гибель . . .

Схватив меня за плечо, ввел в комнату и сказал доценту:

— Вот — спроси его — чего он хочет? Спроси: нужна ему любовь к людям?

Тот посмотрел на меня слезящимися глазами и засмеялся:

— Это — булочник! Я ему должен.

Покачнулся, сунув руку в карман, вынул ключ и протянул мне:

— На, бери все!

Но толстовец, взяв у него ключ, махнул на меня рукою.

— Ступай! После получишь.

И швырнул булки, взятые у меня, на диван в углу.

Он не узнал меня и это было приятно мне. Уходя, я унес в памяти его слова о гибели от любви и отвращение к нему в сердце.

Скоро мне сказали, что он признался в любви одной из девушек, у которых жил и, в тот же день, — другой. Сестры поделились между собою радостью и она обратилась в злобу против влюбленного; они велели дворнику сказать, чтоб проповедник любви не медля убрался из их дома. Он исчез из города.

Вопрос о значении в жизни людей любви и милосердия — страшный и сложный вопрос — возник предо мною рано, сначала — в форме неопределенного, но острого ощущения разлада в моей душе, затем — в четкой форме определенно ясных слов:

— Какова роль любви?

Все, что я читал было насыщено идеями христианства, гуманизма, воплями о сострадании к людям, — об этом же красноречиво и пламенно говорили лучшие люди, которых я знал в ту пору.

Все, что непосредственно наблюдалось мною, было почти совершенно чуждо сострадания к людям. Жизнь развертывалась предо мною как бесконечная цепь вражды и жестокости, как непрерывная, грязная борьба за обладание пустяками. Лично мне нужны были только книги, все остальное не имело значения в моих глазах.

Стоило выйти на улицу и посидеть час у ворот, чтоб понять, что все эти извозчики, дворники, рабочие, чиновники, купцы — живут не так, как я и люди, излюбленные мною, не того хотят, не туда идут. Те же, кого я уважал, кому верил — странно одиноки, чужды и — лишние среди большинства, в грязненькой и хитрой работе муравьев, кропотливо строющих кучу жизни; эта жизнь казалась мне насквозь глупой, убийственно скучной. И, нередко, я видел, что люди милосердны и любвеобильны только на словах, на деле же незаметно для себя подчиняются общему порядку жизни.

Очень трудно было мне.

Однажды ветеринар Лавров, желтый и опухший от водянки, сказал мне, задыхаясь:

— Жестокость нужно усилить до того, чтоб все люди устали от нее, чтоб она опротивела всем и каждому, как вот эта треклятая осень!

Осень была ранняя, дождлива, холодна, богата болезнями и самоубийствами. Лавров тоже отравился цианистым кали, не желая дожидаться когда его задушит водянка.

— Скотов лечил, — скотом и подох! — проводил труп ветеринара его квартирохозяин, портной Медников, тощенький, благочестивый человечек, знавший на память все акафисты Божией Матери. Он порол детей своих — девочку семи лет и гимназиста одиннадцати, — ременной плеткой о трех хвостах, а жену бил бамбуковой тростью по икрам ног и жаловался:

— Мировой судья осудил меня за то, что я, будто, у китайца перенял эту системочку, а я никогда в жизни китайца не видал кроме, как на вывесках да на картинах.

Один из его рабочих, унылый, кривоногий человек, по прозвищу «Дунькин муж», говорил о своем хозяине:

— Боюсь я кротких людей, которые благочестивые! Буйный человек сразу виден и всегда есть время спрятаться от него, а кроткий ползет на тебя невидимый, подобный коварному змею в траве и вдруг ужалит в самое открытое место души. Боюсь кротких . . .

В словах «Дунькина мужа», — кроткого, хитрого наушника, любимого Медниковым, — была правда.

Иногда мне казалось, что кроткие, разрыхляя как лишаи, каменное сердце жизни делают его более мягким и плодотворным, но чаще, наблюдая обилие кротких, их ловкую приспособляемость к подлому, неуловимую изменчивость и гибкость душ, комариное их нытье, — я чувствовал себя как стреноженная лошадь в туче оводов.

Об этом я и думал, идя от полицейского.

Вздыхал ветер и дрожали огни фонарей, а казалось — дрожит темно-серое небо, засевая землю мелким как пыль, октябрьским дождем. Мокрая проститутка тащила вверх по улице пьяного, держа его под руку, толкая, он что-то бормотал, всхлипывал. Женщина утомленно и глухо сказала:

— Такая твоя судьба . . .

— Вот, — подумал я — и меня кто-то тащит, толкает в неприятные углы, показывая мне грязное, грустное и странно пестрых людей. Устал я от этого.

Может быть не в этих словах было подумано, но именно эта мысль вспыхнула в мозгу, именно в тот печальный вечер я впервые ощутил усталость души, едкую плесень в сердце. С этого часа я стал чувствовать себя хуже, начал смотреть на себя самого как-то со стороны, холодно, чужими и враждебными глазами.

Я видел, что почти в каждом человеке угловато и несложенно совмещаются противоречия не только слова и деяния, но и чувствований, — их капризная игра особенно тяжко угнетала меня. Эту игру я наблюдал и в самом себе, что было еще хуже. Меня тянуло во все стороны — к женщинам и книгам, к рабочим и веселому студенчеству, но я никуда не поспевал и жил «ни в тех, ни в сех», вертясь, точно кубарь, а чья-то невидимая, но сильная рука жарко подхлестывала меня невидимой плеткой.

Узнав, что Яков Шапошников лег в больницу, я пошел навестить его, но там криворотая, толстая женщина в очках и белом платочке, из под которого свисали красные, вареные уши, сухо сказала:

— Помер.

И видя, что я не ухожу, а молча торчу пред нею, — рассердилась, крикнула:

— Ну? Что еще?

Я тоже рассердился и сказал:

— Вы — дура.

— Николай, — гони его! —

Николай вытирал тряпкой какие-то медные прутья, он крякнул и хлестнул меня прутом по спине. Тогда я взял его в охапку, вынес на улицу и посадил в лужу воды у крыльца больницы. Он отнесся к этому спокойно, посидел несколько минут молча, вытаращив на меня глаза, а потом встал, говоря:

— Эх, ты, собака!

Я ушел в Державинский сад, сел там на скамью у памятника поэту, чувствуя острое желание сделать что-нибудь злое, безобразное, чтоб на меня бросилась куча людей и этим дала мне право бить их. Но, не смотря на праздничный день, в саду было

пустынно и вокруг сада — ни души, только ветер метался, гоняя сухие листья, шурша отклеившейся афишей на столбе фонаря.

Прозрачно-синие, холодные сумерки сгущались над садом. Огромный бронзовый идолище возвышался предо мною, я смотрел на него и думал: жил на земле одинокий человек Яков, уничтожал всей силой души Бога и умер обыкновенной смертью. Обыкновенной. В этом было что-то тяжелое, очень обидное.

— А Николай идиот; он должен был драться со мною или позвать полицию и отправить меня в участок . . .

Пошел к Рубцову, он сидел в своей конуре у стола, пред маленькой лампой и чинил пиджак.

— Яков помер.

Старик поднял руку с иглой, видимо желая перекреститься, но только отмахнулся рукою и, зацепив за что-то нитку, тихо матерно выругался.

Потом — заворчал:

— Между прочим — все помрем, такое у нас глупое обыкновение, — да, брат! Он, вот, помер, а тут медник был один, так его тоже — долой со счета. В то воскресенье, с жандармами. Меня с ним Гурка свел. Умный медник! Со студентами несколько путалея. Ты слышал бунтуются студенты — верно? На — ко, зашей пиджак мне, не вижу я ни чорта . . .

Он передал мне свои лохмотья, иглу с ниткой, а сам, заложив руки за спину, стал шагать по комнате, кашляя и ворча:

—То — здесь, то — инде, вспыхнет огонек, а чорт дунет и — опять скука! Несчастливый этот город. Уеду отсюда, пока еще пароходы ходят.

Остановился и почесывая череп спросил:

— А — куда поедешь? Везде бывал. Да. Везде ездил, а только себя из'ездил.

Плюнув, он добавил:

— Ну — и жизнь, сволочь! Жил, жил, а — ничего не нажил, ни душе, ни телу . . .

Он замолчал, стоя в углу у двери, и, как будто, прислушиваясь к чему-то, потом решительно подошел ко мне, присел на край стола:

— Я тебе скажу, Лексей, ты мой, Максимыч, — зря Яков большое сердце свое на Бога истратил. Ни Бог, ни царь лучше не будут, коли я их отрекусь, а надо, чтоб люди сами на себя

рассердились, опровергли бы свою подлую жизнь, — во-от! Эх, стар я, опоздал, скоро совсем слеп стану — горе, брат! Ушил? Спасибо . . . Пойдем в трактир, чай пить . . .

По дороге в трактир, спотыкаясь во тьме, хватая меня за плечи, он бормотал:

— Помяни мое слово: не дотерпят люди, разозлятся когда-нибудь и начнут все крушить — в пыль сокрушат пустяки свои! Не дотерпят . . .

В трактир мы не попали, наткнувшись на осаду матросами публичного дома, — ворота его защищали Алафузовские рабочие.

— Каждый праздник здесь драка! — одобрительно сказал Рубцов, снимая очки, и, опознав среди защитников дома своих товарищей, немедленно ввязался в битву, подзадаривая, науськивая:

— Держись, фабрика! Дави лягушек! Глуши плотву! И — эхма-а!

Странно и забавно было видеть с каким увлечением и ловкостью действовал умный старик, пробиваясь сквозь толпу матросов-речников, отражая их кулаки, сбивая с ног толчками плеча. Дрались беззлобно, весело, ради удальства, от избытка сил; темная куча тел сбилась у ворот прижав к ним фабричных, потрескивали доски, раздавались задорные крики:

— Бей плешивого воеводу!

На крышу дома забрались двое и складно, бойко пели:

— Мы не воры, мы не плуты, не разбойники
Судовые мы ребята, рыболовники!

Свистел полицейский, в темноте блестели медные пуговицы, под ногами хлюпала грязь, а с крыши неслось:

— Мы закидываем сети по сухим берегам
По купеческим домам, по амбарам, по клетям . . .

— Стой! Лежачего не бьют . . .

— Дедушка — держи скулу крепче!

Потом Рубцова, меня и еще человек пять, врагов или друзей повели в участок, и успокоенная тьма осенней ночи провожала нас бойкой песней:

— Эх, мы поймали сорок щук,
Из которых шубы шьют!

— До чего же хорош народ на Волге! — с восхищением говорил Рубцов, часто сморкаясь и сплевывая, и шептал мне: — Ты — беги! Выбери минуту и — беги! Зачем тебе в участок лезть?

Я и какой-то длинный матрос следом за мною, бросились в проулок, перескочили через забор, другой и — с этой ночи я больше не встречал милейшего умницу Никиту Рубцова.

Вокруг меня становилось пусто. Начинались студенческие волнения, — смысл их был не понятен мне, мотивы — не ясны. Я видел веселую суету, не чувствуя в ней драмы, и думал, что ради счастья учиться в университете можно претерпеть даже истязания. Если-б мне предложили:

— Иди, учись, но за это, по воскресеньям, на Николаевской площади мы будем бить тебя палками! — я, наверное, принял бы это условие.

Зайдя в крендельную Семенова, я узнал, что крендельщики собираются идти к университету избивать студентов:

— Гирями будем бить! — говорили они с веселой злобой.

Я стал спорить, ругаться с ними, но вдруг почти с ужасом почувствовал, что у меня нет желания, нет слов защищать студентов.

Помню, я ушел из подвала как изувеченный, с какой-то необоримой, на смерть уничтожающей тоскою в сердце.

Ночью сидел на берегу Кабана, швыряя камни в черную воду, и думал тремя словами, бесконечно повторяя их:

— Что мне делать?

С тоски начал учиться играть на скрипке, пилил по ночам в магазине, смущая ночного сторожа и мышей. Музыку я любил и стал заниматься ею с великим увлечением, но мой учитель, скрипач театрального оркестра, во время урока, — когда я вышел из магазина, — открыл незапертый мною ящик кассы и, возвратясь, я застал его набивающим карманы свои деньгами. Увидав меня в дверях, он вытянул шею, подставил скучное, бритое лицо и тихо сказал:

— Ну — бей!

Губы у него дрожали, из бесцветных глаз катились какие-то масляные слезы, странно крупные.

Мне хотелось ударить скрипача, чтоб не сделать этого, я сел на пол, подложив под себя кулаки и велел ему положить деньги в кассу. Он разгрузил карманы, пошел к двери, но, остановясь, сказал идиотски высоким и страшным голосом:

— Дай десять рублей!

Деньги я ему дал, но учиться на скрипке бросил.

В декабре я решил убить себя. Я пробовал описать мотив этого решения в рассказе «Случай из жизни Макара». Но это не удалось мне, — рассказ вышел неуклюжим, неприятным и лишенным внутренней правды. К его достоинствам следует отнести — как мне кажется — именно то, что в нем совершенно отсутствует эта правда. Факты — правдивы, а освещение их сделано как будто не мною и рассказ идет не обо мне. Если не говорить о литературной ценности рассказа — в нем для меня — есть нечто приятное, — как будто я перешагнул через себя.

Купив на базаре револьвер барабанщика, заряженный четырьмя патронами, я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил легкое, и через месяц, очень сконфуженный, чувствуя себя до нельзя глупым, снова работал в булочной.

Однако — недолго. В конце марта, вечером, придя в магазин из пекарни, я увидал в комнате продавщицы Хохла. Он сидел на стуле у окна, задумчиво покуривая толстую папиросу и смотря внимательно в облака дыма.

— Вы свободны? — спросил он, не здороваясь.

— На двадцать минут.

— Садитесь, поговорим.

Как всегда, он был туго зашит в казакин из «чертовой кожи», на его широкой груди расстилалась светлая борода, над упрямым лбом торчит щетина жестких, коротко остриженных волос, на ногах у него тяжелые, мужицкие сапоги, от них крепко пахнет дегтем.

— Ну — те — с! — заговорил он спокойно и не громко, — не хотите ли вы приехать ко мне? Я живу в селе Красновидове, сорок пять верст вниз по Волге, у меня там лавка, вы будете помогать мне в торговле, это отнимет у вас немного времени, я имею хорошие книги, помогу вам учиться — согласны?

— Да.

— В пятницу приходите в шесть утра к пристани Курбатова, спросите досчаник из Красновидова, — хозяин Василий Панков. Впрочем, — я уже буду там и увижу вас. До свидания!

Встал, протянув мне широкую ладонь, а другой рукой вынул из-за пазухи тяжелую, серебряную луковицу-часы и сказал:

— Кончили в шесть минут! Да — мое имя — Михайло Антонов, а фамилия — Ромась. Так.

Он ушел не оглядываясь, твердо ставя ноги, легко неся тяжелое, богатырски литое тело.

Через два дня я поплыл в Красновидово.

Волга только что вскрылась, сверху, по мутной воде, тянутся покачиваясь, серые, рыхлые льдины, досчаник перегоняет их, и они трутся о борта, поскрипывая, рассыпаясь, от ударов, острыми кристаллами. Играет «верховой» ветер, загоняя на берег волну, ослепительно сверкает солнце, отражаясь ярко-белыми пучками от синевато-стеклянных боков льдин. Досчаник, тяжело нагруженный бочками, мешками, ящиками, идет под парусом, — на руле молодой мужик Панков, щеголевато одетый в пиджак дубленой овчины, вышитый на груди разноцветным шнурком.

Лицо у него — спокойное, глаза холодные, он молчалив и мало похож на мужика. На носу досчаника, растопырив ноги, стоит с багром в руках батрак Панкова, Кукушкин, растрепанный мужиченко в рваном армяке, подпоясанном веревкой, в измятой поповской шляпе, лицо у него в синяках и ссадинах. Расталкивая льдины длинным багром, он презрительно ругается:

— Сторонись . . . Куда лезешь . . .

Я сижу рядом с Ромасем под парусом на ящиках, он тихо говорит мне:

— Мужики меня не любят, особенно — богатые! Нелюбовь эту придется и вам испытать на себе.

Кукушкин, положил багор поперек бортов, под ноги себе, говорит с восхищением, обратив к нам изувеченное лицо:

— Особо тебя, Антоныч, поп не любит . . .

— Это верно, — подтверждает Панков.

— Ты ему, псу рябому, кость в горле!

— Но есть и друзья у меня, — будут и у вас, — слышу я голос Хохла.

Холодно. Мартовское солнце еще плохо греет. На берегу качаются темные ветви голых деревьев, кое-где в щелях и под кустами горного берега лежит снег кусками бархата. Всюду на реке — льдины, точно пасется стадо овец. Я чувствую себя как во сне.

Кукушкин, затискивая в трубку табак, философствует.

— Положим, ты попу не жена, однако, по должности своей, он обязался любить всякую тварь, как написано в книгах.

— Кто это тебя избил? — спрашивает Ромась, усмехаясь.

— Так, какие-то темных должностей люди, наверно — жулики — презрительно говорит Кукушкин. И — с гордостью:

— Нет, меня, однова, антиллеристы били, — это — действительно. Даже и понять нельзя — как я жив остался.

— За что били? — спрашивает Панков.

— Вчера? Али — антиллеристы?

— Ну — вчера?

— Да — разве можно понять за что бьют? Народ у нас вроде козла, чуть что — сейчас и бодается! Должностью своей считают это — драку!

— Я думаю — говорит Ромась — за язык бьют тебя, говоришь ты неосторожно . . .

— Пожалуй, так! Человек я любопытного характера, навык обо всем спрашивать. Для меня — радость, коли новенькое что услышу.

Нос досчаника сильно ткнулся о льдину, по борту злобно шаркнуло, Кукушкин, покачнувшись, схватил багор, Панков, с упреком говорит.

— А ты гляди на дело, Степан!

— А ты меня не разговаривай! — отпихивая льдины, бормочет Кукушкин. — Не могу я за один раз и должность мою исполнять, и беседу вести с тобой . . .

Они беззлобно спорят, а Ромась говорит мне.

— Земля здесь хуже чем у нас, на Украине, а люди — лучше. Очень способный народ!

Я слушаю его внимательно и верю ему. Мне нравится его спокойствие и ровная речь, простая, веская. Чувствуется, что этот человек знает много и что у него есть своя мера людей. Мне особенно приятно, что он не спрашивает — почему я стрелялся? Всякий другой, на его месте, давно бы уже спросил, а мне так надоел этот вопрос. И — трудно ответить. Чорт знает, почему я решил убить себя. Хохлу я, наверное, отвечал бы длинно и глупо. Да мне и вообще не хочется вспоминать об этом, — на Волге так хорошо, свободно, светло.

Досчаник плывет под берегом, влево широко размахнулась река, вторгаясь на песчаный берег луговой стороны. Видишь,

как прибывает вода, заплескивая и качая прибрежные кусты, а встречу ей по ложбинам и щелям земли, шумно катятся светлые потоки вешних вод. Улыбается солнце, желтоносые грачи блестят в его лучах черной сталью оперения, хлопотливо каркают, строя гнезда. На припеке трогательно пробивается из земли к солнцу ярко зеленая щетинка травы. Телу — холодно, а в душе — тихая радость и тоже возникают нежные ростки светлых надежд. Очень уютно весною на земле.

К полудню доплыли до Красновидова; на высокой, круто срезанной горе, стоит голубоглавая церковь, от нее, гуськом, тянутся по краю горы, хорошие крепкие избы, блестя желтым тесом крыш и парчевыми покровами соломы. Просто и красиво.

Сколько раз любовался я этим селом, проезжая мимо его на пароходах.

Когда, вместе с Кукушкиным, я начал разгружать досчаник, Ромась, подавая мне с борта мешки, сказал:

— Однако, — сила у вас есть!

И, не глядя на меня, спросил:

— А грудь — не болит?

— Ни мало.

Я был очень тронут деликатностью его вопроса, — мне особенно не хотелось, чтоб мужики знали о моей попытке убить себя.

— Силенка, — имеется, можно сказать — свыше должности, — болтал Кукушкин. — Какой губернии, молодчик? Нижегородской? Водо-хлебами дразнят вас. А еще — «Чай, примечай, отколе чайки летят» — это тоже про вас сложено.

С горы, по с'езду, по размякшей глине, среди множества серебром сверкающих ручьев, широко шагал, скользя и покачиваясь, длинный, сухощавый мужик, босый, в одной рубахе и портах, с курчавой бородою, в густой шапке рыжеватых волос.

Подойдя к берегу он сказал звучно и ласково:

— С приездом.

Оглянулся, поднял толстую жердь, другую, положил их концами на борта и, легко прыгнув в досчаник, скомандовал:

— Упрись ногами в концы жердей, чтоб не с'ехали с борта, и принимай бочки. Парень, иди сюда, помогай.

Он был картинно красив и, видимо, очень силен. На румяном лице его, с прямым, большим носом, строго сияли голубоватые глаза.

— Простудишься, Изот, — сказал Ромась.

— Я — то? Не бойся.

Выкатили бочку керосина на берег, Изот, смерив меня глазами, спросил:

— Приказчик?

— Поборись с ним — предложил Кукушкин.

— А тебе опять рожу испортили?

— Что с ними сделаешь?

— С кем это?

— А — которые бьют . . .

— Эх, ты! — сказал Изот, вздохнув, и обратился к Ромасю. — Телеги сейчас спустятся. Я вас издали увидал, — плывут. Хорошо плыли. Ты — иди, Антоныч, я послежу тут.

Было видно, что человек этот относился к Ромасю дружески и заботливо, даже — покровительственно, хотя Ромась был старше его лет на десять.

Через полчаса я сидел в чистой и уютной комнате новенькой избы, стены ее еще не утратили запаха смолы и пакли. Бойкая, остроглазая баба накрывала стол для обеда, Хохол выбирал книги из чемодана, ставя их на полку у печки.

— Ваша комната на чердаке, — сказал он.

Из окна чердака видна часть села, овраг против нашей избы, в нем — крыши бань, среди кустов. За оврагом — сады и черные поля; мягкими увалами они уходили к синему гребню леса, на горизонте. Верхом на коньке крыши бани сидел синий мужик держа в руке топор, а другую руку прислонил ко лбу, глядя на Волгу, вниз. Скрипела телега, надсадно мычала корова, шумели ручьи. Из ворот избы вышла старуха, вся в черном, и оборотясь к воротам сказала крепко:

— Издохнуть бы вам!

Двое мальчишек, деловито заграждавшие путь ручью камнями и грязью, услыхав голос старухи, стремглав бросились прочь от нее, а она, подняв с земли щепку, плюнула на нее и бросила в ручей. Потом, ногою в мужицком сапоге, разрушила постройку детей и пошла вниз, к реке.

Как то я буду жить здесь?

Позвали обедать. Внизу, за столом сидел Изот, вытянув длинные ноги с багровыми ступнями, и что-то говорил, но — замолчал, увидя меня.

— Чтож ты? — хмуро спросил Ромась. Говори.

— Да, уж и нечего, все сказал. Значит — так решили: сами дескать управимся. Ты ходи с пистолетом, а то — с палкой потолще. При Баринове — не все говорить можно, у него, да у Кукушкина — языки бабьи. Ты, парень, рыбу ловить любишь?

— Нет.

Ромась заговорил о необходимости организовать мужиков, мелких садовладельцев, вырвать их из рук скупщиков. — Изот внимательно выслушал его, сказал:

— Окончательно мироеды житья не дадут тебе.

— Увидим.

— Да, уж — так!

Я смотрел на Изота и думал:

— Наверное, — вот с таких мужиков пишут рассказы Каронин и Златовратский . . .

Неужели удалось мне подойти к чему-то серьезному, и теперь я буду работать с людьми настоящего дела?

Изот, пообедав, говорил:

— Ты, Михайло Антонов, не торопись, хорошо — скоро не бывает. Легонько надо!

Когда он ушел, Ромась сказал задумчиво:

— Умный человек, честный. Жаль — малограмотен, едва читает. Но — упрямо учится. Вот, — помогите ему в этом!

Вплоть до вечера, он знакомил меня с ценами товаров в лавке, рассказывая:

— Я продаю дешевле, чем двое других лавочников села, конечно — это им не нравится. Делают мне пакости, собираются избить. Живу я здесь не потому, что мне приятно или выгодно торговать а — по другим причинам. Это — затея вроде вашей булочной . . .

Я сказал, что догадываюсь об этом.

— Ну, да . . . Надо же учить людей уму-разуму — так?

Лавка была заперта, мы ходили по ней с лампою в руках и на улице кто-то тоже ходил, осторожно шлепая по грязи, иногда тяжко влезая на ступени крыльца.

— Вот — слышите? — ходит! Это — бобыль, Мигун злое животное, он любит делать зло, точно красивая девка кокетничать. Вы будьте осторожны в словах с ним да и — вообще . . .

Потом, в комнате, закурив трубку, прислонясь широкой спиною к печке и прищурив глаза, он пускал струйки дыма в бороду себе и, медленно составляя слова в простую, ясную речь, говорил, что давно уже заметил, как бесполезно трачу я годы юности.

— Вы человек способный, по природе — упрямый и, видимо, с хорошими желаниями. Вам надо учиться, да — так, чтоб книга не закрывала людей. Один сектант, старичек, очень верно сказал: «всякое научение — от человека исходит». Люди учат больнее, — грубо они учат — но, наука их крепче в'едается.

Говорил он знакомое мне, о том, что, прежде всего, надо будить разум деревни. Но и в знакомых словах я улавливал более глубокий, новый для меня смысл.

— Там, у вас, студенты много балакают о любви к народу, так я говорю им на это: народ любить нельзя. Это — слова, любовь к народу . . .

Усмехнулся в бороду, пытливо глядя на меня, и начал шагать по комнате, продолжая крепко внушительно.

— Любить — значит: соглашаться, снисходить, не замечать, прощать. С этим нужно идти к женщине. А — разве можно не замечать невежества народа, соглашаться с заблуждениями его ума, снисходить ко всякой его подлости, прощать ему зверство? Нет?

— Нет.

— Вот, видите! У вас, там, все Некрасова читают и поют, ну, знаете, с Некрасовым далеко не уедешь! Мужику надо внушать — ты, брат, хоть и не плох человек сам по себе, а живешь плохо и ничего не умеешь делать, чтоб жизнь твоя стала легче, лучше. Зверь, пожалуй, разумнее заботится о себе, чем ты, зверь защищает себя лучше. А из тебя, мужика, разрослось все, — дворянство, духовенство, ученые, цари, все это бывшие мужики. Видишь? Понял? Ну — учись жить, чтоб тебя не мордовали . . .

Уйдя в кухню, он велел кухарке вскипятить самовар, а потом стал показывать мне свои книги, — почти все научного характера: Бокль, Ляйэль, Гартпуль, Лекки, Леббок, Тэйлор, Милль, Спенсер, Дарвин, а из русских – Писарев, Добролюбов, Чернышевский, Пушкин, «Фрегат Паллада» Гончарова, Некрасов.

Он гладил их широкой ладонью, ласково, точно котят, и ворчал почти умиленно:

— Хорошие книги! А — это — редчайшая: ее сожгла цензура. Хотите знать, что есть государство — читайте эту!

Он подал мне книгу Гоббса «Левиафан».

— Эта — тоже о государстве, но легче, веселее!

Веселая книга оказалась «Государем» Макиавели.

За чаем он кратко рассказал о себе: сын черниговского кузнеца, он был смазчиком поездов на станции Киев, познакомился там с революционерами, организовал кружок самообразования рабочих, его арестовали, года два он сидел в тюрьме, а потом — сослали в Якутскую область на десять лет.

— В начале — жил там с якутами, в улусе, думал — пропаду. Зима там, черт побери, такая, знаете, что в человеке застывает мозг. Да и лишний разум там. Потом, вижу: то — здесь, то — тут торчит русский, натыкано их не густо, а, всетаки, — есть! И, чтоб не скучали, новых к ним заботливо добавляют. Хорошие люди были. Был студент Владимир Короленко, — он теперь тоже воротился. Я с ним хорошо жил, потом — разошлись. Мы оказались во многом похожи один на другого, а на сходстве дружба не ладится. Но это серьезный, упрямый человек, способен ко всякой работе. Даже иконы писал, это мне не нравилось. Теперь, говорят, хорошо пишет в журналах.

Долго, до полуночи беседовал он, видимо желая сразу прочно поставить меня рядом с собою. Впервые мне было так серьезно хорошо с человеком. После попытки самоубийства, мое отношение к себе сильно понизилось, я чувствовал себя ничтожным, виноватым пред кем-то и мне было стыдно жить. Ромась должно быть понимал это и человечно, просто открыв предо мною дверь в свою жизнь, — выпрямил меня. Незабвенный день.

В воскресенье мы открыли лавку после обедни и тотчас же к нашему крыльцу стали собираться мужики. Первым явился Матвей Баринов, грязный, растрепанный человек, с длинными руками обезьяны и рассеянным взглядом красивых, бабьих глаз.

— Что слышно в городе? — спросил он, поздоровавшись и, не ожидая ответа, закричал встречу Кукушкину:

— Степан! Твои кошки опять петуха сожрали!

И тотчас рассказал, что губернатор поехал из Казани в Петербург к царю хлопотать, чтоб всех татар выселили на Кавказ и в Туркестан. Похвалил губернатора:

— Умный! Понимает свое дело . . .

— Ты сам выдумал все это, — спокойно заметил Ромась.

— Я? Когда?

— Не знаю . . .

— До чего ты мало веришь людям, Антоныч, — сказал Баринов, с упреком, сожалительно качая головою. — А я — жалею татар. Кавказ требует привычки.

Осторожно подошел маленький, сухощавый человек, в рваной поддевке с чужого плеча, серое лицо его искажала судорога, раздергивая темные губы в болезненную улыбку; острый, левый глаз непрерывно мигал, над ним вздрагивала седая бровь разорванная шрамами.

— Почет Мигуну! — насмешливо сказал Баринов. — Чего ночью украл?

— Твои деньги, — звучным тенором ответил Мигун, сняв шапку пред Ромасем.

Вышел со двора хозяин нашей избы и сосед наш Панков, в пиджаке, с красным платочком на шее, в резиновых галошах и с длинной, как возжи, серебряной цепочкой на груди. Он смерил Мигуна сердитым взглядом:

— Если ты, старый чорт, будешь в огород ко мне лазить, я тебя — колом по ногам!

— Начинается обыкновенный разговор, — спокойно заметил Мигун и вздыхая, добавил: — Как жить, коли, — не бить?

Панков стал ругать его, а он прибавил:

— Какой же старый я? Сорок шесть годов . . .

— А на святках тебе пятьдесят три было, — вскричал Баринов. — Сам говорил — пятьдесят три! Зачем врешь?

Пришел солидный, бородатый старик Суслов[1]) и рыбак Изот, так собралось человек десять. Хохол сидел на крыльце, у двери лавки, покуривая трубку, молча слушая беседу мужиков; они уселись на ступенях крыльца и на лавочках, по обе стороны его.

День был холодный, пестрый, по синему, вымороженному зимою небу, быстро плыли облака, пятна света и теней купались в ручьях и лужах, то ослепляя глаза ярким блеском, то лаская взгляд бархатной мягкостью. Нарядно одетые девицы павами плыли вниз по улице, к Волге, шагали через лужи, поднимая

[1]) Плохо помню фамилии мужиков и, вероятно, перепутал или исказил их.

подолы юбок и показывая чугунные башмаки. Бежали мальчишки с длинными удилищами на плечах, шли солидные мужики, искоса оглядывая группу у нашей лавки, молча приподнимая картузы и войлочные шляпы.

Мигун с Кукушкиным миролюбиво разбирались в неясном вопросе — кто больнее дерется: купец или барин? Кукушкин доказывал — купец, Мигун защищал помещика, и его звучный тенорок одолевал растрепанную речь Кукушкина.

— Господина Фингерова папаша Наполеон Бонапарта за бороду драл. А господин Фингеров, бывало, ухватит двоих за овчину на затылках, разведет ручки свои да и треснет лбами — готово! Оба лежат недвижимы.

— Эдак — ляжешь! — согласился Кукушкин, но добавил: — Ну, зато купец ест больше барина . . .

Благообразный Суслов, сидя на верхней ступени крыльца, жаловался:

— Не крепок становится мужик на земле, Михайло Антонов! При господах не дозволялось зря жить, каждый человек был к делу прикреплен . . .

— А ты подай прошение, чтобы крепостное право опять завели, — ответил ему Изот. Ромась молча взглянул на него и стал выколачивать трубку о перилы крыльца.

Я ждал: когда — же он заговорит? И внимательно слушая несвязанную беседу мужиков, пытался представить — что, именно, скажет Хохол? Мне казалось, что он уже пропустил целый ряд удобных моментов вмешаться в беседу мужиков. Но он равнодушно молчал и сидел идольски неподвижно, следя как ветер морщит воду в лужах и гонит облака, стискивая их в густо-серую тучу. На реке гудел пароход, снизу возносилась визгливая песня девиц, подыгрывала гармоника. Икая и рыча вниз по улице шагал пьяный, размахивая руками, ноги его неестественно сгибались, попадая в лужи. Мужики говорили все медленно, уныние звучало в их словах, и меня тоже тихонько трогала печаль, потому что холодное небо грозило дождем, и вспоминался мне непрерывный шум города, разнообразие его звуков, быстрое мелькание людей на улицах, бойкость их речи, обилие слов, раздражающих ум.

Вечером, за чаем, я спросил Хохла: — когда же он говорит с мужиками?

— О чем?

— Ага, — сказал он, внимательно выслушав меня — ну, знаете, если бы я говорил с ними об этом, да еще на улице, — меня бы снова отправили к якутам . . .

Он натискал табака в трубку, раскурил ее, сразу окутался дымом и, спокойно, памятно заговорил о том, что мужик — человек осторожный, недоверчивый. Он — сам себя боится, соседа боится, а особенно — всякого чужого. Еще не прошло тридцати лет, как ему дали волю, каждый сорокалетний крестьянин родился рабом и помнит это. Что такое воля — трудно понять. Рассуждая просто — воля, это значит: живу, как хочу. Но — везде начальство и все мешают жить. У помещиков отнял крестьянство царь, стало быть, теперь царь единый господин надо всем крестьянством. И снова: а, что ж такое воля? Вдруг придет день, когда царь об'яснит, что она значит. Мужик очень верит в царя единого, господина всей земли и всех богатств. Он отнял крестьян у помещиков, — может отнять пароходы и лавки у купцов. Мужик — царист, он понимает: много господ — плохо, один — лучше. Он ждет, что наступит день, когда царь об'явит ему смысл воли. Тогда — хватай кто что может. Этого дня все хотят и каждый — боится, каждый живет на стороже внутри себя: не прозевать бы решительный день всеобщей дележки. И — сам себя боится: хочет много и есть что взять, а — как возьмешь? Все точат зубы на одно и то же. К тому же везде — неисчислимое количество начальства, явно враждебного мужику, да и царю. Но — и без начальства нельзя, все передерутся, перебьют друг друга.

Ветер сердито плескал в стекла окон обильным вешним дождем. Серая мгла изливалась по улице; — в душе у меня тоже стало серовато и скучно. Спокойный, не громкий голос раздумчиво говорил:

— Внушайте мужику, чтобы он постепенно научался отбирать у царя власть в свои руки, говорите ему, что народ должен иметь право выбирать начальство из своей среды и станового, и губернатора, и царя . . .

— Это — на сто лет!

— А вы думали все сделать к Троицыну дню? — серьезно спросил Хохол.

Вечером он ушел куда-то, а часов в одиннадцать, я услышал

на улице выстрел, — он хлопнул где-то близко. Выскочив во тьму, под дождь, я увидал, что Михаил Антонович идет к воротам, обходя потоки воды не торопливо и тщательно, большой, черный.

— Вы — что? Это я выпалил . . .

— В кого?

— А, тут, какие-то, с кольями наскочили на меня. Я говорю — отстаньте, стрелять буду, — не слушают. Ну, тогда я выстрелил в небо, — ему не повредишь . . .

Он стоял в сенях, раздеваясь, отжимая рукой мокрую бороду и фыркал, как лошадь.

— А сапоги чортовы, оказывается, худые у меня! Надо переобуться. Вы умеете револьвер чистить? Пожалуйста, а то заржавеет. Смажьте керосином . . .

Восхищало меня его непоколебимое спокойствие, тихое упрямство взгляда его серых глаз. В комнате, расчесывая бороду перед зеркалом, он предупредил меня:

— Вы ходите по селу осторожней, особенно — в праздники, вечерами, вас, наверное, тоже захотят бить. Но палку с собой не носите, это раздражает драчунов, и может внушить им мысль, что вы — боитесь. А бояться — не надо! Они сами народ трусоватый . . .

Я начал жить очень хорошо, каждый день приносил мне новое и важное. С жадностью стал читать книги по естествознанию, Ромась учил меня:

— Это, Максимыч, прежде всего и всего лучше надо знать, в эту науку вложен лучший разум человечий.

Вечерами, трижды в неделю, приходил Изот, я учил его грамоте. Сначала он отнесся ко мне недоверчиво, с легонькой усмешкой, но после нескольких уроков добродушно сказал:

— Хорошо об'ясняешь! Тебе бы, парень, учителем быть . . .

И — вдруг предложил:

— Ты, будто, сильный, ну-ка, давай на палке потянемся?

Взяли из кухни палку, сели на пол и упершись друг другу ступнями в ступни ног, долго старались поднять друг друга с пола, а Хохол, ухмыляясь, подзадоривал нас:

— А — ну? Уть!

Изот, поднял меня и это, кажется, еще более расположило его в мою пользу.

— Ничего, ты — здоров! — утешил он меня. — Жаль, рыбу не любишь ловить, а то ходил бы со мною на Волгу. Ночью, на Волге — царствие небесное!

Учился он усердно, довольно успешно и — очень хорошо удивлялся; бывало, во время урока, вдруг встанет, возьмет с полки книгу, высоко подняв брови, с натугой прочитает две, три строки и, покраснев, смотрит на меня, изумленно говоря:

— Читаю, ведь, мать его курицу!

И повторяет, закрыв глаза:

— Словно, как мать над сыновной могилой
Стонет кулик над равниной унылой . . .

— Видал?

Несколько раз он, вполголоса, осторожно спрашивал:

— Об'ясни ты мне, брат, как же это выходит, все-таки? Глядит человек на эти черточки, а они складываются в слова и я знаю их — слова живые, наши! Как я это знаю? Никто мне их не шепчет. Ежели бы это картинки были, ну, тогда понятно. А здесь как будто, самые мысли напечатаны, — как это?

Что я мог ответить ему? И мое «не знаю» огорчало человека.

— Колдовство! — говорил он, вздыхая и рассматривал страницы книги на свет.

Была в нем приятная и трогательная наивность, что-то прозрачное, детское; он все более напоминал мне славного мужика из тех, о которых пишут в книжках. Как почти все рыбаки, он был поэт, любил Волгу, тихие ночи, одиночество, созерцательную жизнь.

Смотрел на звезды и спрашивал:

— Хохол говорит, — и там, может, кое-какие жители есть, вроде нашем, как думаешь, верно это? Знак бы им подать, спросить — как живут? Поди-ка — лучше нас, веселее . . .

В сущности — он был доволен своей жизнью, он сирота, бобыль и ни от кого не зависим в своем тихом, любимом деле рыбака. Но к мужикам относился неприязненно и предупреждал меня:

— Ты не гляди, что они ласковы, это — хитряга народ, фальшивый, ты им не верь! Сейчас они с тобою — так, а завтра — иначе. Каждому только сам он виден, а общественное дело — каторгой считают.

И с ненавистью, странной в человеке такой мягкой души, он говорил о «мироедах»:

— Они — почему богаче других? Потому что — умнее. Так ты, сволочь, помни, если умный: крестьянство должно жить стадом, дружно, тогда оно — сила! А они расщепляют деревню, как полено на лучину, ведь, вот что! Сами себе враги. Это — злодейский народ. Вот как Хохол мается с ними . . .

Красивый, сильный он очень нравился женщинам, и они одолевали его.

— Конечно, в этом я избалован — добродушно каялся он. — Для мужьев — обидно это, я сам бы обижался на ихом месте. Однако, баб нельзя не пожалеть, баба, она вроде, как вторая твоя душа. Живет она — без праздников, без ласки; работает, как лошадь, и больше ничего. Мужьям любить некогда, а я — свободный человек. Многих, в первый же год после свадьбы, мужья кулаками кормят. Да, я в этом — грешен, балуюсь с ними. Об одном прошу: вы, бабы, только не сердитесь друг на друга, — меня хватит на всех! Не завидуйте одна другой, все вы мне одинаковы, всех жалею . . .

И, конфузливо усмехаясь в бороду, он рассказал:

— Я, даже, чуть чуть с барыней одной не пошалил, — на дачу приехала из города, барыня. Красавица, белая, как молоко, а волосья — лен. И глазенки синеваты, добрые. Я ей рыбу продавал, и все, бывало, гляжу на нее. Ты — что? спрашивает. Сами знаете, — говорю. Ну, хорошо, — говорит, — я к тебе ночью приду, жди! И — верно! — Пришла. Только — комаров она стеснялась, закусали ее комары, ну, и не вышло у нас ничего. Не могу, говорит, кусают очень, а сама чуть не плачет. Через сутки к ней муж прибыл, судья какой-то. Да, вот они какие, барыни-то, — с грустью и упреком кончил он. — Комары им жить мешают . . .

Изот очень хвалил Кукушкина:

— Вот, приглядись к мужику, — хорошей души этот! Не любят его ну, — напрасно! Болтун, конечно, так ведь — у всякого скота своя пестрота.

Кукушкин был безземелен, женат на пьяной бабе батрачке, маленькой, но очень ловкой, сильной и злой. Избу свою он сдал кузнецу, а сам жил в бане, работая у Панкова. Он очень любил новости, а когда их не было — сам выдумывал разные истории, нанизывая их всегда на одну нить.

— Михайло Антонов — слыхал ты? Тиньковский урядник в монахи идет, от своей должности, не желаю, бает, мужиков мордовать, — шабаш!

Хохол серьезно говорил:

— Вот так все начальство и разбежится от вас.

Вытаскивая из нечесанных, русых волос на голове, соломинки, сено, куриный пух, Кукушкин соображает:

— Все — не убегут, а которые совесть имеют — им, конечно, тяжко на своих должностях. Не веришь ты, Антоныч, в совесть, вижу я. А, ведь, без совести и при большом уме не проживешь. Вот, послушай, случай . . .

И рассказывает о какой-то «умнейшей» помещице:

— Такая злодейка была, что даже губернатор, не взирая на высокую свою должность, в гости к ней приехал: сударыня, говорит, будьте осторожнее, на всякий случай, слухи, говорит, о вашей подлости злодейской, даже в Петербург достигли! Она, конечно, наливкой угостила его, а сама говорит: поезжайте с Богом, не могу я переломить характер мой! Прошло три года с месяцем и вдруг она собирает мужиков: — вот, говорит, вам вся моя земля и прощайте, и простите меня, а я . . .

— В монастырь, — подсказывает Хохол.

Кукушкин, внимательно глядя на него, подтверждает:

— Верно, в игуменьи! Значит — и ты слыхал про нее?

— Никогда не слыхал.

— А — откуда же знаешь?

— Я — тебя знаю.

Фантазер бормочет, покачивая головой:

— До чего ты не верующий людям . . .

И так — всегда: плохие, злые люди его рассказов устают делать зло и «пропадают без вести», но чаще, Кукушкин отправляет их в монастыри, как мусор на «свалку».

У него являются неожиданные и странные мысли, — он вдруг нахмурится и заявляет:

— Напрасно мы татар победили, — татары лучше нас! — А о татарах никто не говорил, говорили, в это время, об организации артели садовладельцев.

Ромась рассказывает о Сибири, о богатом сибирском крестьянине, но вдруг Кукушкин задумчиво бормочет:

— Если селедку года два, три не ловить, она может до того

разродиться, что море выступит из берегов и будет потоп людям. Замечательно плодущая рыба!

Село считает Кукушкина пустым человеком, а рассказы и странные мысли его раздражают мужиков, вызывая у них ругань и насмешки, но слушают они его всегда с интересом, внимательно, как бы ожидая встретить правду среди его выдумок.

— Пустобрех, — зовут его солидные люди и только щеголь Панков говорит серьезно:

— Степан, — человек с загадкой . . .

Кукушкин очень способный работник, он бондарь, печник, знает пчел, учит баб разводить птицу, ловко плотничает и все ему удается, хотя работает он копотливо, не охотно. Любит кошек, у него в бане штук десять сытых зверей и зверят, он кормит их воронами, галками и, приучив кошек есть птицу, усилил этим отрицательное отношение к себе: его кошки душат цыплят, кур, а бабы охотятся за зверьем Степана, нещадно избивают их. У бани Кукушкина часто слышен яростный визг огорченных хозяек, но это не смущает его:

— Дуры, кошка — охотничий зверь, она ловчее собаки. Вот я их приучу к охоте на птицу, разведем сотни кошек — продавать будем, доход вам, дурехи!

Он знал грамоту, но — забыл, а вспомнить — не хочет. Умный по природе своей, он быстрее всех схватывает существенное в рассказах Хохла.

— Так, так, — говорит он, жмурясь, как ребенок, глотающий горькое лекарство: — значит — Иван-то Грозный мелкому народу не вреден был . . .

Он, Изот и Панков приходят к нам вечерами и, нередко, сидят до полуночи, слушая рассказы Хохла о строении мира, о жизни иностранных государств, о революционных судорогах народов. Панкову нравится французская революция:

— Вот это — настоящий поворот жизни, — одобряет он.

Он два года тому назад отделился от отца, богатого мужика с огромным зобом и страшно вытаращенными глазами, взял — «по любви» — замуж сироту племянницу Изота, держит ее строго, но одевает в городское платье. Отец проклял его за строптивость и проходя мимо новенькой избы сына, ожесточенно плюет на нее. Панков сдал Ромасю в аренду избу и пристроил к ней лавку против желания богатеев села, и они ненавидят его за

это, он же относится к ним внешне равнодушно, говорит о них пренебрежительно, а с ними — грубо и насмешливо. Деревенская жизнь тяготит его:

— Знай я ремесло — жил бы в городе . . .

Складный, всегда чисто одетый, он держится солидно, и очень самолюбив; ум его осторожен, не доверчив.

— Ты от сердца, али по расчету за такое дело взялся? — спрашивает он Ромася.

— А — как думаешь?

— Нет — ты скажи.

— По твоему — как лучше?

— Не знаю! А — по твоему?

Хохол упрям и в конце концов заставляет мужика высказаться.

— Лучше — от ума, конечно! Ум без пользы не живет, а где польза — там дело прочное. Сердце — плохой советчик нам. По сердцу, я бы такого наделал — беда! Попа обязательно поджег бы, — не суйся, куда не надо!

Поп, злой старичек, с мордочкой крота, очень насолил Панкову, вмешавшись в его ссору с отцом.

Сначала Панков относился ко мне неприязненно и почти враждебно, даже хозяйски покрикивал на меня, но скоро это исчезло у него, хотя я чувствовал, осталось скрытое недоверие ко мне, да и мне Панков был неприятен.

Очень памятны мне вечера в маленькой, чистой комнатке с бревенчатыми стенами. Окна плотно закрыты ставнями, на столе, в углу, горит лампа, перед нею крутолобый, гладко остриженный человек с большой бородою, он говорит:

— Суть жизни в том, чтобы человек все дальше отходил от скота . . .

Трое мужиков слушают внимательно, у всех хорошие глаза, умные лица. Изот сидит всегда неподвижно, как бы прислушиваясь к чему-то отдаленному, что слышит только он один. Кукушкин вертится, точно его комары кусают, а Панков, пощипывая светлые усики, соображает тихо:

— Значит, — все-таки была нужда народу разбиться на сословия.

Мне очень нравится, что Панков никогда не говорит грубо с Кукушкиным, батраком своим, и внимательно слушает забавные выдумки мечтателя.

Кончится беседа, — я иду к себе, на чердак, и сижу там, у открытого окна, глядя на уснувшее село и в поля, где непоколебимо властвует молчание. Ночная мгла пронизана блеском звезд, тем более близких земле, чем дальше они от меня. Безмолвие внушительно сжимает сердце, а мысль растекается в безграничии пространства, и я вижу тысячи деревень, так же молча прижавшихся к плоской земле, как притиснуто к ней наше село. Неподвижность, тишина.

Мглистая пустота, тепло обняв меня, присасывается тысячами невидимых пиявок к душе моей, и, постепенно, я чувствую сонную слабость, смутная тревога волнует меня. Мал и ничтожен я на земле . . .

Жизнь села встает предо мною безрадостно. Я многократно слышал и читал, что в деревне люди живут более здорово, и сердечно, чем в городе. Но — я вижу мужиков в непрерывном, каторжном труде, среди них много нездоровых, надорвавшихся в работе и почти совсем нет веселых людей. Мастеровые и рабочие города, работая не меньше, живут веселее и не так нудно, надоедливо жалуются на жизнь, как эти угрюмые люди. Жизнь крестьянина не кажется мне простой, она требует напряженного внимания к земле и много чуткой хитрости в отношении к людям. И не сердечна эта, бедная разумом, жизнь, заметно, что все люди села живут ощупью, как слепые, все чего-то боятся, не верят друг другу, что-то волчье есть в них.

Мне трудно понять, за что они так упрямо не любят Хохла, Панкова и всех «наших», — людей, которые хотят жить разумно.

Я отчетливо вижу преимущества города, его жажду счастья, дерзкую пытливость разума, разнообразие его целей и задач. И всегда, в такие ночи, мне вспоминаются двое горожан:

«Ф. Калугин и З. Небей».

«Часовых дел мастера, а также принимают в починку разные аппараты, хирургические инструменты, швейные машины, музыкальные ящики всех систем и прочее.»

Эта вывеска помещается над узенькой дверью маленького магазина, по сторонам двери пыльные окна, у одного сидит Ф. Калугин, лысый, с шишкой на желтом черепе и с лупой в глазу; круглолицый, плотный, он почти непрерывно улыбается, ковыряя тонкими щипчиками в механизме часов или что-то распевает, открыв круглый рот, спрятанный под седою щеткой усов.

У другого окна — З. Небей, курчавый, черный, с большим, кривым носом, с большими, как сливы, глазами и остренькой бородкой; сухой, тощий, он похож на дьявола. Он тоже разбирает и слаживает какие-то тоненькие штучки и, порою, неожиданно кричит басом:

— Тра — та — там, там, там!

За спинами у них хаотически нагромождены ящики, машины, какие-то колеса, аристоны, глобусы, всюду на полках металлические вещи разных форм и множество часов качают маятниками на стенах. Я готов целый день смотреть, как работают эти люди, но мое длинное тело закрывает им свет, они строят мне страшные рожи, машут руками — гонят прочь. Уходя, я с завистью думаю:

— Какое счастье уметь все делать!

Уважаю этих людей и верю, что они знают тайны всех машин, инструментов и могут починить все на свете. Это — люди!

А деревня не нравится мне, мужики — не понятны. Бабы особенно часто жалуются на болезни, у них что-то «подкатывает к сердцу», «спирает в грудях» и постоянно «резь в животе», — об этом они больше и охотнее всего говорят, сидя по праздникам у своих изб или на берегу Волги. Все они страшно легко раздражаются, неистово ругая друг друга. Из-за разбитой, глиняной корчаги, ценою в двенадцать копеек, три семьи дрались кольями, переломили руку старухе и разбили череп парню. Такие драки почти каждую неделю.

Парни относятся к девицам откровенно цинично и озорничают над ними: поймают девок в поле, завернут им юбки и крепко свяжут подолы мочалом над головами. Это называется «пустить девку цветком». По пояс обнаженные снизу девицы визжат, ругаются, но, кажется, им приятна эта игра — заметно, что они развязывают юбки свои медленнее, чем могли бы. В церкви за всенощной, парни щиплют девицам ягодицы, — кажется, только для этого они и ходят в церковь. В воскресенье поп, с амвона говорил:

— Скоты! Нет разве иного места для безобразия вашего?

— На Украине народ, пожалуй, более поэт в религии, — рассказывает Ромась, — а здесь, под верою в Бога, я вижу только грубейшие инстинкты страха и жадности. Такой, знаете, искренней любви к Богу, восхищения красотою и силой его — у здешних нет. Это, может-быть, хорошо: легче

освободятся от религии, она же — вреднейший предрассудок, скажу вам!

Парни хвастливы, но — трусы. Уже раза три, они пробовали побить меня, застигая ночью на улице, но это не удалось им и только однажды меня ударили палкой по ноге. Конечно, я не говорил Ромасю о таких стычках, но заметив, что я прихрамываю, он сам догадался в чем дело.

— Эге, все-таки — получили подарок? Я-ж говорил вам!

Хотя он и не советует мне гулять по ночам, но, все же, иногда, я выхожу огородами на берег Волги и сижу там, под ветлами, глядя сквозь прозрачную завесу ночи вниз за реку, в луга. Величественно медленное течение Волги, богато позолоченное лучами невидимого солнца, отраженными мертвой луною. Я не люблю луну, в ней есть что-то зловещее и, как у собаки, она возбуждает у меня печаль, желание уныло завыть. Меня очень обрадовало, когда я узнал, что она светит не своим светом, что она мертва и нет, и не может быть жизни на ней. До этого я представлял ее населенной медными людьми, они сложены из треугольников, двигаются как циркули и уничтожающе, великопостно звонят. На ней все — медное; растения, животныя, все непрерывно, приглушенно звенит, враждебно земле, замышляет злое против нее. Мне было приятно узнать, что она — пустое место в небесах, но, все-таки, хотелось бы, чтоб на луну упал большой метеор, с силою, достаточной для того, чтоб она, вспыхнув от удара, засияла над землей собственным светом.

Глядя, как течение Волги колеблет парчевую полосу света и, зарожденное где-то далеко во тьме, исчезает в черной тени горного берега, — я чувствую, что мысль моя становится бодрее и острей. Легко думается о чем-то неуловимом словами, чуждом всему, что пережито днем. Владычное движение водной массы почти безмолвно. По темной, широкой дороге скользит пароход чудовищной птицей в огненном оперении, мягкий шум течет вслед за ним, как трепет тяжелых крыльев. Под луговым берегом плавает огонек, от него, по воде, простирается острый красный луч — это рыбак лучит рыбу, а можно думать, что на реку опустилась с неба одна из его бесприютных звезд и носится над водою огненным цветком.

Вычитанное из книг развивается в странные фантазии, вообра-

жение неустанно ткет картины бесподобной красоты, и точно плывешь в мягком воздухе ночи вслед за рекою.

Меня находит Изот, ночью он кажется еще крупнее, еще более приятен.

— Ты опять тут? — спрашивает он и, садясь рядом, долго, сосредоточенно молчит глядя на реку и в небо, поглаживая тонкий шелк золотистой бороды.

Потом — мечтает:

— Выучусь, начитаюсь, — пойду вдоль всех рек и буду все понимать! Буду учить людей! Да. Хорошо, брат, поделиться душой с человеком! Даже бабы, — некоторые, — если с ними говорить по душе — и они понимают. Недавно одна сидит в лодке у меня и спрашивает: что с нами будет, когда помрем? Не верю — говорит — ни в ад, ни в тот свет. Видал? Они, брат, тоже...

Не найдя слова, он помолчал и наконец добавил:

— Живые души . . .

Изот был ночной человек. Он хорошо чувствовал красоту, хорошо говорил о ней, тихими словами мечтающего ребенка. В Бога он веровал без страха, хотя и церковно, представляя его себе большим, благообразным стариком, добрым и умным хозяином мира, который не может побороть зла только потому, что: — Не поспевает он, больно много человека разродилось. Ну — ничего, он — поспеет, увидишь! А вот, Христа я не могу понять — никак! Ни к чему он для меня. Есть Бог, ну и — ладно. А тут — еще один! Сын, говорят. Мало ли что — сын? Чай Бог-то не помер . . .

Но чаще Изот сидит молча, думая о чем-то и лишь, порою, говорит, вздохнув:

— Да, вот оно как . . .

— Что?

— Это я про себя . . .

И снова вздыхает, глядя в мутные дали.

— Хорошо это — жизнь!

Я соглашаюсь:

— Да, хорошо!

Могуче движется бархатная полоса темной воды; над нею изогнуто простерлась серебряная полоса Млечного пути, сверкают золотыми жаворонками большие звезды и сердце тихо поет свои неразумные думы о тайнах жизни.

Далеко, над лугами из красноватых облаков вырываются лучи солнца и — вот оно распустило в небесах свой павлиний хвост.

— Удивительно это — солнце! — бормочет Изот, счастливо улыбаясь.

Яблони цветут, село окутано розоватыми сугробами и горьким запахом, он проникает всюду, заглушая запахи дегтя и навоза. Сотни цветущих деревьев, празднично одетые в розоватый атлас лепестков, правильными рядами уходят от села в поле. В лунные ночи, при легком ветре, мотыльки цветов колебались, шелестели едва слышно и казалось, что село заливают золотисто-голубые, тяжелые волны. Неустанно и страстно пели соловьи, а днем задорно дразнились скворцы и невидимые жаворонки изливали на землю непрерывный, нежный звон свой.

По праздникам, вечерами девки и молодухи ходили по улице, распевая песни, открыв рты как птенцы и томно улыбались хмельными улыбками. Изот тоже улыбался, точно пьяный, он похудел, глаза его провалились в темные ямы, лицо стало еще строже, красивей и — святей. Он целые дни спал, являясь по улице только под вечер, озабоченный, тихо задумчивый. Кукушкин грубо, но ласково издевался над ним, а он, смущенно ухмыляясь говорил:

— Молчи, знай. Что поделаешь?

И восхищался:

— Ой, сладко жить! И, ведь, как ласково жить можно, какие слова есть для сердца! Иное — до смерти не забудешь, воскреснешь — первым вспомнишь!

— Смотри, — побьют тебя мужья, — предупреждал его Хохол, тоже ласково усмехаясь.

— И — есть за что, — соглашался Изот.

Почти каждую ночь, вместе с песнями соловьев разливался в садах, в поле, на берегу реки высокий, волнующий голос Мигуна, он изумительно красиво пел хорошие песни, за них даже мужики многое прощали ему.

Вечерами, по субботам, у нашей лавки собиралось все больше народа и — неизбежно — старик Суслов, Баринов, кузнец Кротов, Мигун. Сидят и задумчиво беседуют. Уйдут одни, являются другие и так — почти до полуночи. Иногда скандалят пьяные, чаще других — солдат Костин, человек одноглазый, и без двух пальцев на левой руке. Засучив рукава, размахивая кулаками,

он подходит к лавке шагом бойцового петуха и орет натужно, хрипло:

— Хохол, вредная нация, турецкая вера! Отвечай — почему в церковь не ходишь, а? Еретицкая душа! Смутьян человечий! Отвечай — кто ты таков есть?

Его дразнят:

— Мишка, — ты зачем пальцы себе отстрелил? Турка испугался?

Он лезет драться, но его хватают и со смехом, с криками сталкивают в овраг, — катясь кубарем по откосу он визжит нестерпимо:

— Караул! Убили . . .

Потом вылезает, весь в пыли, и просит у Хохла на шкалик водки.

— За что?

— За потеху, — отвечает Костин. Мужики дружно хохочут.

Однажды утром, в праздник, когда кухарка подожгла дрова в печи и вышла на двор, а я был в лавке — в кухне раздался сильный вздох, лавка вздрогнула, с полок повалились жестянки карамели, зазвенели выбитые стекла, забарабанило по полу. Я бросился в кухню, из двери ее в комнату лезли черные облака дыма, за ним что-то шипело и трещало, — Хохол схватил меня за плечо:

— Стойте . . .

В сенях завыла кухарка.

— Э, дура . . .

Ромась сунулся в дым, загремел чем-то, крепко выругался и закричал:

— Перестань! Воды!

На полу кухни дымились поленья дров, горела лучина, лежали кирпичи, в черном жерле печи было пусто, как выметено. Нащупав в дыму ведро воды, я залил огонь на полу и стал швырять поленья обратно в печь.

— Осторожней! — сказал Хохол, ведя за руку кухарку и втолкнув ее в комнату, скомандовал:

— Запри лавку! Осторожней, Максимыч, может еще взорвет . . . И присев на корточки, он стал рассматривать круглые, еловые поленья, потом начал вытаскивать из печи брошенные мною туда.

— Что вы делаете?

— А — вот!

Он протянул мне странно разорванный кругляш и я увидал, что внутренность его была высверлена коловоротом и странно закоптела.

— Понимаете? Они, черти, начинили полено порохом. Дурачье! Ну, — что можно сделать фунтом пороха?

И отложив полено в сторону он начал мыть руки, говоря:

— Хорошо, что Аксинья ушла, а то ушибло бы ее . . .

Кисловатый дым разошелся, стало видно, что на полке перебита посуда, из рамы окна выдавлены все стекла, а в устье печи — вырваны кирпичи.

В этот час спокойствие Хохла не понравилось мне, — он вел себя так, как будто глупая затея ни мало не возмущает его. А по улице бегали мальчишки, звенели голоса:

— У Хохла пожар! Горим!

Причитая, выла баба, а из комнаты тревожно кричала Аксинья.

— В лавку ломятся, Михайло Антоныч!

— Ну, ну, тихо! — говорил он, вытирая полотенцем мокрую бороду.

В открытые окна комнаты, смотрели искаженные страхом и гневом волосатые рожи, щурились глаза раз'едаемые дымом и кто-то возбужденно, визгливо кричал:

— Выгнать их из села! Скандалы у них, бесперечь! Что такое, Господи?

Маленький рыжий мужичек крестясь и шевеля губами пытался влезть в окно и — не мог; в правой руке у него был топор, а левая, судорожно хватаясь за подоконник, срывалась.

Держа в руке полено Ромась спросил его:

— Куда ты?

— Тушить, батюшка . . .

— Так нигде же не горит . . .

Мужик, испуганно открыв рот исчез, а Ромась вышел на крыльцо лавки и показывая полено, говорил толпе людей:

— Кто-то из вас начинил этот кругляш порохом и сунул его в наши дрова. Но пороха оказалось мало и вреда никакого не вышло . . .

Я стоял сзади Хохла, смотрел на толпу и слышал как мужик с топором пугливо рассказывает:

— Как он размахнется на меня поленом . . .

А солдат Костин, уже выпивший, кричал:

— Выгнать его, изувера! Под суд . . .

Но большинство людей молчало, пристально глядя на Ромася, недоверчиво слушая его слова:

— Для того, чтоб взорвать избу надо много пороха, пожалуй — пуд! Ну, идите же . . .

Кто-то спрашивал:

— Где староста?

— Урядника надо!

Люди разошлись не торопясь, неохотно, как будто сожалея о чем-то.

Мы сели пить чай, Аксинья разливала, ласковая и добрая как никогда и сочувственно поглядывая на Ромася, говорила:

— Не жалуетесь вы на них, вот они и озорничают.

— Не сердит вас это? — спросил я.

— Времени не хватит сердиться на каждую глупость.

Я подумал: если-б все люди так спокойно делали свое дело!

А он уже говорил, что скоро поедет в Казань, спрашивая какие книги привезти?

Иногда мне казалось, что у этого человека на месте души, действует — как в часах — некий механизм, заведенный сразу на всю жизнь. Я любил Хохла, очень уважал его, но мне хотелось, чтоб однажды он рассердился на меня или на кого-нибудь другого, кричал бы и топал ногами. Однако, он не мог или не хотел сердиться. Когда его раздражали глупостью или подлостью, он только насмешливо прищуривал серые глаза и говорил короткими, холодными словами что-то, всегда очень простое, безжалостное.

Так, он спросил Суслова:

— Зачем же вы, старый человек, кривите душой, а?

Желтые щеки и лоб старика медленно окрасились в багровый цвет, казалось, что и белая борода его тоже порозовела у корней волос.

— Ведь, — нет для вас пользы в этом, а уважение вы потеряете.

Суслов, опустив голову, согласился:

— Верно — нет пользы!

И потом говорил Изоту:

— Это — душеводитель! Вот эдаких бы подобрать в начальство . . .

. . . Кратко, толково Ромась внушает, что и как я должен делать без него, и мне кажется, что он уже забыл о попытке попугать его взрывом, как забывают об укусе мухи.

Пришел Панков, осмотрел печь и хмуро спросил:

— Не испугались?

— Ну, чего же?

— Война!

— Садись чай пить.

— Жена ждет.

— Где был?

— На рыбалке. С Изотом.

Он ушел и в кухне еще раз задумчиво повторил:

— Война.

Он говорил с Хохлом всегда кратко, как будто давно уже переговорив обо всем важном и сложном. Помню, — выслушав историю царствования Ивана Грозного, рассказанную Ромасем, Изот сказал:

— Скушный царь!

— Мясник, — добавил Кукушкин, а Панков решительно заявил:

— Ума особого не видно в нем. Ну, перебил он князей, так на их место расплодил мелких дворянишек. Да еще чужих навез, иноземцев. В этом — нет ума. Мелкий помещик хуже крупного. Муха — не волк, из ружья не убьешь, а надоедает она хуже волка.

Явился Кукушкин с ведром разведенной глины и, вмазывая кирпичи в печь, говорил:

— Удумали, черти! Вошь свою перевести — не могут, а человека извести — пожалуйста! Ты, Антоныч, много товару сразу не вози, лучше — поменьше, да почаще, а то, гляди, подожгут тебя. Теперь, когда ты эту штуку устроишь, — жди беды!

«Эта штука» очень неприятная богатеям села, — артель садовладельцев. Хохол почти уже наладил ее при помощи Панкова, Суслова и еще двух трех разумных мужиков. Большинство домохозяев начало относиться к Ромасю благосклонней, в лавке заметно увеличивалось количество покупателей и даже «никчемные» мужики — Баринов, Мигун — всячески старались помочь, всем, чем могли, делу Хохла.

Мне очень нравился Мигун, я любил его красивые, печальные песни. Когда он пел, то закрывал глаза и его страдальческое лицо не дергалось судорогами. Жил он темными ночами, когда нет луны или небо занавешено плотной тканью облаков. Бывало, с вечера зовет меня тихонько:

— Приходи на Волгу.

Там, налаживая на стерлядей запрещенную снасть, сидя верхом на корме своего челнока, опустив кривые, темные ноги в темную воду, он говорит вполголоса:

— Измывается надо мной барин, — ну, ладно, могу терпеть, пес его возьми, он — лицо, он знает неизвестное мне. А — когда свой брат, мужик теснит меня — как я могу принять это? Где между нами разница? Он — рублями считает, я — копейками, только и всего!

Лицо Мигуна болезненно дергается, прыгает бровь, быстро шевелятся пальцы рук, разбирая и подтачивая напильником крючки снасти, тихо звучит сердечный голос:

— Считаюсь я вором, верно — грешен! Так, ведь и все грабежом живут, все друг дружку сосут да грызут. Да. Бог нас — не любит, а черт — балу́ет!

Черная река ползет мимо нас, черные тучи двигаются над нею, лугового берега не видно во тьме. Осторожно шаркают волны о песок берега и замывают ноги мои, точно увлекая меня за собою в безбрежную, куда-то плывущую тьму.

— Жить-то надо? — вздыхая, спрашивает Мигун.

Вверху, на горе, уныло воет собака. Как сквозь сон, я думаю:

— А зачем надо жить таким и так, как ты?

Очень тихо на реке, очень черно и жутко. И нет конца этой теплой тьме.

— Убьют Хохла. И тебя, гляди, убьют, — бормочет Мигун, потом неожиданно и тихо запевает песню:

— Меня — а мамонька любила — а, —
Говорила:
Эх-ма, Яша, эх-ты, милая душа.
Живи тихо-о . . .

Он закрывает глаза, голос его звучит сильнее и печальней, пальцы, разбирая бичевку снасти, шевелятся медленнее.

Не послушал я родимой
Эх, — не послушал . . .

У меня странное ощущение: как-будто земля, подмытая тяжелым движением темной, жидкой массы, опрокидывается в нее, а я — с'езжаю, соскальзываю с земли во тьму, где, навсегда, утонуло солнце.

Кончив петь также неожиданно, как начал, Мигун молча стаскивает челнок в воду, садится в него и почти бесшумно исчезает в черноте. Смотрю вслед ему и думаю:

— Зачем живут такие люди?

В друзьях у меня и Баринов, безалаберный человек, хвастун, лентяй, сплетник и непоседливый бродяга. Он жил в Москве и говорит о ней, отплевываясь:

— Адов город! Бестолочь. Церквей — четырнадцать тысяч и шесть штук, а народ — сплошь жулик! И все — в чесотке, как лошади, ей Богу! Купцы, военные, мещане, — все, как есть, ходят и чешутся. Действительно, — царь пушка есть там, струмент громадный! Петр Великий сам ее отливал, чтобы по бунтарям стрелять; баба одна, дворянка, бунт подняла против него, за любовь к нему. Жил он с ней ровно семь лет, изо дня в день, потом бросил с троими ребятами. Разгневалась она и — бунт! Так, братец, ты мой, как он бабахнет из этой пушки по бунту — девять тысяч триста восемь человек сразу уложил! Даже — сам испугался: нет, говорит Филарет митрополиту, — надо ее, сволочь, заклепать от соблазну! Заклепали . . .

Я говорю ему, что все это ерунда, он — сердится:

— Гос-споди Боже мой! Какой у тебя характер скверный! Мне эту историю подробно ученый человек сказывал, а ты . . . Ходил он в Киев «ко святым» и рассказывал:

— Город этот — вроде нашего села, тоже на горе стоит и — река, забыл, однако, какая. Против Волги — лужица! Город путаный, надо прямо сказать. Все улицы — кривые и в гору лезут. Народ — хохол, не такой крови, как Михайло Антонов, а — полупольской, полутатарской. Балакает, — не говорит. Не чесанный народ, грязный. Лягушек ест, — лягушки у них фунтов по десяти. Ездит на быках и даже пашет на них. Быки у них — замечательные, самый маленький — вчетверо больше нашего. Восемьдесят три пуда весом. Монахов там — пятьдесят семь тысяч и двести семьдесят три архиерея . . . Ну, чудак! Как же ты можешь спорить? Я — сам все видел, своими глазами,

а ты — был там? Не был. Ну, то, то же! Я, брат, точность больше всего люблю . . .

Он любил цифры, выучился у меня складывать и умножать их, но терпеть не мог деления. Увлеченно умножал многозначные числа, храбро ошибался при этом и написав длинную линию цифр палкой на песке, смотрел на них пораженно, вытаращив детские глаза, восклицая:

— Такую штуку никто и выговорить не может!

Он — человек не складный, растрепанный, оборванный, а лицо у него почти красивое, в курчавой, веселой бородке, голубые глаза улыбаются детской улыбкой. В нем и Кукушкине есть что-то общее и, должно быть, поэтому они сторонятся друг от друга.

Баринов дважды ездил на Каспий ловить рыбу и — бредит:

— Море, братец мой, ни на что не похоже. Ты переди ним — мошка! Глядишь ты на него и — нет тебя! И жизнь там сладкая. Туда сбегается всякий народ, даже архимандрит один был: ничего — работал! Кухарка тоже была одна, жила она у прокурора в любовницах — ну, чего бы еще надо? Однако — не стерпела: очень ты мне, прокурор, любезен, а всетаки — прощай! Потому — кто хоть раз видел море, его снова туда тянет. Простор там. Как в небе — никакой толкотни! Я тоже уйду туда навеки. Не люблю я народ, вот что! Мне бы отшельником жить, в пустынях, ну, — не знаю я пустынь порядочных . . .

Он болтался в селе как бездомная собака, его презирали, но слушали рассказы его с таким же удовольствием, как песни Мигуна.

— Ловко врет! Занятно.

Его фантазии иногда смущали разум даже таких положительных людей, как Панков, — однажды этот недоверчивый мужик сказал Хохлу:

— Баринов доказывает, что про Грозного не все в книгах написано, многое скрыто. Он, будто, оборотень был, Грозный, орлом оборачивался, — с его времени орлов на деньгах и чеканят, — в честь ему.

Я замечал — который раз? — что все необычное, фантастическое, явно, а иногда и плохо выдуманное, нравится людям гораздо больше, чем серьезные рассказы о правде жизни.

Но когда я говорил об этом Хохлу, он, усмехаясь, говорил:

— Это пройдет! Лишь бы люди научились думать, а до правды

они додумаются. И чудаков этих — Баринова, Кукушкина — вам надо понять. Это, знаете, — художники, сочинители. Таким же, наверное, чудаком Христос был. А — согласитесь, что ведь, он кое-что не плохо выдумал . . .

Удивляло меня, что все эти люди мало и не охотно говорят о Боге, — только старик Суслов часто и с убеждением замечал:

— Все — от Бога!

И всегда я слышал в этих словах что-то безнадежное. Очень хорошо жилось с этими людьми и многому научился я от них в ночи бесед. Мне казалось, что каждый вопрос, поставленный Ромасем, пустил, как мощное дерево, корни свои в плоть жизни, а там, в недрах ее, эти корни сплелись с корнями другого, такого же векового дерева, и на каждой ветви их ярко цветут мысли, пышно распускаются листья звучных слов. Я чувствовал свой рост, насосавшись возбуждающего меда книг, увереннее говорил, и уже не раз Хохол, усмехаясь похваливал меня:

— Хорошо действуете, Максимыч!

Как я был благодарен ему за эти слова.

Панков иногда приводил жену свою, маленькую женщину с кротким лицом и умным взглядом синих глаз, одетую «по городскому». Она тихонько садилась в угол, скромно поджав губы, но через некоторое время рот ее удивленно открывался и глаза расширялись пугливо. А иногда она, слыша меткое словцо, смущенно смеялась, закрывая лицо руками, Панков же, подмигнув Ромасю, говорил:

— Понимает!

К Хохлу приезжали осторожные люди, он уходил с ними на чердак ко мне и часами сидел там.

Туда Аксинья подавала им есть и пить, там они спали, невидимые никому кроме меня и кухарки, по собачьи преданной Ромасю, почти молившейся на него. По ночам Изот и Панков отвозили этих гостей в лодке на мимо идущий пароход или на пристань в Лобышки. Я смотрел с горы как на черной — или посеребренной луною, — реке мелькает чечевица лодки, летает над нею огонек фонаря, привлекая внимание капитана парохода, — смотрел и чувствовал себя участником великого, тайного дела.

Приезжала из города Мария Деренкова, но я уже не нашел в ее взгляде того, что смущало меня, — глаза ее показались мне

глазами девушки, которая счастлива сознанием своей миловидности и рада что за нею ухаживает большой, бородатый человек. Он говорил с нею также спокойно и немножко насмешливо как со всеми, только бороду поглаживая чаще, да глаза его сияли теплее. А ее тонкий голосок звучал весело, она была одета в голубое платье, голубая лента на светлых волосах. Детские руки ее были странно беспокойны — как будто искали за что бы схватиться? Она почти непрерывно напевала что-то, не открывая рта, и обмахивала платочком розоватое, тающее лицо. Было в ней что-то волновавшее меня по новому, неприязненно и сердито. Я старался возможно меньше видеть ее.

В средине июля пропал Изот. Заговорили, что он утонул и дня через два подтвердилось: верстах в семи ниже села к луговому берегу прибило его лодку с проломленным дном и разбитым бортом. Несчастие об'яснили тем, что Изот, вероятно, заснул на реке и лодку его снесло на пыжи трех барж, стоявших на якорях, верстах в пяти ниже села.

Ромась был в Казани, когда случилось это. Вечером ко мне в лавку пришел Кукушкин, уныло сел на мешки, помолчал, глядя на ноги себе, потом, закуривая, спросил:

— Когда Хохол воротится?

— Не знаю.

Он начал крепко растирать ладонью битое свое лицо, тихонько ругаясь матерными словами, рыча, как подавившийся костью.

— Что ты?

Он взглянул на меня, кусая губы. Глаза его покраснели, челюсть дрожала. Видя, что он не может говорить, я тревожно ждал чего-то печального. Наконец, выглянув на улицу, он с трудом выговорил, заикаясь:

— Ездил я — с Мигуном. Лодку смотрели Изотову. Топором дно то прорублено — понял? Значит — убит Изотушка! Не иначе . . .

Встряхивая головою он стал нанизывать матерные слова одно на другое, всхлипывал сухим, горячим звуком, а потом замолчав, начал креститься. Нестерпимо было видеть, как этот мужик хочет заплакать, и — не может, не умеет, дрожит весь, задыхаясь в злобе и печали. Вскочил и ушел, встряхивая головою.

На другой день вечером, мальчишки, купаясь, увидали Изота под разбитой баржею, обсохшей на берегу немного выше села.

Половина днища баржи была на камнях берега, половина — в воде и под нею, у кормы, зацепившись за изломанные полости руля, распласталось вниз лицом, длинное тело Изота с разбитым, пустым черепом, — вода вымыла мозг из него. Рыбака ударили сзади, затылок его был точно стесан топором. Течение колебало Изота забрасывая ноги его к берегу, двигая руками рыбака, казалось, что он напрягает силы свои, пытаясь выкарабкаться на берег.

Угрюмо, сосредоточенно на берегу стояло десятка два мужиков богачей, бедняки еще не воротились с поля. Суетился, размахивая посошком, вороватый, трусливый староста, шмыгал носом и отирал его рукавом розовой рубахи. Широко расставив ноги, выпятив живот стоял кряжистый лавочник Кузьмин, глядя — по очереди — на меня и Кукушкина. Он грозно нахмурил брови, но его бесцветные глаза слезились и рябое лицо показалось мне жалким.

— Ой, озорство! — причитал староста, семеня кривыми ногами. — Ох, мужики, не хорошо!

Дородная молодуха, сноха его, сидя на камне, тупо смотрела в воду и крестилась дрожащей рукой, губы ее шевелились, и нижняя толстая, красная, как-то неприятно, точно у собаки, отвисала, обнажая желтые зубы овцы. С горы цветными комьями катились девки, ребятишки, поспешно шагали пыльные мужики. Толпа осторожно и не громко гудела:

— Занозистый был мужик.

— Чем это?

— Это, вон, Кукушкин занозист . . .

— Зря извели человека . . .

— Изот — смирно жил . . .

— Смирно-о? — завыл Кукушкин, бросаясь к мужикам. — Так за что же вы его убили, а? Сволочь! А?

Вдруг истерически захохотала какая-то баба и хохот кликуши точно плетью ударил толпу, — мужики заорали, налезая друг на друга, ругаясь, рыча, а Кукушкин, подскочив к лавочнику с размаха ударил его ладонью по шероховатой щеке:

— На, животный!

Размахивая кулаками, он тотчас же выскочил из свалки и почти весело крикнул мне:

— Уходи, драться будут!

Его уже ударили, он плевал кровью из разбитой губы, но лицо его сияло удовольствием . . .

— Видал, как я Кузьмина, шарахнул?

К нам подбежал Баринов, пугливо оглядываясь на толпу у баржи, она сбилась тесной кучей, из нее вырывался тонкий голос старосты:

— Нет, ты докажи — кому я мирволю? Ты — докажи!

— Уходить надо отсюда мне, — ворчал Баринов, поднимаясь в гору. Вечер был зноен, тягостная духота мешала дышать. Багровое солнце опускалось в плотные, синеватые тучи, красные отблески сверкали на листве кустов; где-то ворчал гром.

Предо мною шевелилось тело Изота и на разбитом черепе волоса, выпрямленные течением, как будто встали дыбом. Я вспоминал его глуховатый голос, хорошие слова:

— В каждом человеке детское есть, — на него и надо упирать, на детское это! Возьми Хохла: он, будто, железный, а душа в нем — детская!

Кукушкин, шагая рядом со мною, говорил сердито:

— Всех нас вот эдак . . . Господи, глупость какая!

Хохол приехал дня через два, поздно ночью, видимо очень довольный чем-то, необычно ласковый. Когда я впустил его в избу, он хлопнул меня по плечу.

— Мало спите, Максимыч!

— Изота убили.

— Что — о?

Скулы у него вздулись желваками и борода, задрожала точно струясь, стекая на грудь. Не снимая фуражку он остановился среди комнаты, прищурив глаза, мотая головой.

— Так. Неизвестно — кто? Ну, да . . .

Медленно прошел к окну и сел там, вытянув ноги.

— Я — же говорил ему . . . Начальство было?

— Вчера. Становой.

— Ну, что же? — спросил он и сам себе ответил: — Конечно — ничего!

Я сказал ему, что становой, как всегда, остановился у Кузьмина, и велел посадить в холодную Кукушкина за пощечину лавочнику.

— Так. Ну, что же тут скажешь?

Я ушел в кухню кипятить самовар.

За чаем Ромась говорил:

— Жалко этот народ, — лучших своих убивает он! Можно думать — боится их. «Не ко двору» они ему, как здесь говорят. Когда шел я этапом в Сибирь эту, — каторжанин один рассказал мне: занимался он воровством, была у него целая шайка, пятеро. И вот один начал говорить: бросимте, братцы, воровство, все равно — толку нет, живем плохо! И за это они его удушили, когда он пьяный спал. Рассказчик очень хвалил мне убитого: троих, говорит, прикончил я после того — не жалко, а товарища до сего дня жалею, хороший был товарищ, умный, веселый, чистая душа. «Что же вы убили его — спрашиваю — боялись: выдаст?» Даже обиделся: «нет, говорит, он бы ни за какие деньги не выдал, ни за что! А — так, как то, не ладно стало дружить с ним, все мы — грешны, а он, будто, праведник. Не хорошо».

Хохол встал и начал шагать по комнате, заложив руки на спину, держа в зубах трубку, белый весь, в длинной татарской рубахе до пят. Крепко топая босыми подошвами он говорил тихо и задумчиво:

— Много раз натыкался я на эту боязнь праведника, на изгнание из жизни хорошего человека. Два отношения к таким людям: либо их всячески уничтожают, сначала затравив хорошенько, или — как собаки — смотрят им в глаза, ползают пред ними на брюхе. Это — реже. А — учиться жить у них, подражать им — не могут, не умеют. Может быть — не хотят?

Взяв стакан остывшего чая он сказал:

— Могут и не хотеть! Подумайте, — люди с великим трудом наладили для себя какую-то жизнь, привыкли к ней, а кто-то один — бунтует: не так живете! Не так? Да, мы же лучшие силы наши вложили в эту жизнь, дьявол тебя возьми! И — бац его, учителя, праведника. Не мешай! А, все же таки, живая правда с теми, которые говорят: не так живете! С ними правда. И это они двигают жизнь к лучшему.

Махнув рукою на полку книг, он добавил:

— Особенно — эти! Эх, если-б я мог написать книгу! Но — не гожусь на это, — мысли у меня тяжелые, нескладные.

Он сел за стол, облокотился и сжав голову руками сказал:

— Как жалко Изота . . .

И долго молчал:

— Ну, давайте, ляжем спать . . .

Я ушел к себе, на чердак, сел у окна. Над полями вспыхивали зарницы обнимая половину небес; казалось, что луна испуганно вздрагивает, когда по небу разольется прозрачный, красноватый свет. Надрывно лаяли и выли собаки и еслиб не этот вой, можно было бы вообразить себя живущим на необитаемом острове. Рокотал отдаленный гром, в окно вливался тяжелый поток душного тепла.

Предо мною лежало тело Изота, — на берегу, под кустами ивняка. Синее лицо его было обращено к небу, а остеклевшие глаза строго смотрели внутрь себя. Золотистая борода слипалась острыми комьями, в ней прятался изумленно открытый рот.

— Главное, Максимыч, доброта, ласка! Я Пасху люблю за то, что она — самый ласковый праздник!

К синим его ногам, чисто вымытым Волгой, прилипли синие штаны, высохнув на знойном солнце. Мухи гудели над лицом рыбака, от его тела исходил одуряющий, тошнотворный запах.

Тяжелые шаги на лестнице, согнувшись в двери, вошел Ромась и сел на мою койку, собрав бороду в горсть.

— А я, знаете, женюсь! Да.

— Трудно будет здесь женщине . . .

Он пристально посмотрел на меня, как будто ожидая: что еще скажу я? Но я не находил, что сказать. Отблески зарниц вторгались в комнату, заливая ее призрачным светом.

— Женюсь на Маше Деренковой . . .

Я невольно улыбнулся: до этой минуты мне не приходило в голову, что эту девушку можно назвать — Маша. Забавно. Не помню, чтоб отец или братья называли ее так — Маша.

— Вы что смеетесь?

— Так.

— Думаете — стар я для нее?

— О, нет!

— Она сказала мне, что вы были влюблены в нее.

— Кажется, — да.

— А теперь? Прошло?

— Да, я думаю.

Он выпустил бороду из пальцев, тихо говоря:

— В ваши годы это часто кажется, а в мои — это уж не кажется, но просто охватывает всего и ни о чем нельзя больше думать, нет сил!

И, оскалив крепкие зубы усмешкой, он продолжал:

— Антоний проиграл цезарю Октавиану битву при Акциуме потому, что, бросив свой флот и командование, побежал на своем корабле вслед за Клеопатрой, когда она испугалась и отплыла из боя, — вот что бывает!

Встал Ромась, выпрямился и повторил как поступающий против своей воли:

— Так, вот как — женюсь!

— Скоро?

— Осенью. Когда кончим с яблоками.

Он ушел, наклонив голову в двери ниже, чем это было необходимо, а я лег спать, думая, что, пожалуй, лучше будет, если я осенью уйду отсюда. Зачем он сказал про Антония? Не понравилось это мне.

Уже наступала пора снимать скороспелые сорта яблок. Урожай был обилен, ветви яблонь гнулись до земли под тяжестью плодов. Острый запах окутал сады, там гомонили дети, собирая червобоину и сбитые ветром желтые и розовые яблоки.

В первых числах августа Ромась приплыл из Казани с досчаником товара и другим, груженым коробами. Было утро, часов восемь буднего дня. Хохол только что переоделся, вымылся и собираясь пить чай, весело говорил:

— А хорошо плыть ночью по реке . . .

И вдруг, потянув носом, спросил озабоченно:

— Как будто — гарью пахнет?

В ту же минуту на дворе раздался вопль Аксиньи.

— Горим!

Мы бросились на двор, — горела стена сарая со стороны огорода, в сарае мы держали керосин, деготь, масло. Несколько секунд мы оторопело смотрели как деловито желтые языки огня, обесцвеченные ярким солнцем лижут стену, загибаются на крышу. Аксинья притащила ведро воды, Хохол выплеснул его на цветущую стену, бросил ведро и сказал:

— К черту! Выкатывайте бочки Максимыч! Анисья — в лавку!

Я быстро выкатил на двор и на улицу бочку дегтя и взялся за бочку керосина, но когда я повернул ее, — оказалось, что втулка бочки открыта и керосин потек на землю. Пока я искал втулку, огонь — не ждал, сквозь досчатые сени сарая просунулись

острые его клинья, потрескивала крыша и что-то насмешливо пело. Выкатив неполную бочку я увидал, что по улице отовсюду с воем и визгом бегут бабы, дети. Хохол и Аксинья выносят из лавки товар, спуская его в овраг, а среди улицы стоит черная седая старуха и, грозя кулаком, кричит пронзительно:

— А-а-а, дьяволы! . .

Снова вбежав в сарай я нашел его полным густейшего дыма, в дыму гудело, трещало, с крыши свешивались, извиваясь, красные ленты, а стена уже превратилась в раскаленную решетку. Дым душил меня и ослеплял, у меня едва хватило сил подкатить бочку к двери сарая, в дверях она застряла и дальше не шла, а с крыши на меня сыпались искры, жаля кожу. Я закричал о помощи, прибежал Хохол, схватил меня за руку и вытолкнул на двор.

— Бегите прочь! Сейчас взорвет . . .

Он бросился в сени, а я за ним и — на чердак, там у меня лежало много книг. Вышвырнув их в окно, я захотел отправить вслед за ними ящик шапок, окно было узко для него, тогда я начал выбивать косяки полупудовой гирей, но, — глухо бухнуло, на крышу сильно плеснуло, я понял, что это взорвалась бочка керосина, крыша надо мною запылала, затрещала, мимо окна лилась, заглядывая в него, рыжая струя огня и мне стало нестерпимо жарко. Бросился к лестнице, — густые облака дыма поднимались навстречу мне, по ступенькам вползали багровые змеи, а внизу, в сенях так трещало, точно чьи-то железные зубы грызли дерево. Я — растерялся. Ослепленный дымом, задыхаясь, я стоял неподвижно какие-то бесконечные секунды. В слуховое окно над лестницей заглянула рыжебородая желтая рожа, судорожно искривилась, исчезла, и тотчас же крышу пронзили кровавые копья пламени.

Помню, мне казалось, что волосы на голове моей трещат и кроме этого я не слышал иных звуков. Понимал, что — погиб, отяжелели ноги, и было больно глазам, хотя я закрыл их руками.

Мудрый инстинкт жизни подсказал мне единственный путь спасения — я схватил в охапку мой тюфяк, подушку, связку мочала, окутал голову овчинным тулупом Ромася и выпрыгнул в окно.

Очнулся я на краю оврага, предо мною сидел на корточках Ромась и кричал:

— Что—о?

Я встал на ноги очумело глядя, как таяла наша изба, вся в красных стружках, черную землю пред нею лизали алые, собачьи языки. Окна дышали черным дымом, на крыше росли, качаясь, желтые цветы.

— Ну, что? — кричал Хохол. Его лицо, облитое потом, выпачканное сажей плакало грязными слезами, глаза испуганно мигали, в мокрой бороде запуталось мочало. Меня облила освежающая волна радости — такое огромное, мощное чувство! — потом ожгла боль в левой ноге, я лег и сказал Хохлу:

— Ногу вывихнул.

Ощупав ногу, он вдруг дернул ее — меня хлестнуло острой болью и, через несколько минут, пьяный от радости, прихрамывая, я сносил к нашей бане спасенные вещи, а Ромась, с трубкой в зубах, весело говорил:

— Был уверен, что сгорите вы, когда взорвало бочку и керосин хлынул на крышу. Огонь столбом поднялся, очень высоко, а потом в небе вырос эдакий гриб и вся изба сразу окунулась в огонь. Ну, думаю, пропал Максимыч!

Он был уже спокоен, как всегда, аккуратно укладывал вещи в кучу и говорил чумазой, растрепанной Аксинье:

— Сидите тут, стерегите, чтоб не воровали, а я пойду гасить...

В дыму под оврагом летали белые куски бумаги.

— Эх, — сказал Ромась — жалко книг! Родные книжки были . . .

Горело уже четыре избы. День был тихий, огонь не торопился, растекаясь направо и налево, гибкие крючья его цеплялись за плетни и крыши как бы неохотно. Раскаленный гребень чесал солому крыш, кривые, огненные пальцы перебирали плетни, играя на них, как на гуслях, в дымном воздухе разносилось злорадно-ноющее, жаркое пение пламени и тихий, почти нежно звучавший, треск тающего дерева. Из облака дыма падали на улицу и во дворы золотые «галки», бестолково суетились мужики и бабы, заботясь каждый о своем, и непрерывно звучал воющий крик:

— Воды—ы!

Вода была далеко, под горой, в Волге. Ромась быстро сбил мужиков в кучу, хватая их за плечи, толкая, потом разделил на две группы и приказал ломать плетни и службы

по обе стороны пожарища. Его покорно слушались и началась более разумная борьба с уверенным стремлением огня пожрать весь «порядок», всю улицу. Но работали всетаки боязливо и как-то безнадежно, точно делая чужое дело.

Я был настроен радостно, чувствовал себя сильным, как никогда. В конце улицы я заметил кучку богатеев со старостой и Кузьминым во главе, они стояли ничего не делая, как зрители, кричали, размахивая руками и палками. С поля, верхами, скакали мужики, взмахивая локтями до ушей, вопили бабы встречу им, бегали мальчишки.

Загорались службы еще одного двора, нужно было как можно скорее разобрать стену хлева, она была сплетена из толстых сучьев и уже украшена алыми лентами пламени. Мужики начали подрубать колья плетня, на них посыпались искры, угли и они отскочили прочь, затирая ладонями тлеющие рубахи.

— Не трусь! — кричал Хохол.

Это не помогло. Тогда он сорвал шапку с кого-то, нахлобучил ее на мою голову:

— Рубите с того конца, а я — здесь!

Я подрубил один, два кола, — стена закачалась, тогда я влез на нее, ухватился за верх, а Хохол протянул меня за ноги на себя и вся полоса плетня упала, покрыв меня почти до головы. Мужики дружно выволокли плетень на улицу.

— Обожглись? — спросил Ромась.

Его заботливость увеличивала мои силы и ловкость. Хотелось отличиться пред этим, дорогим для меня человеком, и я неистовствовал, лишь бы заслужить его похвалу. А в туче дыма все еще летали, точно голуби, страницы наших книг.

С правой стороны удалось прервать распространение пожара, а влево он распространялся все шире, захватывая уже десятый двор. Оставив часть мужиков следить за хитростями красных змей, Ромась погнал большинство работников в левую; пробегая мимо богатеев я услыхал чье-то злое восклицание:

— Поджог!

А лавочник сказал:

— В бане у него поглядеть надо!

Эти слова неприятно засели мне в память.

Известно, что возбуждение, радостное — особенно, увеличивает силы; я был возбужден, радостно работал самозабвенно

и наконец «выбился из сил». Помню, что сидел на земле, прислоняясь спиною к чему-то горячему. Ромась поливал меня водою из ведра, а мужики, окружив нас, почтительно бормотали:

— Силенка у робенка!

— Этот — не выдаст . . .

Я прижался головою к ноге Ромася и постыднейше заплакал, а он гладил меня по мокрой голове, говоря:

— Отдохните! Довольно.

Кукушкин и Баринов, оба закоптевшие, как черти, повели меня в овраг, утешая:

— Ничего, брат! Кончилось.

— Испугался?

Я не успел еще отлежаться и придти в себя, когда увидал, что в овраг, к нашей бане, спускается человек десять «богачей», впереди их — староста, а сзади его двое сотских ведут под руки Ромася. Он — без шапки, рукав мокрой рубахи оторван, в зубах стиснута трубка, лицо его сурово нахмурено и страшно. Солдат Костин, размахивая палкой, неистово орет:

— В огонь, еретицкую душу!

— Отпирай баню . . .

— Ломайте замок — ключ потерян, — громко сказал Ромась.

Я вскочил на ноги, схватил с земли кол и встал рядом с ним. Сотские отодвинулись, а староста визгливо, испуганно сказал:

— Православные, — ломать замки не позволено!

Указывая на меня Кузьмин кричал:

— Вот этот еще . . . Кто таков?

— Спокойно, Максимыч, — говорил Ромась. — Они думают, что я спрятал товар в бане и сам поджег лавку.

— Оба вы!

— Ломай!

— Православные . . .

— Отвечаем!

— Наш ответ . . .

Ромась шепнул:

— Встаньте спиной к моей спине! Чтобы сзади не ударили . . .

Замок бани сломали, несколько человек сразу втиснулось в дверь и почти тотчас же вылезли оттуда, а я, тем временем, сунул кол в руку Ромася и поднял с земли другой.

— Ничего нет . . .

— Ничего?

— Ах, дьяволы!

Кто-то робко сказал:

— Напрасно, мужики . . .

И в ответ несколько голосов буйно, как пьяные:

— Чего — напрасно?

— В огонь!

— Смутьяны . . .

— Артели затевают!

— Воры! И компания у них — воры!

— Цыц! — громко крикнул Ромась. — Ну, — видели вы, что в бане у меня товар не спрятан — чего еще надо вам? Все сгорело, осталось — вот: видите? Какая же польза была мне поджигать свое добро?

— Застраховано!

И снова десять глоток яростно заорали:

— Чего глядеть на них?

— Будет! Натерпелись . . .

У меня ноги тряслись и потемнело в глазах. Сквозь красноватый туман я видел свирепые рожи, волосатые дыры ртов на них и едва сдерживал злое желание бить этих людей. А они орали, прыгая вокруг нас.

— Ага-а, колья взяли!

— С кольями!?

— Оторвут они бороду мне, — говорил Хохол, и я чувствовал, что он усмехается. — И вам попадет, Максимыч, — эх! Но — спокойно — спокойно . . .

— Глядите, у молодого топор!

У меня за поясом штанов действительно торчал плотничный топор, я забыл о нем.

— Как будто — трусят, — соображал Ромась. — Однако, вы топором не действуйте, если что . . .

Незнакомый, маленький и хромой мужиченко, слышно приплясывая, неистово визжал:

— Кирпичами их издаля! Бей в мою голову!

Он действительно схватил обломок кирпича, размахнулся и бросил его мне в живот, но раньше, чем я успел ответить ему, сверху, ястребом, свалился на него Кукушкин, и они, обнявшись, покатились в овраг. За Кукушкиным прибежал Панков, Ба-

ринов, кузнец, еще человек десять и тотчас же Кузьмин солидно заговорил:

— Ты, Михаило Антонов, человек умный, тебе известно: пожар мужика с ума сводит . . .

— Идемте, Максимыч, на берег, в трактир, — сказал Ромась и, вынув трубку изо рта, резким движеньем сунул ее в карман штанов. Подпираясь колом, он устало полез из оврага и когда Кузьмин, идя рядом с ним, сказал что-то, он, не взглянув на него, ответил:

— Пошел прочь, дурак!

На месте нашей избы тлела золотая груда углей, в середине ее стояла печь, из уцелевшей трубы поднимался в горячий воздух голубой дымок. Торчали докрасна раскаленные прутья койки, точно ноги паука. Обугленные вереи ворот стояли у костра черными сторожами, одна верея в красной шапке углей и в огоньках, похожих на перья петуха.

— Сгорели книги, — сказал Хохол, вздохнув. — Это досадно! Мальчишки загоняли палками в грязь улицы большие головни, точно поросят, они шипели и гасли, наполняя воздух едким беловатым дымом. Человек, лет пяти от рода, беловолосый, голубо-глазый, сидя в теплой, черной луже бил палкой по измятому ведру, сосредоточенно наслаждаясь звуками ударов по железу. Мрачно шагали погорельцы, стаскивая в кучи уцелевшую домашнюю утварь. Плакали и ругались бабы, ссорясь из-за обгоревших кусков дерева. В садах за пожарищем недвижимо стояли деревья, листва многих порыжела от жары, и обилие румяных яблок стало виднее.

Мы сошли к реке, выкупались и потом молча пили чай в трактире на берегу.

— А с яблоками мироеды проиграли дело, — сказал Ромась. Пришел Панков, задумчивый и более мягкий, чем всегда.

— Что, брат? — спросил Хохол.

Панков пожал плечами:

— У меня изба застрахована была.

Помолчали, странно, как незнакомые, присматриваясь друг ко другу щупающими глазами.

— Что теперь будешь делать, Михаил Антоныч?

— Подумаю.

— Уехать надо тебе отсюда.

— Посмотрю.

— У меня план есть, — сказал Панков — пойдем на волю, поговорим.

Пошли. В дверях Панков обернулся и сказал мне:

— А — не робок ты! Тебе здесь — можно жить, тебя бояться будут . . .

Я тоже вышел на берег, лег под кустами, глядя на реку.

Жарко, хотя солнце уже опускалось к западу. Широким свитком развернулось предо мною все пережитое в этом селе — как будто красками написано на полосе реки. Грустно было мне. Но скоро одолела усталость, и я крепко заснул.

— Эй, — слышал я, сквозь сон, чувствуя, что меня трясут и тащат куда-то. — Помер ты, что-ли? Очнись!

За рекой над лугами светилась багровая луна, большая, точно колесо. Надо мною наклонился Баринов, раскачивая меня.

— Иди, Хохол тебя ищет, беспокоится!

Идя сзади меня, он ворчал:

— Тебе нельзя спать, где попало! Пройдет по горе человек, оступится — спустит на тебя камень. А то и нарочно спустит. У нас — не шутят. Народ, братец ты мой, зло помнит. Окроме зла ему и помнить нечего.

В кустах на берегу кто-то тихонько возился, — шевелились ветви.

— Нашел? — спросил звучный голос Мигуна.

— Веду, — ответил Баринов.

И отойдя шагов десять сказал, вздохнув:

— Рыбу воровать собирается. Тоже и Мигуну — не легка жизнь.

Ромась встретил меня сердитым упреком:

— Вы что же гуляете? Хотите, чтоб вздули вас?

А когда мы остались одни, он сказал хмуро и тихо.

— Панков предлагает вам остаться у него. Он хочет лавку открыть. Я вам не советую. А, вот что, я продал ему все, что осталось, уеду в Вятку и через некоторое время выпишу вас к себе. Идет?

— Подумаю.

— Думайте.

Он лег на пол, повозился немного и замолчал. Сидя у окна я смотрел на Волгу. Отражения луны напоминали мне огни по-

жара. Под луговым берегом тяжко шлепал плицами колес буксирный пароход, три мачтовых огня плыли во тьме, касаясь звезд и, порою, закрывая их.

— Сердитесь на мужиков? — сонно спросил Ромась. — Не надо. Они только глупы. Злоба — это глупость.

Слова его не утешали, не могли смягчить мое ожесточение и остроту обиды моей. Я видел пред собою звериные, волосатые пасти, извергавшие злой визг:

— Кирпичами издаля!

В это время я еще не умел забывать то, что не нужно мне. Да, я видел, что в каждом из этих людей, взятом отдельно, не много злобы, а часто и совсем нет ее. Это, в сущности, добрые звери, — любого из них не трудно заставить улыбнуться детской улыбкой, любой будет слушать с доверием ребенка рассказы о поисках разума и счастья, о подвигах великодушия. Странной душе этих людей дорого все, что возбуждает мечту о возможности легкой жизни по законам личной воли.

Но когда на сельских сходах или в трактире на берегу, эти люди соберутся серой кучей, они прячут куда-то все свое хорошее и облачаются, как попы, в ризы лжи и лицемерия; в них начинает играть собачья угодливость пред сильными и тогда на них противно смотреть. Или — неожиданно их охватывает волчья злоба, ощетинясь, оскалив зубы, они дико воют друг на друга, готовы драться — и дерутся — из-за пустяка. В эти минуты они страшны и могут разрушить церковь, куда еще вчера вечером шли кротко и покорно, как овцы в хлев. У них есть поэты и сказочники, — никем не любимые они живут на смех селу, без помощи, в презрении.

Не умею, не могу жить среди этих людей. И я изложил все мои горькие думы Ромасю в тот день, когда мы расставались с ним.

— Преждевременный вывод, — заметил он с упреком.

— Но, — что же делать, если он сложился?

— Неверный вывод! Неосновательно.

Он долго убеждал меня хорошими словами в том, что я не прав, ошибаюсь.

— Не торопитесь осуждать! Осудить — всего проще, не увлекайтесь этим. Смотрите на все спокойно, памятуя об одном: все проходит, все изменяется к лучшему. Медленно? За то —

прочно! Заглядывайте всюду, ощупывайте все, будьте бесстрашны, но — не торопитесь осудить. До свидания, дружище!

Это свидание состоялось через пятнадцать лет в Седлеце, после того, как Ромась отбыл по делу «народоправцев» еще одну десятигодовую ссылку в Якутской области.

Меня свинцом облила тоска, когда он уехал из Красновидова, я заметался по селу точно кутенок, потерявший хозяина. Я ходил с Бариновым по деревням, работали у богатых мужиков, молотили, рыли картофель, чистили сады. Жил я у него в бане.

— Лексей Максимыч, воевода без народа, — как же, а? — спросил он меня дождливой ночью. — Едем, что ли, на море завтра? Ей Богу! Чего тут? Не любят здесь нашего брата, эдаких. Еще — того, как-нибудь, под пьяную руку . . .

Не впервые говорил это Баринов. Он тоже, почему-то, затосковал, его обезьяньи руки бессильно повисли, он уныло оглядывался точно заплутавшийся в лесу.

В окно бани хлестал дождь, угол ее подмывал поток воды, бурно стекая на дно оврага. Немощно вспыхивали бледные молнии последней грозы. Баринов тихо спрашивал:

— Едем, а? Завтра?

Поехали.

. . . Неиз'яснимо хорошо плыть по Волге осенней ночью сидя на корме баржи, у руля, которым водит мохнатое чудовище с огромной головою, — водит, топая по палубе тяжелыми ногами и густо вздыхает:.

— О — уп! . . О — рро-у . . .

За кормой шелково струится, тихо плещет вода, смолисто-густая, безбрежная. Над рекою клубятся черные тучи осени. Все вокруг — только медленное движение тьмы, она стерла берега, кажется, что вся земля растаяла в ней, превращена в дымное и жидкое непрерывно, бесконечно, всею массой текущее куда-то вниз, в пустынное, немое пространство, где нет ни солнца, ни луны, ни звезд.

Впереди, в темноте сырой, тяжело возится и дышет невидимый буксирный пароход, как бы сопротивляясь упругой силе, влекущей его. Три огонька, — два над водою и один высоко над ними — провожают его; ближе ко мне, под тучами плывут, точно золотые караси, еще четыре, один из них, — огонь фонаря на мачте нашей баржи.

Я чувствую себя заключенным внутри холодного, масляного пузыря, он тихо скользит по наклонной плоскости, а я влеплен в него, как мошка. Мне кажется, что движение постепенно замирает, и близок момент, когда оно совсем остановится, — пароход перестанет ворчать и бить плицами колес по густой воде, все звуки облетят, как листья с дерева, сотрутся, как надписи мелом и владычно обнимет меня неподвижность, тишина.

И большой человек в рваном овчинном тулупе, в лохматой бараньей шапке шагающий у руля остановится недвижимо, заколдованный навеки, не будет рычать:

— Орр-оп! О-урр . . .

Я спросил его:

— Как тебя звать?

— А зачем тебе знать? — глухо ответил он.

На закате солнца, отплывая из Казани, я заметил, что у этого человека, неуклюжего, как медведь, лицо волосатое, безглазое. Становясь к рулю, он вылил в деревянный ковш бутылку водки, выпил ее в два приема, как воду, и закусил яблоком. А когда буксир дернул баржу, человек, вцепившись в рычаг руля, взглянул на красный круг солнца и, тряхнув башкой, сказал строго:

— Благослови Осподь!

Пароход ведет из Нижнего, с ярмарки, в Астрахань четыре баржи, груженные штучным железом, бочками сахара и какими-то тяжелыми ящиками, — все это для Персии. Баринов постучал по ящикам ногою, понюхал, подумал и сказал:

— Не иначе — ружья, с Ижевского завода . . .

Но рулевой ткнул его кулаком в живот и спросил:

— Тебе какое дело?

— В мыслях моих . . .

— А — в морду, — хочешь?

За проезд на пассажирском пароходе нам нечем платить, мы взяты на баржу «из милости» и хотя мы «держим вахту», как матросы, — все на барже смотрят на нас, точно на нищих. А ты говоришь — народ, — упрекает меня Баринов. — Тут — просто: кто на ком сел верхом . . .

Тьма так плотна, что барж не видно, видишь только освещенные огнями фонарей острия мачт на фоне дымных туч. Тучи пахнут нефтью.

Меня раздражает угрюмое молчание рулевого. Я назначен

боцманом «вахтить» на руле в помощь этому зверю. Следя за движением огней, на поворотах он тихо говорит мне:

— Эй, берись!

Вскакиваю на ноги и ворочаю рычаг руля.

— Ладно, — ворчит он.

Я снова сажусь на палубу. Разговориться с этим человеком — не удается, он отвечает вопросами:

— А тебе что за дело?

О чем он думает? Когда проходили место, где желтые воды Камы вливаются в стальную полосу Волги, он, посмотрев на север, проворчал:

— Сволочь.

— Кто?

Не ответил.

Где-то далеко в пропастях тьмы, воют и лают собаки. Это напоминает о каких-то остатках жизни еще не раздавленных тьмою. Это кажется недосягаемо далеким и ненужным.

— Собаки тут плохие, — неожиданно говорит человек у руля.

— Где — тут?

— Везде. У нас собака — настоящий зверь . . .

— Ты — откуда?

— Вологодской.

И точно картофель из прорванного мешка, покатились серые, тяжелые слова:

— Это — кто с тобой — дядя? Дурак он, по моему. А у меня дядя умный. Лихой. Богач. В Симбирском пристань держит. Трактир. На берегу.

Выговорив все это медленно и как бы с трудом, человек уставился невидимыми глазами на мачтовый фонарь парохода, следя, как он ползет в сетях тьмы золотым пауком.

— Берись, ну . . . Грамотный? Не знаешь — кто законы пишет?

Не дождавшись ответа, он продолжает:

— Разно говорят: одни— царь, другие — митрополит, Сенат. Кабы я наверно знал — кто, сходил бы к нему. Сказал бы: ты пиши законы так, чтобы я замахнуться не мог, а не то, что ударить! Закон должен быть железный. Как ключ. Заперли мне сердце и шабаш! Тогда я — отвечаю! А так — не отвечаю! Нет.

Он бормотал для себя, все более тихо и бессвязно, пристукивая кулаком по дереву рычага.

С парохода кричали в рупор и глухой голос человека был также излишен, как лай и вой собак, уже всосанный жирной ночью. У бортов парохода по черной воде, желтыми масляными пятнами плывут отсветы огней и тают, бессильные осветить что-либо. А над нами точно ил течет, так вязки и густы темные, сочные облака. Мы все глубже скользим в безмолвные недра тьмы.

Человек угрюмо жаловался:

— К чему довели меня? Сердце не дышет . . .

Безразличие овладело мною, безразличие и холодная тоска. Захотелось спать.

Осторожно, с трудом продираясь сквозь тучи, подкрался рассвет без солнца, немощный и серый. Окрасил воду в цвет свинца, показал на берегах желтые кусты, железные, ржавчиной покрытые сосны, темные лапы их ветвей, вереницу изб деревни, фигуру мужика, точно вырубленную из камня. Над баржой пролетела чайка свистнув кривыми крыльями.

Меня и рулевого сменили с вахты, я залез под брезент и уснул, но вскоре — так показалось мне — меня разбудил топот ног и крики. Высунув голову из-под брезента, я увидал, что трое матросов, прижав рулевого к стенке «конторки», разноголосно кричат:

— Брось, Петруха!

— Господь с тобой, — ничего!

— А ты — полно!

Скрестив руки, вцепившись пальцами в плечи себе, он стоял спокойно, прижимая ногою к палубе какой-то узел, смотрел на всех по очереди и хрипло уговаривал:

— Дайте от греха уйти!

Он был бос, без шапки, в одной рубахе и портах, темная куча нечесанных волос торчала на его голове, они спускались на упрямый, выпуклый лоб, под ним видны были маленькие глаза крота, налитые кровью, они смотрели умоляюще, тревожно.

— Утонешь! — говорили ему.

— Я? Никак. Пустите, братцы! Не пустите — убью его! Как приплывем в Симбирской, так и . . .

— Да перестань!

— Эх, братцы . . .

Он медленно, широко развел руки, опустился на колени и, касаясь руками «конторки», точно распятый, повторил:

— Дайте от греха бежать!

В голосе его, странно глубоком, было что-то потрясающее, раскинутые руки, длинные, как весла, дрожали, обращены ладонями к людям. Дрожало и его медвежье лицо в косматой бороде, кротовые, слепые глаза, темными шариками выкатились из орбит. Казалось, что невидимая рука, вцепилась в горло ему и душит.

Мужики молча расступились пред ним, он неуклюже встал на ноги, поднял узел, сказал:

— Вот — спасибо!

Подошел к борту и с неожиданной легкостью прыгнул в реку. Я тоже бросился к борту и увидал, как Петруха, болтая головою, надел на нее — шапкой — свой узел и поплыл, наискось течения, к песчаному берегу, где, встречу ему нагибались под ветром кусты, сбрасывая в воду желтые листья.

Мужики говорили:

— Одолел себя, все-таки!

Я спросил:

— Он — сошел с ума?

— Зачем? Нет, это он — души спасенья ради . . .

Петруха уже выплыл на мелкое место, встал по грудь в воде и взмахнул над головою узлом:

Матросы закричали:

— Проща-ай!

Кто-то спросил:

— А как же без пачпорта он?

Рыжий, кривоногий матрос рассказывал мне с удовольствием:

— У него, в Симбирске, дядя живет, злодей ему и раззоритель, вот он и затеял убить дядю, да, однако, пожалел сам себя, отскочил от греха. Зверь — мужик, а — добрый! Он — хороший . . .

А хороший мужик уже шагал по узкой полосе песка, против течения реки и — вот он исчез в кустах.

Матросы оказались добрыми ребятами, все они были земляки мне, исконные волгари; к вечеру я чувствовал себя своим человеком среди них. Но на другой день заметил, что они смотрят на меня угрюмо, недоверчиво. Я тотчас догадался, что черт

дернул Баринова за язык, и этот фантазер что-то рассказал матросам.

— Рассказал?

Улыбаясь бабьими глазами, смущенно почесывая за ухом, он сознался:

— Рассказал немножко!

— Да — я-ж тебя просил молчать?

— Ведь я и молчал, да уж больно история интересна. Хотели в карты играть, а рулевой захватил карты, — скушно! Я и того...

Из расспросов моих оказалось, что Баринов, скуки ради, сплел весьма забавную историю, в конце которой Хохол и я, как древние викинги, рубились топорами с толпой мужиков.

Бесполезно было сердиться на него, — он видел правду только вне действительности. Однажды, когда я с ним, по пути на поиски работы, сидел на краю оврага в поле, он убежденно и ласково внушал мне:

— Правду надобно выбирать по душе! Вон, за оврагом, стадо пасется, собака бегает, пастух ходит. Ну, так что? Чем мы с тобой от этого попользуемся для души? Милый, ты взгляни просто: злой человек — правда, а добрый — где? Доброго-то еще не выдумали, да-а!

В Симбирске матросы очень нелюбезно предложили нам сойти с баржи на берег.

— Вы нам люди не подходящие, — сказали они.

Свезли нас в лодке к пристаням Симбирска, и мы обсохли на берегу, имея в карманах тридцать семь копеек.

Пошли в трактир пить чай.

— Что будем делать?

Баринов уверенно сказал:

— Как — что? Надо ехать дальше.

До Самары доехали «зайцами» на пассажирском, в Самаре нанялись на баржу, через семь дней почти благополучно доплыли до берегов Каспия и там пристроились к небольшой артели рыболовов на калмыцком грязном промысле Кабанкул-бай.

Сторож.

Я — ночной сторож станции Добринка; от шести часов вечера до шести утра хожу с палкой в руке вокруг пакгаузов; со степи, тысячью пастей дует ветер, несутся тучи снега, в его серой массе, медленно, плывут туда и сюда локомотивы, тяжко вздыхая, влача за собою черные звенья вагонов, как будто кто-то, не спеша, опутывает землю бесконечной цепью и тащит ее сквозь небо, раздробленное в холодную, белую пыль. Визг железа, лязг сцеплений, странный скрип, тихий вой носится вместе со снегом.

У крайнего пакгауза, в мутных вихрях снега возятся две черные фигуры, — это пришли казаки воровать муку. Видя меня, они, отскочив в сторону, прячутся за сугроб и потом, сквозь вой и шорох вьюги, я слышу нищенски жалобные слова просьбы, обещания дать полтинник, ругань.

— Бросьте это, ребята, — говорю я.

Мне лень слушать их, не хочется говорить с ними, я знаю, что они — не бедняки, воруют не по нужде, а на продажу, для пьянства, для женщин.

Иногда они подсылают красивую жолнерку Лёску Графову; расстегнув тулупчик и кофту, она показывает сторожам груди; упругие точно хрящ, они стоят у нее горизонтально.

— Глядите-тко, — как пушки, — задорит и хвастается она. — Ну, хотите за мешок пшеничной второго сорта? Ну, — третьего?

С нею деловито торгуется молодой религиозный, тамбовский парень Байков и усманский татарин, хромой Ибрагим.

Она стоит перед ними, открыв грудь, снег тает на коже у нее, встряхнув плечами, как цыганка, она ругается:

— Кацапы, ну скорее! Болотное племя, али вы найдете где эдакую сласть, как у меня, падаль пёсья!

Она презирает русских мужиков. Голос у нее грудной, сильный, красивое лицо освещено глазами кошки. Ибрагим ведет ее под крышу пакгауза, а ее товарищи, бросив на салазки мешок или куль, — уезжают.

Мне противно бесстыдство этой женщины и до тоски жалко ее прекрасное, сильное тело. Ибрагим называл Лёску собакой и плевался, вспоминая ее ласки, а Байков тихо и задумчиво говорил:

— Таких убивать надо бы . . .

По праздникам, нарядно одетая, в скрипучих, козловых башмаках, в алом платочке на густых каштанового цвета волосах, она, приходя в город, обслуживает телом своим «интеллигенцию», относясь ко всем покупателям одинаково дерзко и презрительно.

Иногда она привязывалась ко мне, я ее прогонял с моего участка, но как-то, теплой, светлой ночью, сидя на лесенке пакгауза, я задремал и, открыв глаза, увидел пред собой Лёску; она стояла, сунув руки в карманы тулупчика, нахмуря брови, статную фигуру ее внимательно освещала луна.

— Не бойсь, — не воровать пришла — гуляю.

По звездам — было уже далеко за полночь.

— Поздновато гуляешь.

— Баба — ночью живет, — ответила Лёска, садясь рядом со мной. — Ты чего же спишь? Али за сон деньги платят?

Достала из кармана горсть семян подсолнуха и, грызя их, спросила.

— Ты, будто, грамотей? Скажи-ка, где Оболак-город?

— Не знаю.

— Матерь Божия новоявилась там, кверху ручки пишется, а младенец Христос — в подоле у ней . . .

— Абалацк . . .

— Где он?

— На Урале, где-то, или в Сибири.

Облизав губы, она сказала:

— Пойти, что ли, туда? Далеко оно. А, пожалуй, надо идти.

— Зачем?

— Молиться, грешна больно. Все через вас, кобелей. Покурить есть?

Закурив — предупредила:

— Казакам — не говори, гляди, что курю, у нас не любят, когда баба дымит.

Очень красиво было ее строгое лицо, нарумяненное зимним воздухом, ярко блестели темные зрачки в опаловых овалах белков.

Золотая полоска сверкнула в небе — женщина перекрестилась, говоря:

— Упокой Господь душу! Вот и моя душа также падет. Тебе когда скушнее, — в светлые ночи, али в темные? Мне — в светлые.

Заплевала огонек окурка папиросы, бросила его и, зевнув, предложила:

— Давай — побалуемся?

А когда я отказался — добавила равнодушно:

— Со мной хорошо, все хвалят . . .

Я сказал несколько слов о ее отталкивающем бесстыдстве — ласково и мягко сказал. Не глядя на меня, она ответила спокойным, ровным голосом.

— Это — от скуки потеряла я стыд. Скушно, человек . . .

Страшно мне было слышать из уст ее слово «человек» — оно прозвучало необычно, не знакомо. А женщина, закинув голову, глядя в небо, говорила медленно:

— Я не виноватая; говорится: так сделал Бог, ценят бабу с ног. Не виноватая я в этом . . .

Посидев молча еще минуту, две, она встала, оглянулась.

— Пойду к начальнику . . .

И не спеша ушла по нитям путей, по рельсам, высеребренным луною, а я остался, подавленный словами:

— Скушно, человек . . .

Мне в ту пору была непонятна «скука» людей, чья жизнь рождается и проходит на широких плоскостях, в пустоте, ярко освещаемой то солнцем, то луною, на равнинах, где человек ясно видит свое ничтожество, где почти нет ничего, что укрепляло бы волю к жизни.

Вокруг меня мелькали люди, для которых все, чем я жил, было чуждо, каждый из них отбрасывал свое отражение в душу мне и в непрерывной смене этих отражений я чувствовал себя осужденным на муку понимать непонятное.

Вот предо мною буйно кружится Африкан Петровский, начальник станции, широкогрудый, длиннорукий богатырь, у него выпуклые, — рачьи — темные глаза, черная бородища, он весь как зверь оброс шерстью, а говорит — чужим голосом, тенором, и, когда сердится, то свистит носом, широко раздувая калмыцкие ноздри. Он — вор, заставляет весовщиков вскрывать вагоны с грузом портов Каспийского моря, весовщики таскают ему шелк, сласти, он продает краденое и устраивает по ночам на квартире у себя «Монашью жизнь». Он жесток, бьет по ушам и по зубам станционных сторожей, говорят до смерти забил свою жену.

Вне службы он наряжается в алую шелковую рубаху, бархатные шаровары, в татарские сапоги зеленого сафьяна, носит лиловую, шитую золотом тюбитейку на черной шапке курчавых волос; таков — он похож на трактирного певца, одетого в «боярский костюм».

К нему приходит помощник исправника Маслов, лысый, круглый, бритый, точно ксендз, с носом хищной птицы, и лисьими глазками распутной женщины; это очень злой, хитрый, лживый человек, в городе его прозвали «Актриса»; — является мыловар Тихон Степахин, рыжий, благообразный мужик, тяжелый как вол, полусонный, на его заводе рабочие отравляются чем-то и заживо гниют; его несколько раз судили и штрафовали за увечья рабочих; приходит кривой дьякон Ворошилов, пьяница, грязный, засаленный человечишко, превосходный гитарист и гармонист, рябое, скуластое лицо его в серых волосах, толстых как иглы ежа; у дьякона маленькие холеные руки женщины и красивый ярко-синий глаз — дьякона, так и зовут — «Краденый глаз».

Приходят бойкие девицы из села и казачки из станицы, иногда с ними — Лёска. В небольшой комнате, тесно заставленной диванами, садятся за тяжелый круглый стол, нагруженный копченой птицей, окороками, множеством всяких солений, мочеными яблоками и арбузами, квашенной вилковой капустой, среди всей этой благостыни блестит четверть водки; Петровский и друзья его почти молча, долго жуют, чавкают, сосут водку из серебряной «братской» стойки, — в нее входит четверть бутылки.

Наелись. Степахин рыгает, как башкир, крестится; дьякон,

нежно улыбаясь, настраивает гитару; переходят в большую комнату, где нет мебели, кроме полдюжины стульев и начинают петь.

Поют — дивно. Петровский — тенором, Степахин — густейшим, мягким басом, у дьякона — хороший баритон, Маслов умело вторит хозяину. Женщины тоже обладают хорошими голосами, особенно выдается чистотою звука контральто казачки Кубасовой, голос Лёски криклив, — дьякон часто грозит ей пальцем. Поют благоговейно, как пели бы во храме, и все строго смотрят друг на друга, только Степахин, широко расставив ноги, опустил глаза, и лицо у него удивленное, точно он не верит, что это из его горла бесконечно льется бархатная струя звука. Песни мучительно грустные, иногда торжественно поется что-либо церковное, чаще всего «Покаяние».

Белки́ рачьих глаз Петровского налиты кровью, он вытягивается всем телом как солдат в строю и орет:

— Дьякон — плясу! Тихон — делай! Живем.

— Начали! — отзывается дьякон, взмахивая гитарой и хитрейшим перебором струн, с ловкостью фокусника начинает играть трепака, а Степахин — пляшет. Деревянное лицо мыловара освещено мечтательной усмешкой, грузное тело его исполнено гибкой, звериной грации, он плавает по комнате легко, как сом в омуте, весь в красивых, ритмических судорогах и, бесшумно выписывая ногами затейливые фигуры, смотрит на всех взглядом счастливого человека. Пляшет он чарующе хорошо, и хотя казачка Кубасова, подвизгивая, заманчиво и ловко ходит вокруг него, Степахин затмевает ее невыразимой красотой ритмических движений мощного тела, — его пляска опьяняет всех.

Африкан Петровский озверел от радости, орет, свистит, взмахивает башкой, вытряхивая из глаз слезы, дьякон, перестав играть, обнимает Степахина, целует и, задыхаясь, бормочет:

— Тихон! Богослужебно . . . Голубчик! Все . . . все простится! . . .

А Маслов кружится около них и кричит:

— Тихон! Царь! Талант! Убийца!

Эти люди выпили две четверти водки, но только теперь они хмелеют, и мне кажется, что это — опьянение от радости, от

взаимных ласк и похвал. Женщины тоже охмелели, глаза их жадно горят, на щеках жаркий румянец, они обмахиваются платочками и возбуждены как застоявшиеся лошади, которых вывели из темной конюшни на широкий двор, на свет и тепло весеннего дня. Лёска, полуоткрыв рот, дышет тяжело, смотрит на Степахина сердито, влажными глазами и, покачиваясь на стуле, шаркает по полу подошвами башмаков.

За окнами свистит и воет ветер, в трубе печи гудит, белые крылья шаркают по стеклам окон, — Степахин, отирая пестрым платком потное лицо, говорит тихо и виновато:

— Из-за плясок этих, в хороших людях никакого уважения нету ко мне . . .

Петровский яростно обкладывает хороших людей многословной, затейливой матерщиной. Женщины фальшиво взвизгивают, желая показать, что им стыдно, а сочетания зазорных слов победно обнаруживают прелестную гибкость русского языка.

Снова играет дьякон, а Петровский пляшет, бурно, удало, с треском, с грохотом и криками, как будто разрывая и ломая что-то невидимо стесняющее его; пляшет Лёска; как безумный, неумело прыгает Маслов. Топот, свист, визг, непрерывное мелькание пестрых юбок и, отчеканивая каблуками дробь, Петровский свирепо, мстительно орет:

— Эх — ма! Пропадаю—у!

Слышно, как он скрипит зубами. В этом исступленном веселье нет смеха, нет легкой, окрыленной радости, поднимающей человека над землей, это — почти религиозный восторг; он напоминает радения хлыстов, пляски дервишей в Закавказье. В этом вихре тел — сокрушительная силища, и безысходное метание ее кажется мне близким отчаянию. Все эти люди — талантливы, каждый по своему, жутко талантливы; они опьяняют друг друга исступленной любовью к песне, пляске, к телу женщины, к победоносной красоте движения и звука; все, что они делают, похоже на богослужение дикарей.

Петровский снимает меня с дежурства для участия в «Монашьем житье», потому что я много знаю хороших песен, не плохо умею «сказывать» их и могу, не пьянея, глотать множество неприятной мне водки.

— Пешков — валяй! — орет он. Он орет даже когда обнимает женщин, ревет зверем, это его потребность.

Становлюсь к стене и «валяю». Нарочито выбирая трогательные и красивые, я «сказываю» песни, стараясь обнажить красоту слова и чувства, скрытую в них. И подчиняюсь силе их неизбывной тоски, близкой моей душе, враждебно отрицаемой разумом.

— Господи! — взывает дьякон, хватаясь за голову; его маленькие, нежные ладони совершенно тонут в космах полуседых волос. Степахин смотрит на меня изумленно и, кажется, с завистью, лицо его вздрагивает неприятно. Петровский так стиснул зубы, что скулы его выступили желваками. А Маслов, посадив Кубасову на колени себе, забыл о ней и глядит в пол, как больная собака.

Не понимаю, чего мне надо от этих людей, но иногда думалось, что если насытить их песнями до полноты душ, — тогда они как-то изменятся, обнаружат себя более понятными мне. Вот они, восхищаясь, обнимают, целуют меня, дьякон плачет.

— Разбойник, — говорит мне Маслов, гладя руку мою, Степахин молча целует меня.

— Пей, все равно пропадаешь! — ревет Петровский, а Лёска, размахивая руками, говорит:

— Влюбилася я в него, при всех говорю — влюбилася, даже ноги трясутся . . .

А через минуту они ненасытно требуют еще чего-то.

Знаю я, что они люди негодные, но — они религиозно поклоняются красоте, служат ей, до самозабвения, упиваются ядом ее и способны убить себя ради ее.

Из этого противоречия возникает облако мутной тоски и душит меня, а у них исступление восторга восходит до высшей точки своей, но — все песни уже спеты, пляски сплясаны.

— Раздевай баб, — орет Петровский.

Раздевал всегда Степахин, он делал это не торопясь, аккуратно развязывая тесемки, расстегивая крючки и деловито складывая в угол кофты, юбки, рубахи.

Рассматривали прекрасное тело Лёски, осторожно трогали ее вызывающие груди, стройные ноги, великолепный живот, ходили вокруг женщин изумленно охая и хвалили тело их также восторженно, как песню, пляску. Потом снова шли к столу в маленькую комнату, ели, пили и — начиналось неописуемое, кошмарное.

Животная сила этих людей не удивляла меня, быки и жеребцы сильнее. Но было жутко наблюдать нечто враждебное в их отношении к женщинам, красотою которых они только что почти благоговейно восхищались. В их сладострастии я чувствовал примесь изощренной мести и казалось, что эта месть возникает из отчаяния, из невозможности опустошить себя, освободить от чего-то, что угнетало и уродовало их.

Помню ошеломивший меня крик Степахина: он увидал отражение свое в зеркале, его красное лицо побурело, посинело, глаза исступленно выкатились, он забормотал:

— Братцы — глядите-ка — Господи!

И — взревел: —

— У меня — не человечья рожа — глядите! Не человечья же, — братцы!

Схватил бутылку и швырнул в зеркало.

— Вот тебе, дьяволово рыло, на!

Он был не пьян, хотя и много выпил, — когда дьякон стал успокаивать его, он разумно говорил:

— Отстань, отец . . . Я же знаю, — не человечьей жизнью живу. Али я человек? У меня вместо души чорт медвежий, ну, отстань! Ничего не сделать с этим . . .

В каждом из них жило — ворочалось — что-то темное, страшное. Женщины взвизгивали от боли их укусов и щипков, но принимали жестокость как неизбежное, даже как приятное, а Лёска нарочно раздражала Петровского задорными возгласами:

— Ну, еще! Ну-ка, ущипни, ну?

Кошачьи зрачки ее расширялись и в эти минуты было в ней что-то похожее на мученицу с картинки. Я боялся, что Петровский убьет ее.

Однажды, на рассвете, идя с нею от начальника, я спросил: зачем она позволяет мучить себя, издеваться над собою?

— Так он же сам себя мучает. Они все так. Дьякон-то кусается, а сам плачет.

— Отчего это?

— Дьякон — от старости, сил нет. А другие — Африкан со Степахиным, — тебе не понять, отчего. А я и знаю, да сказать не умею. Знаю я — много, а говорить не могу, покамест слова соберу, — мысли разбегутся, а когда мысли дома — нету слов.

Она, должно быть, действительно, что-то понимала в этом буйстве сил, — помню, весенней ночью, она горько плакала, говоря:

— Жалко мне тебя, пропадешь как птица на пожаре, в дыму. Ушел бы лучше куда в другое место. Ой, всех жалко мне . . .

И нежными словами матери, с бесстрашной мудростью человека, который заглянул глубоко в тьму души и печально испугался тьмы, она долго рассказывала мне страшное и бесстыдное.

Теперь мне кажется, что предо мною разыгрывалась тяжелая драма борьбы двух начал — животного и человеческого: человек пытается сразу и навсегда удовлетворить животное в себе, освободиться от его ненасытных требований, а оно, разрастаясь в нем, все более порабощает его.

А в ту пору эти буйные праздники плоти возбуждали во мне отвращение и тоску, смешанные с жалостью к людям, особенно жалко было женщин. Но, изнывая в тоске, я не хотел отказаться от участия в безумствах «монашьей жизни», — говоря высоким стилем, я страдал тогда «фанатизмом знания», меня пленил и вел за собою «фанатик знания — Сатана».

— «Все надо знать, все надо понять», — сурово сквозь зубы говорил мне М. А. Ромась, посасывая трубку, дымно плевал и следил, как голубые струйки дыма путаются в серых волосах его бороды.

— «Не подобает жить без оправдания, это значило бы — живете бессмысленно. Так что — привыкайте заглядывать во все щели и ямы, может, там, где-то и затискана потребная вам истина. Живите безбоязненно, не бегая от неприятного и страшного, — неприятно, страшно, потому что непонятно. Вот что!»

Я и заглядывал всюду, не щадя себя и так узнал многое, чего мне лично лучше бы не знать, но о чем рассказать людям — необходимо, ибо это — их жизнь трудная, грязная драма борьбы животного в человеке, который стремится к победе над стихиею в себе и вне себя.

Если в мире существует нечто поистине священное и великое, так это только непрерывно растущий человек, — ценный даже тогда, когда он ненавистен мне.

Впрочем, — внимательно вникнув в игру жизни, я разучился ненавидеть и не потому, что это трудно — ненависть очень

легко дается, — а потому что это бесполезно и даже унизительно, ибо — в конце концов ненавидишь нечто свое собственное.

Да, философия, особенно не моральная, — скучное дело, но когда душа намозолена жизнью до крови, и горько плачет от неисчерпаемой любви к «великолепному пустяку» человеку, невольно начинаешь философствовать, ибо — хочется утешить себя.

Прожив на станции Добринка три или четыре месяца, я почувствовал что больше — не могу, потому что кроме исступленных радений у Петровского, меня начала деспотически угнетать кухарка его, Маремьяна, женщина сорока шести лет и ростом два аршина десять вершков; взвешенная в багажной на весах «Фербэнкс», она показала шесть пудов тринадцать фунтов. На ее медном, луноподобном лице сердито сверкали круглые, зелененькие глазки, напоминая окись меди, под левым помещалась бородавка, он всегда подозрительно хмурился. Была она грамотна, с наслаждением читала жития великомучеников и всею силой обширнейшего сердца своего ненавидела императоров Диоклетиана и Деция.

— Нарвались бы они на меня, я-б им зенки-то выдрала!

Но свирепость, обращенная в далекое прошлое, не мешала ей рабски трепетать пред «Актрисой» Масловым. В часы пьяных ужинов она служила ему особенно благоговейно, заглядывая в его лживые глаза взглядом счастливой собаки. Иногда он, притворяясь пьяным, ложился на пол, бил себя в грудь и стонал:

— Плохо мне, плохо-о . . .

Она испуганно хватала его на руки и, как ребенка, уносила куда-то в кухню к себе.

Его звали — Мартын, но она часто, должно быть со страха пред ним, путала имя его с именем хозяина и называла:

— Мартыкан.

Тогда он, вскакивая с пола, безобразно визжал:

— Что-о? Как?

Прижав руки к животу, Маремьяна кланялась ему в пояс и просила хриплым от испуга голосом:

— Прости, Христа ради . . .

Он еще более пугал ее свистящим, тонким визгом, — тогда огромная баба молча, виновато мигала глазами, из них выска-

кивали мутно-зеленые слезинки. Все хохотали, а Маслов, бодая ее головою в живот, ласково говорил:

— Ну, — иди, чучело! Иди, нянька . . .

И когда она осторожно уходила, рассказывал, не без гордости:

— Буйвол, а сердце — необыкновенной нежности . . .

В начале дней нашего знакомства Маремьяна и ко мне относилась добродушно и ласково, как мать, но однажды я сказал ей что-то порицающее ее рабью покорность «Актрисе». Она даже отшатнулась от меня, точно я ее кипятком ошпарил. Зеленые шарики ее глаз налились кровью, побурели, грузно присев на скамью, задыхаясь в злом возмущении, качаясь всем телом, она бормотала:

— Ма-мальчишко, — да ты что это? Это — про него, ты? Эдаким-то словом? Да — я тебя . . . он тебя . . . тебя надо на мельнице смолоть! Ты — с ума-ли сошел? Он — святе святого, а ты . . . ты — кто?

И крикнула, неожиданно густо:

— Отравить тебя, волчья душа! Уйди!

Я был опрокинут этим взрывом изумленной злобы и, несмотря на юность мою, почувствовал, что грубо коснулся чего-то поистине священного или очень наболевшего. Но — как я мог догадаться, что эта масса жира и мяса, размещенная на огромных костях, носит в себе нечто неприкосновенное и столь дорогое для нее? Так учила меня жизнь понимать равноценность людей, уважать тайно живущее в них, учила осторожней, бережливее относиться к ним.

После этого Маремьяна, люто возненавидев меня, возложила на плечи мои множество обязанностей по хозяйству начальника станции. Сменяясь с дежурства, после бессонной ночи, я должен был колоть и таскать дрова на кухню и в комнаты, чистить медную посуду, топить печи, ухаживать за лошадью Петровского и делать еще многое, что поглощало почти половину моего дня, не оставляя времени для книг и для сна. Женщина откровенно грозила мне:

— Затираню до того, что на Кавказ сбежишь!

«Кавказ требует привычки», — вспоминал я изречение Баринова, написал начальству в Борисоглебск прошение, в котором — стихами — изобразил Маремьянино тиранство. Про-

шение имело успех: вскоре меня перевели на товарную станцию Борисоглебска, поручив мне хранение брезентов, мешков и починку их.

Там я познакомился с обширной группой интеллигентов. Почти все они были «неблагонадежны», изведали тюрьму и ссылку, они много читали, знали иностранные языки, все это — исключенные студенты, семинаристы, статистики, офицер флота, двое офицеров армии.

Эту группу — человек шестьдесят собрал в городах Волги некто М. Е. Ададуров, делец, предложивший Правлению Грязе-Царицынской дороги искоренить силами таких людей невероятное воровство грузов. Они горячо взялись за это дело, разоблачали плутни начальников станций, весовщиков, кондукторов, рабочих и хвастались друг перед другом удачной ловлей воров. Мне казалось, что все они могли бы и должны делать что-то иное, более отвечающее их достоинству, способностям, прошлому, — я тогда еще неясно понимал, что в России запрещено «сеять разумное, доброе, вечное».

Я шел по середине между первобытными людьми города и «культуртрегерами» своеобразного типа, и мне было хорошо видно несоединимое различие этих групп.

Весь город, конечно, знал, что «ададуровцы» — «политики, из тех, которых вешают» и, зорко следя за работой этих людей, ненавидел, боялся их. Жутко было подмечать злые, трусливомстительные взгляды обывателей; они ненавидели «ададуровцев» и за страх, как личных врагов своих, и за совесть, как врагов «веры и царя».

Мой знакомый токарь Павел Крюков, сидя со мною в кабаке за бутылкою пива, громко рассуждал:

— Как можно допускать к делу этаких людей? Их надо гнать на необитаемые острова, в Робинзоны их отдать! А — того лучше — перевешать! Два года тому назад, вешали их в Питере.

Крюков был человек весьма начитанный, увлекался географией и стихами Жуковского, имел штук двадцать хороших книг и, среди них, «Процесс I-го марта». Таинственно давая мне эту книгу он сказал:

«Вот, почитай, каковы они! Берегись, гляди, — ни за грош погубят.

Так рассуждал не один он, разумеется.

Я познакомился с литератором Старостиным-Маненковым — он служил в канцелярии товарного отдела Грязе-Царицынской дороги.

Среднего роста, полный, Старостин напоминал скопца безволосым пухлым лицом и бесцветными мертвыми глазами; тяжелая походка, неуверенные движения усиливали это сходство. Его дряблое тело являлось вместилищем разнообразных болезней, мнительность усиливала и обостряла их. Он непрерывно охал, кряхтел, кашлял и плевал по всем направлениям, в ящик из-под макарон, служивший ему для рваной бумаги, в горшки цветов на подоконниках, в пепельницу и просто на пол, к двери. Понатужится, плюнет, посмотрит на результат и, сокрушенно покачивая лысоватой головой, скажет:

— Плохо!

Вечерами, в своей маленькой комнатке, с кумачными занавесками на окнах, горшками фуксий и гераний на подоконниках, с иконой мучеников Кирика и Улиты в углу, он, сидя за столом, тяжело нагруженным ворохами исписанной бумаги, пил маленькими рюмочками водку, закусывал репчатым луком и жаловался, тонко взвизгивая:

— Глеб Успенский глумится над мужиком, а я пишу кровью сердца! Ты, — читающий человек, — ну скажи мне: где, в чем, какая разница между Успенским и Лейкиным? Однако — его печатают в лучших журналах, а — я . . .

Рассказы Старостина печатались в провинциальных газетах, но один или два были помещены, кажется, в журнале «Дело»; Старостин любил, чтоб ему напоминали об этом.

Я — напоминал.

— Много-ли? — печально, но уже не так жалобно восклицал он. — Много-ли это, когда я . . .

Он сполз со стула на пол, полез на четвереньках под широкую кровать и, вытащив оттуда большой узел, завязанный в серую шаль, хлопнул по узлу ладонью, поднял облако пыли, закричал, задыхаясь:

— Вот — все готово! Соком сердца написано! Да-да! Кр-ровью . . .

Лицо его багровело, глаза наливались пьяной слезой.

Но, однажды, трезвый, он прочитал мне только что написанный им рассказ о мужике, который, во время пожара, спас от

гибели в огне любимую лошадь станового пристава, а пристав, за час до этого подвига, выбил герою мужику два зуба за кражу шкворня. Мужик сильно ожегся геройствуя, его отправили в больницу.

Прочитал Старостин эту трогательную историю и радостно заплакал, забормотал восхищенно:

— Как это хорошо, как задушевно написано! Д-да, брат, д-да! Учись, вникай в душу . . .

Рассказ очень не понравился мне, но — я тоже едва не заплакал, видя радость автора; его искреннее чувство, также искренно волновало и меня.

Но — отчего же плакал этот неприятно смешной человек? Я попросил его дать мне рукопись и дома еще раз прочитал ее. Нет, — рассказ был написан слащаво и нарочито жалобно, как пишутся фальшивые прошения «несчастных страдальцев» добрым и богатым вдовам. А, всетаки, — чем же вызваны искренние слезы автора и эта детская радость его?

— Не нравится мне рассказ, — сознался я Старостину.

Любовно складывая страницы рукописи, он вздохнул:

— Груб ты! И — непонятлив.

— Что вас трогает в нем?

— Душа! — сердито крикнул он. — Душа в нем сияет!

Покричав на меня, сколько ему нравилось, он выпил водки и внушительно заговорил:

— Учись! Вот — стихи пишешь ты, это глупо. Этого — не надо. Надсоном ты не будешь, у тебя не та закваска, у тебя — сердца нет, ты человек грубый. Помни: на стихах Пушкин погубил свой недюжинный талант. Проза, — вот настоящая литература, святая, честная проза!

Он сам служил для меня олицетворением этой святой прозы, а густой чад ее уже и тогда душил меня.

У Старостина была любовница, его квартирная хозяйка, женщина с полупудовыми грудями и задом, который не помещался на стуле. В день ее имянин, Старостин торжественно поднес ей широкое, плетеное кресло, это очень тронуло женщину. Трижды поцеловав возлюбленного в губы, она сказала, обращаясь ко мне:

— Вот, молодой юноша, учитесь у старших, как надо ублажать даму!

Старостин стоял рядом с нею, счастливо улыбался и дергал пальцами свои серые уши, мягкие, как у собаки.

Был яркий день конца марта, на окнах обильно цвели фуксии, в комнату вливался весенний лепет вешних вод, — в комнате стоял густой запах горячего пирога, мыла и табаку.

Юность и малограмотность не мешали мне тревожно чувствовать скрытые в «святой честной прозе» возможности тяжких и пошлых драм.

Мечтая о каких-то великих подвигах, о ярких радостях жизни, я охранял мешки, брезенты, щиты, шпалы и дрова от расхищения казаками ближайшей станции. Я читал Гейне и Шекспира, а по ночам, бывало, вдруг, вспомнив о действительности, тихонько гниющей вокруг, часами сидел или лежал ничего не понимая, точно оглушенный ударом палки по голове.

В городе, насквозь пропитанном запахами сала, мыла, гнилого мяса, городской голова приглашал духовенство служить молебны о изгнании чертей из колодца, на дворе у него.

Учитель городского училища порол по субботам в бане свою жену; иногда она вырывалась от него и, нагая, толстая, бегала по саду, он же гонялся на нею с прутьями в руках.

Соседи учителя приглашали знакомых смотреть на этот спектакль сквозь щели забора.

Я тоже ходил смотреть — на публику; подрался с кем-то и едва не попал в полицию. Один из обывателей уговаривал меня:

— Ну, чего ты разгорячился? Ведь на этакую штуку всякому интересно взглянуть! Такой случай и в Москве не покажут.

Железно-дорожный конторщик, у которого я нанимал угол за рубль в месяц, искренно убеждал меня, что все евреи не только мошенники, но еще и двуполые. Я спорил с ним и вот ночью, он, в сопровождении жены и ее брата, подошел к моей койке, желая освидетельствовать: не еврей ли я? Нужно было вывихнуть ему руку и разбить лицо его брату, чтобы отвязаться от них.

Кухарка исправника подмешивала в лепешки свою менструальную кровь и кормила ими моего знакомого машиниста, чтобы возбудить у него нежное к ней чувство. Подруга кухарки рассказала машинисту о страшном колдовстве, — бедняга

испугался, пришел к доктору и заявил, что у него в животе что-то возится, хрюкает. Доктор высмеял его, а он, придя домой, залез в погреб и там повесился.

Я рассказывал о всех этих и подобных им событиях «ададуровцам», — они относились к ним, как к забавным анекдотам, и весело хохотали, к моему удивлению.

Рассказывая, я искал об'яснения фактов, но не находил об'яснения. Повести мои оценивались как смешные или скверные анекдоты и чаще всего слушатели утешительно говорили мне:

— Не обращайте внимания на этих людей, просто, — они с жиру бесятся!

Но я видел, что хотя они живут только для того, чтоб есть и любовнее всего занимаются накоплением запасов разнообразной пищи, как будто ожидая всемирного голода, однако — это они командуют жизнью, они грязно и тесно лепят ее.

После всего, что я видел, жизнь хороших, умных интеллигентов казалась мне скучной, бесцветной, она тянулась как бы в стороне от полуумной, темной суеты, которая создавала липкий быт бесконечных будней. Чем более внимательно наблюдал я, тем более неловко и тревожно чувствовал себя. Мне казалось, что интеллигенты не сознают своего одиночества в маленьком, грязном городе, где все люди чужды, враждебны им, не хотят ничего знать о Михайловском, Спенсере и ни мало не интересуются вопросом о том, насколько значительна роль личности в историческом процессе?

На вечеринках интеллигенты осторожно ухаживали за какими-то серенькими женщинами, две из них, — сестры, — были удивительно похожи на летучих мышей. Коренастый, колченогий Мазин, бывший офицер флота, увлекаясь Шопенгауэром, красноречиво и восторженно говорил о «метафизике любви», «инстинкте рода», когда он немножко картаво произносил эти слова, летучие мыши, поджимая ноги, опускали черненькие глазки, плотно кутались в свои крылатые серенькие тальмочки, как будто опасаясь, что слова философа могут обнажить их тела.

И вскоре Мазин получил от брата летучих мышей, крупного чиновника Правления дороги, такую записку:

«Если Вы, сударь, не перестанете в присутствии моих сестер разговаривать о метафизиках любви, то я вам, во первых —

морду побью, а во вторых — подам жалобу на вас Начальнику дороги».

Присматривался я ко всему этому, прислушивался и вспоминал ночи у Петровского, где, обнаженно до глубины своей, разыгрывалась буйная и темная драма инстинкта и, ослепляя разум, показывала безумные, отчаянные игры любви. Полудикие люди, воры и пьяницы возвышались до экстаза, великолепно и умело распевая красивые, сердечные песни своего народа, а «философы», «радикалы», «народники» нескладно пели ноющие, пошленькие стишки: «Не осенний, мелкий дождичек», «Там, где тинный Булак» или:

«Коперник целый век трудился,
«Чтоб доказать земли вращенье,
«Дурак!..»

У меня не хватало ни разума, ни воображения, никаких сил, чтоб соединить эти два мира, раз'единенные глубокой трещиной взаимного отчуждения.

Вот. и в этот час, когда я пишу о том, что было более тридцати лет тому назад, пишу и ясно вижу пред собою тех и этих людей, я чувствую полное бессилие нарисовать словами фигуры близоруких книжников в очках и пенснэ, в брюках «на выпуск», в разнообразных пиджаках и однообразно пестрых мантиях книжных слов. И это не потому, что одни грубы, угловаты, их легко взять, а другие гладко вылощены утюгами книг, нет, здесь, на мой взгляд, дана глубокая, почти племенная, во всяком случае — внутренняя разобщенность[1]).

За окнами, в темноте разорванной огнями станции, с железным грохотом ползают тяжелые, красноглазые змеи поездов, ходят, качая разными фонарями, шарообразные фигуры смазчиков, кондукторов. Стекла окон опахивает дым, пар, и когда свистят локомотивы, стекла откликаются тихим, ноющим зву-

[1]) Тревожное ощущение духовной оторванности интеллигенции — как разумного начала, — от народной стихии всю жизнь, более или менее настойчиво преследовало меня. В литературной работе моей я неоднократно касался этой темы, ею вызваны рассказы «Мой спутник» и другие. Постепенно это ощущение перерождалось в предчувствие катастрофы. В 1905 году, сидя в Петропавловской крепости, я пытался разработать эту же тему в неудачной пьесе «Дети солнца». Если разрыв воли и разума является тяжкой драмой жизни индивидуума, — в жизни народа этот разрыв — трагедия.

ком. Там, в ночи, тяжело идет жизнь ничем не связанная с буйным радением о красоте, замкнутом в этой комнате.

На одной стороне бессмысленно и безысходно мечется сила инстинкта, на другой, — бьется обескрыленной птицей разум, заперт в грязной клетке быта. Я думаю, что ни в одной стране земли творческие силы жизни не оторваны так далеко друг от друга, как это случилось у нас на Руси. Когда я, почти со страхом, рассказывал о ночных радениях у Петровского, я, порою, чувствовал скрытую зависть людей «культуры» к радостям жизни дикарей и нередко мне казалось, что утехи Петровского осуждаются не по существу, а — внешне, формально, из чувства «приличия».

Только П. Е. Баженов сказал, глубоко вздыхая:

— Ф-фа! Как это жутко!

И подумав, покусав бороду, добавил:

— Я бы среди них пропал, как бык в трясине. Чем сильнее движения — тем скорее засасывает трясина. Да. Я понимаю, что влечет к ним, таких, как вы — мы живем пресной жизнью, не празднично и мелко. — А там — почти эпос, эпическая жизнь. Знаете, — этот Петровский давно уже под судом, но — у него есть «сильная рука» в Правлении. Недавно у него был обыск по новому делу: кража чая из вагона. Он вынул из стола бумагу и сказал, подавая ее следователю: «Здесь честно записано все, что я украл».

Нахмурясь, Баженов задумчиво прикрыл глаза, закинул руки свои за шею, помолчал, потом усмехнулся, говоря:

— Честно — украл. Только русский человек может сказать так, уверяю вас! Мы, кажется, и в самом деле призваны соединять несоединимое. Страшно веселимся, жестоко любим . . . И так далее, в этом духе . . .

Встав со стула, он потянулся, широко развел руки и заключил:

— А, всетаки, — хороший народ мы, русские! Оттого, должно быть, и несчастны сверх меры . . .

Баженов был один из немногих людей, которые вызывали у меня чувство глубокой симпатии и сердечного уважения. Томский семинарист, он, после долгих хлопот поступил в Киевский университет, но со второго курса его исключили за «неблагонадежность» и несколько месяцев он сидел в тюрьме. Волоса-

тый, похожий на переодетого священника, он двигался с ос то рожностью силача и это придавало его крепкой, высокой фигуре барственную важность, необычную в семинаристе. Обладал необыкновенно мягким голосом, но не имел слуха и относился к музыке почти враждебно, говоря:

— Она зовет в хаос.

С его широкого, рябого лица в темной окладистой бороде смотрели ласково прищуренные, серые глаза. Что-то снисходительно умное чувствовал я в его отношении ко мне и ко всем людям. Он хорошо рассказывал мне историю развития христианства, увлекательно говорил о сектах первых веков, помогал мне читать «Историю индуктивных наук» Уэвелля. Беседуя, он бесшумно и легко расхаживал по комнате, засунув руки в карманы брюк и, подняв брови, резко кивал головою, — единственный жест, которым он подчеркивал наиболее значительные места своей речи. Но порою, среди фразы, не кончив ее, он задумывался, прикусив губами волосы бороды, почесывая мизинцем высокий, изрытый оспой лоб и долго стоял безмолвно. Эти моменты всегда, почему-то, смутно тревожили меня. Однажды я спросил: о чем он думает?

— Страшно много разума истрачено бесполезно, страшно много! — тихо сказал он. — И — какого разума!

Он часто и убедительно говорил о красоте и силе мысли:

— В конце концов, батя мой, все решает разум, — он, именно и есть тот рычаг, который, со временем, перевернет весь мир.

— А — точка опоры? — спросил я.

— Народ, — убежденно ответил он тряхнув головою. — В частности — вы, ваш мозг!

Я очень любил его, сердечно верил ему.

Тихим вечером, лежа с ним в степи я рассказал ему как говорил полицейский Никифорыч о жалости и толстовец о Евангелии и Дарвине.

Внимательно и молча выслушав меня, он ответил:

— Дарвин, — это та истина, которую я не люблю, как не любил бы ад, будь он истиной. Но, видите ли, батя мой, — чем меньше трения в частях машины, тем лучше она работает. В жизни — наоборот: чем сильнее трение, тем быстрее идет жизнь к своей цели, к большей разумности. Разумность же это и есть справедливость, гармония интересов. Рассуждая

последовательно, — необходимо признать борьбу благим законом жизни. И тут ваш полицейский прав: если жизнь — борьба, жалость — неуместна.

Он задумался, лежа на спине, глядя в небо широко открытыми глазами.

Солнце, опустясь в облако, раскалило его и расплавилось в нем, превратясь в огромный костер красного огня, красные лучи легли на степь, на седые стебли прошлогодних былинок брызнуло розоватой росою. Запахи весенних трав и цветов стали сильнее, пьяней.

Баженов вдруг сел, закурил папиросу, но тотчас же отбросил ее, хмуро говоря:

— Я думаю, что гуманизм уже опоздал войти в жизнь, — опоздал тысячи на две лет. Ну, мне надо итти в город, — идете?

В конце мая меня перевели весовщиком на станцию Крутую, Волго-Донской ветки, а в июне я получил из Борисоглебска от приятеля переплетчика письмо, в котором переплетчик извещал меня, что Баженов застрелился в поле, у кладбища: В письме была вложена записка Баженова:

«Миша, продай мои вещи и заплати хозяевам квартиры 7 р. 30 к. А книги Уэвелля переплети и пошли на Крутую, Пешкову, Максимычу, «башке». Спенсера — тоже ему. Остальные — тебе. Пачку книг на латинском и греческом пошли в Киев, адрес вложен в них. Прощай, друг. Б.»

Прочитав записку я испытал оглушающий удар в сердце. Трудно было помириться с уходом из жизни такого, казалось, крепкого духом, трезвого человека.

Что убило его?

Мне вспоминалось, что, однажды, в трактире, угощая меня пивом и немного захмелев, он, вдруг, сказал мне:

— Знаете, Максимыч, какая самая лучшая песня в этом мире?

Наклонился через стол и, глядя в глаза мне глазами доброго медведя, тихонько мягким баском, пропел печально:

— Quand j'etais petit —
Je n'étais pas grand;
J'allais a l'école
Comme les petits enfants . . .

Пропел — и глаза его стали влажными.

— Прелестная песенка, честное слово! Такая простота в ней и, знаете, такая смешная печаль . . .

Он перевел слова песни на русский язык, я не понял чем восхищается в ней почти до слез, этот волосатый, большой, умный человек . . .

После — я видел не мало людей, убитых «смешной печалью»...

...Через несколько месяцев жизнь, сурово, но заботливо воспитывая меня, напомнила мне о Петровском, заставив испытать одно из наиболее тяжких впечатлений бытия моего.

В Москве, в грязном трактире, где-то около Сухаревой башни, за стол против меня, сел длинный, тощий человек в очках; его костлявое лицо, остренькая бородка, жидкие — в стрелку — усы, напомнили мне Дон-Кихота рисунков Дорэ. На нем висел синий пиджак, явно чужой; нанковые серые штаны с заплатами на коленях были смешно коротки; на одной ноге — резиновая галоша, на другой — кожаный опорок сапога. Покручивая кончики усов, острые как шилья, он голодно осмотрел меня, мутными глазами, встал, прилепив очки к седым бровям, и, пошатываясь, разводя руками как слепой, подошел ко мне:

— Присяжный поверенный Гладков!

Грязными пальцами расписался с росчерком в воздухе и повторил внушительно:

— Алексей Гладков!

Говоря хрипло, он вертел шеей, точно его душила петля, невидимая мне.

Конечно, он оказался человеком благороднейшего сердца, пострадал за бескорыстное служение правде и низвергнут врагами ее «на дно жизни». Ныне он стоит во главе ордена «Преподобной Аквавиты», занимается перепиской ролей для театров, защитою угнетенных невинностей, а также «стрельбою по сердцам и карманам нищелюбивых купчих».

— Россиянин, а баба его — особенно — любит страдать: страдание — или рассказ о нем — суть духовная горчица, без коей ничто не лезет в сердце, ожиревшее от разнообразной и обильной пищи телесной.

Я уже немало наблюдал людей этого типа, привык относиться к ним недоверчиво, но — всегда с напряженным интересом; в человеке, который упрямо лезет куда-то вверх, вполне разумен интерес к людям, свалившимся оттуда. А затем, так назы-

ваемые «павшие люди», темные грешники часто бывают духовно богаче и даже красивее признанных праведников, у которых я еще в юности моей замечал нечто общее с восковыми фигурами паноптикумов.

Часа через два я лежал рядом с Гладковым на нарах мрачной ночлежки. Закинув руки под голову, вытянув жердеподобное тело свое, адвокат утешал меня афоризмами волчьей злости, бородка его торчала чертовым хвостиком, вздрагивая, когда он кашлял; был он трогательно жалок в бессильной злобе своей и весь, как ёж, украсился иглами едких слов.

Над нами висел сводчатый потолок подвала, по стене текла рыжая, пахучая мокреть, с пола вздымался кислый запах гниющей земли, в сумраке бредили и храпели тела, окутанные лохмотьями. Окно, с толстой железной решеткой, смотрело в яму, выложенную кирпичем, в яме сидел кот; должно быть, больной, он страдальчески мяукал. На нарах, под окном сидел по турецки уродливо толстый волосатый человечище, чинил штаны при свете огарка и хрипуче гудел:

— Взбранной воеводѣ побѣдительная,
Но яко избавшеся от бѣд,
Благодарственная восписуемъ Ти
Раби Твои, Богородице!

Споет, звучно шлепнет толстыми губами и — начинает тянуть сначала тот же гимн.

— Пимен Маслов — химик, гениальный человек, — сказал о нем Гладков. В этой яме валялось еще несколько гениальных людей, между ними «знаменитейший» пианист Брагин, маленький и ловкий, точно юноша, а в густой шапке волнистых его волос — седые пряди и под глазами — синие мешки. Меня поразила двойственность его лица: печальной красоте женских глаз непримиримо противоречила кривая усмешка, губы у него были тонкие, злая усмешка эта казалась приклеенной к ним неподвижно, навсегда.

Утром Гладков сказал мне:

— Сейчас мы будем посвящать в кавалеры «Аквавита» новообращенного, вот, — этого! Погляди, церемония замечательная.

Он указал мне молодого, кудрявого человека в одной рубахе без штанов; человек был давно и дб синя пьян, голубые зрачки его глаз бессмысленно застыли в кровавой сетке белков.

Он сидел на нарах, перед ним стоял толстый химик, раскрашивая щеки его фуксином, брови и усы жженой пробкой.

— Не надо, — бормотал кудрявый, болтая голыми ногами, а Гладков говорил мне закручивая усы.

— Купеческий сын, студиозус, пятую неделю пьет с нами. Все пропил — деньги, одежду . . .

Явилась круглая, жирная баба с провалившейся или перебитой переносицей и наглыми глазами; она принесла сверток рогож и бросила его на нары, сказав:

— Облачение — готово.

— Одеваться! — крикнул Гладков.

Пятеро угрюмых людей призрачно двигались в темноте подвала, серые, лохматые; «пианист» старательно раздувал угли в кастрюле. Люди изредка, ворчливо, перекидывались краткими словами:

— Двигай . . .

— Тише!

— Стой, куда?

Выдвинули нару на середину подвала. Маслов напялил на себя ризу из рогожи, надел картонную камилавку, а Гладков облачился дьяконом.

Четверо людей схватили кудрявого студента за ноги и за руки.

— Не надо — пожалуйста! — вздохнул он, когда его уложили на нару.

— Хор готов? — крикнул адвокат, размахивая кастрюлей и окуривая лежащего; в ней трещали угли, из нее поднимался синий дым тлеющих листьев веника, человек, лежа на нарах, морщился, кашлял, закрыв глаза, сучил ногами как муха, стуча пятками по доскам.

— Вонме-ем! — возгласил Гладков; одетый в рогожи, он стал каррикатурно страшен; как-то особенно резко крутил шеей, вздергивал голову и кривил лицо.

Маслов, стоя в ногах студента, гнусовато нараспев заговорил:

— Братие! Возопиим ко Диаволу о упокоении свежепогибшего во пьянстве и распутстве Вавилонстем болярина Иакова, да примет его Сатана с честию и радостию и да погрузит в мерзость адову во веки веко-ов!

Пятеро лохматых оборванцев, тесной грудой стоя с правой

стороны нар, мрачно запели кощунственную песнь; хриплые голоса звучали в каменной яме глухо, подземно. Роль регента исполнял Брагин, красиво дирижируя правой рукой, предостерегающе подняв левую.

Трудно было удивить меня бесстыдством, — слишком много видел я его в разных формах. Но эти люди пели нечто невыразимо мерзкое, обнаружив сочетанием бесстыдных слов и образов поистине дьяволову фантазию, безграничную извращенность. Ни прежде, ни после этого, до сего дня, я не слышал ничего извращенного более утонченно и отчаянно. Пять глоток изливали на человека поток ядовитой грязи, они делали это без увлечения, а как нечто обязательное, они не забавлялись, а — служили, и ясно было: служат не впервые, церемония уничтожения человека развивалась гладко, связно, торжественно, как в церкви.

Подавленный, я слушал все более затейливо гнусные возгласы Гладкова, циническое чтение «химика», глухой рев хора и смотрел на человека, которого заживо отпевали, служа над ним кощунственную литургию.

Сложив руки на груди, он шевелил губами, неслышно бормотал и кричал что-то, моргал вытаращенными глазами, глупо улыбался и вдруг испуганно вздрагивал, пытаясь соскочить с нар, — хористы молча прижимали его к доскам.

Вероятно, «церемония» показалась бы менее отвратительной, если бы грязные призраки смотрели на нее как на забаву, игру, если бы они смеялись, хотя бы смехом циников, смехом отчаяния «бывших людей», изуродованных жизнью, горько обиженных ею. Но — они относились к своему делу с угрюмой напряженностью убийц, они вели себя как жрецы, принося жертву духу болезненно и мстительно разнузданного воображения.

Обессиленный, онемев, я чувствовал, что страшная тяжесть давит меня, погружая в невылазную трясину, что эти призрачные люди отпевают; хоронят и меня. Помню, что я глупо и растерянно улыбался и был момент, когда я хотел просить:

— Перестаньте, это нехорошо, это — страшно и вовсе не шутка!

Особенно резал ухо и сердце тонкий голос «пианиста»; пианист надорванно выл, закрыв глаза, закинув голову, выгнув

кадык; его вой, покрывая хриплые голоса других певцов, плавал в дымном сумраке, и как-то особенно сладострастно обнажал мерзость слов. Меня мучило звериное желание завыть, зарычать.

— Могила! — крикнул Гладков, взмахивая кадилом-кастрюлей.

Хор во всю силу грянул:

— Гряди, гряди,
Гроб, гроб . . .

и — вошла баба с перебитым носом, совершенно голая, она шла приплясывая, ее дряблое тело вздрагивало, груди кошелями опускались на живот, живот свисал жирным мешком на толстые ноги в лиловых пятнах шрамов и язв, в синих узлах вен.

Маслов встретил ее непристойным жестом, дьякон Гладков повторил этот жест, баба, взвизгивая гадости, приложилась к ним поочередно; хористы подняли ее за руки, за ноги и положили на нару рядом с отпетым.

— О-о, не надо, — крикнул он визгливо, попытался спустить ноги с нар, но его прижали к доскам и под новый, почти плясовой, а все-таки мрачный мотив отвратительной песенки, баба, наклонясь над ним, встряхивая грязно-серыми кошелями грудей, начала мастурбировать его.

Тут я вспомнил «Королеву Марго» — лучшее видение всей жизни моей, — в груди жарко взорвалось что-то, я бросился на эти остатки людей и стал бить их по мордам.

. . . К вечеру я нашел себя под насыпью железнодорожного пути, на груде шпал, пальцы рук моих были разбиты, сочились кровью, левый глаз закрыла опухоль. С неба, грязного как земля, сыпался осенний дождь, я срывал пучки мокрой жухлой травы и, вытирая ею лицо, руки, думал о том, что было показано мне.

Я был здоров, обладал недюжинной силой, мог девять раз, не спеша, истово перекреститься двухпудовой гирей, легко носил по два пятипудовых мешка муки, но — в этот час я чувствовал себя совершенно обездушенным, бессильным, как больной ребенок. Мне хотелось плакать от горькой обиды. Я жадно искал причаститься той красоте жизни, которой так соблазнительно дышат книги, хотел радостно полюбоваться чем-то, что укрепило бы меня. Уже наступило для меня время испытать радости

жизни, ибо все чаще я ощущал приливы и толчки злобы, — темной, жаркой волною она поднималась в груди, ослепляя разум, сила ее превращала острое мое внимание к людям в брезгливое, тяжелое презрение к ним.

Было мучительно обидно, — почему я встречаю так много грязного и жалкого, тяжко глупого или странного?

Было страшно вспоминать «церемонию» в ночлежке, сверлил ухо крик Гладкова:

— Могила! —

И расплывалось перед глазами отвратительное тело бабы, — куча злой и похотливой мерзости, в которую хотели зарыть живого человека.

И тут вспомнив разнузданность «монашьей жизни» Петровского, я почувствовал, как невинно бешенство плоти здоровых людей, сравнительно с безумием гнили, неутратившей внешний облик человека.

Там было некое идолопоклонство красоте; там полудикие люди молились от избытка сил, считая этот избыток грехом и карою, может быть бунтуя, в призрачной надежде на свободу, боясь «погубить душу» в ненасытной жажде тела.

Здесь — бессилие поникло до мрачного отчаяния, до гнуснейшего, мстительного осмеяния того инстинкта, который непрерывно, победоносно засевает опустошаемые смертью поля жизни и является возбудителем всей красоты мира; здесь свински подрывали самый корень жизни, отравляя гноем больного воображения таинственно прекрасные истоки ее.

Но — что же это за жизнь там, наверху, откуда люди падают так страшно низко?

«Время Короленко».

. . . Вышел я из Царицына в мае на заре ветренного, тусклого дня, рассчитывая быть в Нижнем к сентябрю.

Часть пути, по ночам, ехал с кондукторами товарных на площадках тормазных вагонов, большую часть шагал пешком, зарабатывая на хлеб, по станицам, деревням, по монастырям. Гулял в Донской Области, в Тамбовской и Рязанской губерниях, из Рязани, по Оке, свернул на Москву, зашел в Хамовники к Л. Н. Толстому. София Андреевна сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую Лавру. Я встретил ее на дворе, у дверей сарая, тесно набитого пачками книг, она отвела меня в кухню, ласково угостила стаканом кофе с булкой, и, между прочим, сообщила мне, что к Льву Николаевичу шляется очень много «темных бездельников», и что Россия, вообще, изобилует бездельниками. Я уже сам видел это и, не кривя душою, вежливо признал наблюдение умной женщины совершенно правильным.

Был конец сентября, землю щедро кропили осенние дожди, по щетинистым полям гулял холодный ветерок, леса были ярко раскрашены; очень красивое время года, но несколько неудобное для путешествия пешком, а особенно — в худых сапогах.

На станции Москва-Товарная я уговорил проводника пустить меня в скотский вагон, в нем восемь черкасских быков ехали в Нижний, на бойню. Пятеро из них вели себя вполне солидно, но остальным я, почему-то, не понравился, и они всю дорогу старались причинять мне различные неприятности; когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали.

А проводник, человечишко на кривых ногах, маленький, пьяный, с обкусанными усами, возложил на меня обязанность

кормить спутников моих; на остановках он совал в дверь вагона охапки сена, приказывая мне:

— Угощай!

Тридцать четыре часа провел я с быками, наивно думая, что никогда уже не встречу в жизни моей скотов более грубых, чем эти.

В котомке у меня лежала тетрадь стихов и превосходная поэма в прозе и стихах «Песнь старого дуба».

Я никогда не болел самонадеянностью, да еще, в то время, чувствовал себя малограмотным, но я искренно верил, что мною написана замечательная вещь: я затискал в нее все, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой, нелегкой жизни. И был убежден: что грамотное человечество, прочитав мою поэму, благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, правда повести моей сотрясет сердца всех, живущих на земле, и тотчас же после этого взыграет честная, чистая, веселая жизнь — кроме и больше этого я ничего не желал.

В Нижнем жил Н. Е. Каронин; я изредка заходил к нему, но не решался показать мой философический труд. Больной, Николай Ельпидифорович, вызывал у меня острое чувство сострадания, и я всем существом моим ощущал, что этот человек мучительно, упорно задумался над чем-то.

— Может быть и так, — говорил он, выдувая из ноздрей густейшие струи дыма папиросы, снова глубоко вдыхал дым и, усмехаясь, оканчивал:

— А может быть и не так . . .

Речи его вызывали у меня тягостное недоумение, мне казалось, что этот полузамученный человек имел право и должен был говорить как-то иначе, более определенно. Все это — и моя сердечная симпатия к нему — внушали мне некую осторожность в отношении к Петропавловскому, как будто я опасался, что-то задеть в нем, сделать ему больно.

Я видел его в Казани, где он остановился на несколько дней, возвращаясь из ссылки. Он вызвал у меня памятное впечатление человека, который всю свою жизнь попадал не туда, куда ему хотелось.

— В сущности, напрасно я сюда приехал!

Эти слова встретили меня, когда я вошел в сумрачную комнату одноэтажного флигеля на грязном дворе трактира ломовых из-

возчиков. Среди комнаты стоял высокий сутулый человек, задумчиво глядя на циферблат больших карманных часов. В пальцах другой руки густо дымилась папироса. Потом он начал шагать длинными ногами из угла в угол, кратко отвечая на вопросы хозяина квартиры С. Г. Сомова.

Его близорукие, детски ясные глаза смотрели утомленно и озабоченно. На скулах и подбородке — светлые шерстинки разной длины; на угловатом черепе — прямые давно не мытые волосы дьякона. Засунув левую руку в карман измятых брюк, он звенел там медью, а в правой руке держал папиросу, помахивая ею, как дирижер палочкою. Дышал дымом. Сухо покашливал и все смотрел на часы, уныло причмокивая. Движения плохо слаженного костлявого тела показывали, что человек этот мучительно устал. Постепенно в комнату влезло десятка полтора мрачных гимназистов, студентов, булочник и стекольщик.

Каронин приглушенным голосом чахоточного рассказывал о жизни в ссылке, о настроении политических ссыльных. Говорил он, ни на кого не глядя, словно беседуя с самим собою, часто делал короткие паузы и, сидя на подоконнике, беспомощно оглядывался. Над головою его была открыта форточка, в комнату врывался холодный воздух, насыщенный запахом навоза и лошадиной мочи. Волосы на голове Каронина шевелились, он приглаживал их длинными пальцами сухой костистой руки и отвечал на вопросы.

— Допустимо, но я не уверен, что это именно так! Не знаю. Не умею сказать.

Каронин не понравился юношам. Они уже привыкли слушать людей, которые все знали и все умели сказать. И осторожность его повести вызвала у них ироническую оценку.

— Пуганая ворона.

Но товарищу моему, стекольщику Анатолию, показалось, что честную вдумчивость взгляда детских глаз Каронина и его частое «не знаю» можно об'яснить иной боязнью: человек, знающий жизнь, боится ввести в заблуждение мрачных кутят, сказав им больше, чем может искренно сказать. Люди непосредственного опыта, я и Анатолий, отнеслись к людям книг несколько недоверчиво; мы хорошо знали гимназистов и видели, что в этот час они притворяются серьезными больше чем всегда.

Около полуночи Каронин вдруг замолчал, вышел на середину

комнаты и, стоя в облаке дыма, крепко погладил лицо свое ладонями рук, точно умываясь невидимой водой. Потом вытащил часы, откуда-то из-за пояса, поднес их к носу и торопливо сказал:

— Так — вот. Я должен идти. У меня дочь больна. Очень. Прощайте!

Крепко пожав горячими пальцами протянутые ему руки он, покачиваясь, ушел, а мы начали «междуусобную брань», — обязательное и неизбежное последствие всех таких бесед.

В Нижнем Каронин трепетно наблюдал за толстовским движением среди интеллигенции, помогал устраивать колонию в Симбирской губернии; быструю гибель этой затеи он описал в рассказе «Борская Колония».

— Попробуйте и вы «сесть на землю», — советовал он мне. — Может быть это подойдет вам?

Но — убийственные опыты любителей самоистязания не привлекали меня, к тому же в Москве я видел одного из главных основоположников «толстовства» М. Новоселова, организатора Тверской и Смоленской артелей, а затем — сотрудника «Православного обозрения» и яростного врага Л. Н. Толстого.

Это был человек большого роста, видимо, значительной физической силы, он явно рисовался крайней упрощенностью, даже грубостью мысли и поведения, за этой грубостью я почувствовал плохо скрытую злость честолюбца. Он резко отрицал «культуру»; это мне очень не понравилось; культура, та область, куда я подвигался с великим трудом, сквозь множество препятствий.

Я встретил его в квартире нечаевца Орлова, переводчика Леопарди и Флобера, одного из организаторов прекрасного издания «Пантеон Литературы»; умный, широко образованный старик, целый вечер сокрушительно высмеивал «толстовство», которым я, в ту пору, несколько увлекался, видя в нем, однако, не что иное, как только возможность для меня временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пережитое мною.

. . . Я знал, конечно, что в Нижнем живет В. Г. Короленко, читал его «Сон Макара»; рассказ этот, почему-то, не понравился мне.

Однажды, в дождливый день, знакомый, с которым я шел по улице, сказал, скосив глаза в сторону:

— Короленко!

По панели твердо шагал коренастый, широкоплечий человек в мохнатом пальто, из-под мокрого зонтика я видел курчавую бороду. Человек этот напомнил мне тамбовских прасолов, а у меня были солидные основания относиться враждебно к людям этого племени и я не ощутил желания познакомиться с Короленко. Не возникло это желание и после совета, данного мне жандармским генералом, — одна из забавных шуток странной русской жизни.

Меня арестовали и посадили в одну из четырех башен нижегородской тюрьмы. В круглой моей камере не было ничего интересного, кроме надписи, выцарапанной на двери, окованной железом. Надпись гласила:

«Все живое — из клетки.»

Я долго соображал, что хотел сказать человек этими словами? И не зная, что это аксиома биологии, решил принять ее как изречение юмориста.

Меня отвели на допрос к самому генералу Познанскому, и вот, он, хлопая багровой, опухшей рукою по бумагам, отобранным у меня, говорит, всхрапывая:

— Вы тут пишете стихи и вообще . . . Ну, и пишите! Хорошие стихи — приятно читать . . .

Мне тоже стало приятно знать, что генералу доступны некоторые истины. Я не думал, что эпитет «хорошие» относится именно к моим стихам. Но в то время далеко не все интеллигенты могли бы согласиться с афоризмом жандарма о стихах.

И. И. Сверденцов, литератор, гвардейский офицер, бывший ссыльный, прекрасно рассказывал о народовольцах, особенно восторженно о Вере Фигнер, печатал мрачные повести в «толстых» журналах, но когда я прочитал ему стихи Фофанова:

— Что ты сказала мне — я не расслышал,
Только сказала ты нежное что-то . . . —

Он сердито зафыркал:

— Болтовня! Она, может быть, спросила его: который час? А он, дубина, обрадовался . . .

Генерал, — грузный, в серой тужурке с оторванными пуговицами, в серых, замызганных штанах с лампасами. Его опухшее лицо в седых волосах, густо расписано багровыми жилками, мокрые, мутные глаза смотрят печально, устало. Он показался

мне заброшенным, жалким, но симпатичным, напомнив породистого пса, которому, от старости, тяжело и скучно лаять.

Из книги речей А. Ф. Кони я знал тяжелую драму, пережитую этим генералом, знал, что дочь его — талантливая пианистка, а сам он — морфинист. Он был организатором и председателем «Технического Общества» в Нижнем, оспаривал, на заседаниях этого Общества, значение кустарных промыслов и — открыл на главной улице города магазин для продажи кустарных изделий губернии; он посылал в Петербург доносы на земцев, Короленко и на губернатора Баранова, который сам любил писать доносы.

Все вокруг генерала было неряшливо: на кожаном диване, за спиною его, валялось измятое постельное белье, из-под дивана выглядывал грязный сапог и кусок алебастра весом пуда в два. На косяках окон, в клетках, прыгали чижи, щеглята, снигири, большой стол в углу кабинета загроможден физическими аппаратами, предо мной на столе лежала толстая книга на французском языке «Теория Электричества» и томик Сеченова «Рефлексы головного мозга».

Старик непрерывно курил коротенькие толстые папиросы и обильный дым их неприятно тревожил меня, внушая смешную мысль, что табак напитан морфием.

— Какой вы революционер? — брюзгливо говорил он. — Вы — не еврей, не поляк. Вот, — вы пишете, ну, что-же? Вот, когда я выпущу вас, — покажите ваши рукописи Короленко, — знакомы с ним? Нет? Это — серьезный писатель, не хуже Тургенева . . .

От генерала истекал какой-то тяжелый, душный запах. Говорить ему не хотелось, он вытягивал слово за словом лениво, с напряжением. Было скучно. Я рассматривал небольшую витрину рядом со столом, в ней были разложены рядами металлические кружки.

Генерал, заметив мои косые взгляды, тяжело приподнялся, спросил:

— Интересно?

Подвинул кресло свое к витрине и открыв ее, он заговорил:

— Это — медали в память исторических событий и лиц. Вот — взятие Бастилии, а это — в память победы Нельсона под Абукиром, — историю Франции знаете? Это — об'единение швей-

царских союзов, а это знаменитый Гальвани — смотрите, как прекрасно сделано. Это — Кювье, — значительно хуже!

На его багровом носу дрожало пенснэ, влажные глаза оживились, он брал медали толстыми пальцами так осторожно, как будто это была не бронза, а стекло.

— Прекрасное искусство! — ворчал он и, смешно оттопыривая губы, сдувал пыль с медалей.

Я искренно восхищался красотой кружечков металла и видел, что старик нежно любит их.

Закрыв — со вздохом — витрину, он спросил меня: люблю ли я певчих птиц? Ну, в этой области я знал, вероятно, больше, чем три генерала. И между нами завязалась оживленнейшая беседа о птицах.

Старик уже вызвал жандарма, чтобы отправить меня в тюрьму, у косяка двери вытянулся солидный вахмистр, а его начальник все еще говорил сожалительно чмокая:

— Вот, знаете, не могу достать щура! Замечательная птица! И, — вообще, — птицы прекрасный народ, правда? Ну, отправляйтесь с Богом . . . Да, — вспомнил он, — вам учиться надо, ну, там — писать, а не это . . .

Через несколько дней я снова сидел перед генералом, он сердито бормотал.

— Конечно, вы знали, куда уехал Сомов и надо было сказать это мне, я бы сразу выпустил вас. И — не надо было издеваться над офицером, который делал обыск у вас . . . И — вообще . . .

Но вдруг, — наклоняясь ко мне, он добродушно спросил:

— А теперь вы не ловите птиц?

. . . . Лет через десять после забавного знакомства с генералом, я, арестованный, сидел в Нижегородском жандармском управлении, ожидая допроса. Ко мне подошел молодой адьютант и спросил:

— Вы помните генерала Познанского? — Это мой отец. Он умер, в Томске. Он очень интересовался вашей судьбой, следил за вашими успехами в литературе и, нередко, говорил, что он первый почувствовал ваш талант. Не задолго до смерти он просил меня передать вам медали, которые нравились вам, — конечно, если вы пожелаете взять их . . .

Я был искренно тронут. Выйдя из тюрьмы взял медали и отдал их в Нижегородский музей.

. . . В солдаты меня не взяли; толстый, веселый доктор, несколько похожий на мясника, распоряжаясь точно боец быков на бойне, сказал осмотрев меня:

— Дырявый, пробито легкое насквозь! Притом — расширена вена на ноге. Не годен!

Это крайне огорчило меня.

Не задолго до призыва я познакомился с офицером-топографом — Пасхиным или Пасхаловым, не помню.

Участник боя под Кушкой, он интересно рисовал жизнь на границе Афганистана и весною должен был отправиться на Памир работать по определению границ России. Высокий, жилистый, нервозный, он очень искусно писал маслом маленькие, забавные картинки военного быта в духе Федотова. Я чувствовал в нем, что-то неслаженное, противоречивое, то, что именуют «ненормальным». Он уговаривал меня:

— Поступайте в топографическую команду, я возьму вас на Памиры! Вы увидите самое прекрасное на земле — пустыню! Горы — это хаос, пустыня — гармония!

И прищурив большие, серые, странно блуждающие глаза, понижая до шопота мягкий, ласкающий голос, он таинственно жужжал о красоте пустыни, а я слушал и меня, до немоты, изумляло: как можно столь обаятельно говорить о пустоте, о бескрайных песках, непоколебимом молчании, о зное и мучениях жажды?

— Ничего не значит, — сказал он, узнав, что меня не взяли в солдаты. — Пишите заявление, что желаете поступить добровольцем в команду топографов и обязуетесь сдать требуемые экзамены, — я вам все устрою!

Заявление написано, подано; с трепетом жду результата. Через несколько дней Пасхалов смущенно сказал мне:

— Оказывается, — вы политически неблагонадежны, тут ничего нельзя сделать!

И опустив глаза он тихо добавил:

— Жаль, что вы скрыли от меня это обстоятельство.

Я сказал, что для меня это «обстоятельство» тоже новость, но он, кажется, не поверил мне. Скоро он уехал из города, а на Святках я прочитал в Московской газете, что этот человек зарезался бритвой в бане.

. . . Жизнь моя шла путанно и трудно. Я работал в складе

пива, перекатывал в сыром подвале бочки с места на место, мыл и купорил бутылки. Это занимало весь мой день. Поступил в контору водочного завода, но в первый же день службы, на меня бросилась борзая собака жены управляющего завода, — я убил собаку ударом кулака по длинному черепу, и меня тотчас прогнали.

Однажды, в тяжелый день, я решил, наконец, показать мою поэму В. Г. Короленко. Трое суток играла снежная буря, улицы были загромождены сугробами, крыши домов — в пышных шапках снега, скворешки — в серебряных чепчиках, стекла окон затянуты кружевами, а в белесом небе сияло, ослепляя, жгуче холодное солнце.

Владимир Галактионович жил на окраине города во втором этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом, умело работал широкой лопатой коренастый человек в меховой шапке странной формы, с наушниками, в коротком, по колени, плохо сшитом тулупчике, в тяжелых вятских валенках.

Я полез сквозь сугроб на крыльцо.

— Вам кого?

— Короленко.

— Это я.

Из густой, курчавой бороды, богато украшенной инеем, на меня смотрели карие, хорошие глаза. Я не узнал его; встретив на улице, я не видел его лица. Опираясь на лопату, он, молча, выслушал мои об'яснения причин визита, потом прищурился, вспоминая.

— Знакомая фамилия. Это не о вас ли писал мне, года два тому назад, некто Ромась, Михайло Антонов? Так!

Входя на лестницу, он спросил:

— Не холодно вам? Очень легко одеты.

И — не громко, как будто беседуя сам с собою:

— Упрямый мужик Ромась! Умный хохол. Где он теперь?

В маленькой, угловой комнатке, окнами в сад, тесно заставленной двумя рабочими конторками, шкафами книг и тремя стульями, он, отирая платком мокрую бороду и перелистывая мою толстую рукопись, говорил:

— Почитаем! Странный у вас почерк, с виду — простой, четкий, а читается трудно.

Рукопись лежала на коленях у него, он искоса поглядывал на ее страницы, на меня — мне было неловко.

— Тут у вас написано — «зизгаг» это . . . очевидно, описка, такого слова нет, есть — зигзаг . . .

Маленькая пауза перед словом «описка» дала мне понять, что В. Г. Короленко — человек умеющий щадить самолюбие ближнего.

— Ромась писал мне, что мужики пытались порохом взорвать его, а потом подожгли, — да?

Он говорил и перелистывал рукопись.

— Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной неизбежности, вообще же лучше избегать их. Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли.

Это он говорил между прочим, все расспрашивая о Ромасе, о деревне.

— Какое суровое лицо у вас! — неожиданно сказал он и, улыбаясь, спросил: — Трудно живется?

Его мягкая речь значительно отличалась от грубовато окающего волжского говора, но я видел в нем странное сходство с волжским лоцманом, — оно было не только в его плотной, широкогрудой фигуре и зорком взгляде умных глаз, но и в благодушном спокойствии, которое так свойственно людям, наблюдающим жизнь, как движение по извилистому руслу реки среди скрытых мелей и камней.

— Вы часто допускаете грубые слова, — должно быть потому, что они кажутся вам сильными? Это — бывает.

Я сказал, что — знаю: грубость свойственна мне, но у меня не было ни времени обогатить себя мягкими словами и чувствами, ни места, где бы я мог сделать это.

Внимательно взглянув на меня он продолжал ласково:

— Вы пишете:

«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться».

«Раз это так» . . . Раз — так, — не годится! Это — неловкий, не красивый оборот речи. Раз так, раз этак, — вы слышите?

Я впервые слышал все это и хорошо чувствовал правду его замечаний.

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом» на развалинах храма.

— Место мало подходящее для такой позы и она не столько величественна, как неприлична, — сказал Короленко улыбаясь. Вот он нашел еще «описку», еще и еще. Я был раздавлен обилием их и, должно быть, покраснел, как раскаленный уголь. Заметив мое состояние Короленко, смеясь, рассказал мне о каких-то ошибках Глеба Успенского, это было великодушно, а я уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного — бежать от срама. Известно, что литераторы и актеры самолюбивы как пуделя.

Я ушел и несколько дней прожил в мрачном угнетении духа.

Я видел какого-то особенного писателя: он ничем не похож на расшатанного и сердечно милого Каронина, не говоря о смешном Старостине. В нем нет ничего общего с угрюмым Сведенцовым-Ивановичем, который говорил мне:

— Рассказ должен ударить читателя по душе как палкой, чтобы читатель чувствовал, какой он скот!

В этих словах было нечто сродное моему настроению. Короленко первый сказал мне веские человечьи слова о значении формы, о красоте фразы, я был удивлен простой, понятной правдой этих слов и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство — не легкое дело. Я сидел у него более двух часов, он много сказал мне, но — ни одного слова о сущности, о содержании моей поэмы. И я уже чувствовал, что ничего хорошего не услышу о ней.

Недели через две рыженький статистик Н. И. Дрягин, — милый и умный, принес мне рукопись и сообщил:

— Короленко думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что у вас есть способности, но надо писать с натуры, не философствуя. Потом — у вас есть юмор, хотя и грубоватый, но — это хорошо! А о стихах он сказал — это бред!

На обложке рукописи карандашом, острым почерком написано:

«По «Песне» трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие. Вл. Кор.»

О содержании рукописи — ни слова. Что же читал в ней этот странный человек?

Из рукописи вылетели два листка стихов. Одно стихотворение было озаглавлено «Голос из горы идущему вверх», другое «Беседа Чорта с колесом». Не помню, о чем именно беседовали чорт и колесо, — кажется о «круговращении» жизни, — не помню, что именно говорил «голос из горы». Я разорвал стихи и рукопись, сунул их в топившуюся печь, голландку, и, сидя на полу, размышлял: что значит писать о «пережитом»?

Все, написанное в поэме, я пережил . . .

И — стихи! Они случайно попали в рукопись. Они были маленькой тайной моей, я никому не показывал их, да и сам плохо понимал. Среди моих знакомых кожаные переводы Барыковой и Лихачева из Коппэ, Ришпэна, Т. Гуда и подобных поэтов ценились выше Пушкина, не говоря уже о мелодиях Фофанова. Королем поэзии считался Некрасов, молодежь восхищалась Надсоном, но зрелые люди и Надсона принимали — в лучшем случае — только снисходительно.

Меня считали серьезным человеком, солидные люди которых я искренно уважал, дважды в неделю беседовали со мною о значении кустарных промыслов, о «запросах народа и обязанностях интеллигенции», о гнилой заразе капитализма, который никогда — никогда! — не проникнет в мужицкую, социалистическую Русь.

И — вот, все теперь узнают, что я пишу какие-то бредовые стихи! Стало жалко людей, которые принуждены будут изменить свое доброе и серьезное отношение ко мне.

Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и, действительно, все время жизни в Нижнем — почти два года — ничего не писал. А иногда очень хотелось.

С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву все очищающему огню.

. . . В. Г. Короленко стоял в стороне от группы интеллигентов — «радикалов», среди которых я чувствовал себя, как чиж в семье мудрых воронов.

Писателем, наиболее любезным для этой среды был Н. Н. Златовратский, — о нем говорили: «Златовратский очищает душу и возвышает ее».

А один из наставников молодежи рекомендовал этого писателя так:

— Читайте Златовратского, я его лично знаю, это честный человек!

Глеба Успенского читали внимательно, хотя он подозревался в скептицизме, недопустимом по отношению к деревне. Читали Каронина, Мачтета, Засодимского, присматривались к Потапенко:

— Этот, кажется, ничего . . .

В почете был Мамин-Сибиряк, но говорили, что у него «неопределенная тенденция».

Тургенев, Достоевский, Л. Толстой были где-то далеко за пределами внимания. Религиозная проповедь Л. Н. Толстого оценивалась так:

— Дурит барин!

Короленко смущал моих знакомых; он был в ссылке, написал «Сон Макара» это, разумеется, очень выдвигало его. Но — в рассказах Короленко было нечто подозрительное, непривычное чувству и уму людей, плененных чтением житийной литературы о деревне и мужике.

— От ума пишет, — говорили о нем — от ума, а народ можно понять только душой.

Особенно возмутил прекрасный рассказ «Ночью», в нем заметили уклон автора в сторону «метафизики», а это было преступно. Даже кто-то из кружка В. Г. — кажется А. И. Богданович, — написал довольно злую и остроумную пародию на этот рассказ.

— Ч-чепуха! — немножко заикаясь, говорил С. Г. Сомов, человек не совсем нормальный, но однако, довольно влиятельный среди молодежи. — Оп-писание физиологического акта рождения, — дело специальной литер-ратуры и тараканы тут не причем! Он п-подражает Толстому, этот К-короленко.

Но имя Короленко уже звучало во всех кружках города. Он становился центральной фигурой культурной жизни и, как магнит, притягивая к себе внимание, симпатии и вражду людей.

— Ищет популярности, — говорили люди, не способные сказать ничего иного.

В то время было открыто серьезное воровство в местном дворянском банке; эта, весьма обычная, история имела весьма драматические последствия: главный виновник, провинциальный «лев и пожиратель сердец» умер в тюрьме, его жена, — отравилась соляной кислотой, растворив в ней медь; тотчас после

похорон на ее могиле застрелился человек, любивший ее, один за другим умерли еще двое привлеченных к следствию по делу банка, — был слух, что оба они тоже кончили самоубийством.

В. Г. печатал в «Волжском Вестнике» статьи о делах банка и его статьи совпали во времени с этими драмами. Чувствительные люди стали говорить, что Короленко «убивает людей корреспонденциями», а мой патрон А. И. Ланин горячо доказывал, что «в мире нет явлений, которые чужды художнику».

Известно, что клевета всего проще, поэтому люди, нищие духом, довольно щедро награждали Короленко разнообразной клеветой.

В эти застойные годы жизнь кружилась медленно, восходя по невидимой спирали к неведомой цели своей, и все заметнее становилась в этом кружении коренастая фигура человека, похожего на лоцмана. В суде слушается дело скопцов, — В. Г. сидит среди публики, зарисовывая в книжку полумертвые лица изуверов, его видишь в зале Земского собрания, за крестным ходом, всюду; нет ни одного заметного события, которое не привлекало бы спокойного внимания Короленко.

Около него крепко сплотилась значительная группа разнообразно недюжинных людей: Н. Ф. Анненский, человек острого и живого ума; С. Я. Елпатьевский, врач и беллетрист, обладатель неисчерпаемого сокровища любви к людям, добродушный и веселый; Ангел И. Богданович вдумчивый и едкий; «барин от революции» А. И. Иванчин-Писарев; А. А. Савельев, председатель Земской Управы; Апполон Карелин, автор самой краткой и красноречивой прокламации, из всех, мне известных; после 1-го марта 81-го года он расклеил по заборам Нижнего бумажку, содержавшую всего два слова: «Требуйте конституцию».

Кружок Короленко шутливо наименовался «Обществом Трезвых Философов»; иногда члены кружка читали интересные рефераты; я помню блестящий реферат Карелина о Сен-Жюсте и Елпатьевского о «новой поэзии», таковой, в то время, считалась поэзия Фофанова, Фруга, Коринфского, Медведского, Минского, Мережковского. К «трезвым» философам примыкали земские статистики И. И. Дрягин, Кисляков, М. А. Плотников, Константинов, Шмидт и еще несколько таких же серьезных исследователей русской деревни; — каждый из них оставил глубокий след в деле изучения путанной жизни крестьянства.

И каждый являлся центром небольшого кружка людей, которых эта таинственная жизнь глубоко интересовала, у каждого можно было кое-чему научиться. Лично для меня было очень полезно серьезное, лишенное всяческих прикрас, отношение к деревне. Таким образом влияние кружка Короленко распространялось очень широко, проникая даже в среду, почти недоступную культурным влияниям.

У меня был приятель, дворник крупного каспийского рыбопромышленника Маркова, Пимен Власьев, — обыкновенный, наскоро и незатейливо построенный, курносый русский мужик. Однажды, рассказывая мне о каких-то незаконных намерениях своего хозяина, он, таинственно понизив голос, сообщил:

— Он, — бы это дело сварганил, — да — Короленки боится! Тут, знаешь, прислали из Петербурга тайного человека, Короленкой зовется, иностранному королю племяш, за границей наняли, чтобы он, значит, присматривал за делами, — на губернатора-то не надеются. Короленка этот уж подсек дворян — слыхал?[1])

Пимен был человек безграмотный и великий мечтатель; он обладал какой-то необыкновенно радостной верой в Бога и уверенно ожидал в близком будущем конца «всякой лже».

— Ты, мил-друг, не тоскуй, скоро лже конец. Она сама себя топит, сама себя ест!

Когда он говорил это, его мутновато-серые глаза, странно синея, горели и сияли великой радостью, казалось, что вот, сейчас расправятся они, изольются потоками синих лучей.

Как-то в субботу помылись мы с ним в бане и пошли в трактир пить чай. Вдруг Пимен, глядя на меня милыми глазами, говорит:

— Постой-ка?

Рука его, державшая блюдечко чая задрожала, он поставил блюдечко на стол и, к чему-то прислушиваясь, перекрестился.

— Что ты, Пимен?

— А видишь, мил-друг — сей минут божья думка душе моей коснулась, — скоро, значит, Господь позовет меня на его работу...

[1]) Литератор С. Елеонский утверждал в печати, что легенда о В. Г. Короленко, как «аглицком королевиче» суть «интеллигентная легенда». В свое время я писал ему, что он не прав в этом; легенда возникла в Нижнем Новгороде, создателем ее я считаю Пимена Власьева. Легенда эта была очень распространена в Нижегородском краю. В 1903 г. я слышал ее во Владикавказе от Балахнинского плотника.

— Полно-ка, ты такой здоровяга!

— Молчок! — сказал он важно и радостно. — Не говори — знаю!

В четверг его убила лошадь.

. . . Не преувеличивая можно сказать, что десятилетие 86—96 было для Нижняго «эпохой Короленко»; впрочем, это уже не однажды сказано в печати.

Один из оригиналов города, водочный заводчик А. А. Зарубин «неосторожный» банкрот, а в конце дней — убежденный толстовец и проповедник трезвости говорил мне в 1901 году:

— Еще во время Короленки догадался я, что не ладно живу...

Он несколько опоздал наладить свою жизнь; «во время Короленки» ему было уже за пятьдесят лет, но все-таки он перестроил или, вернее, разрушил ее сразу, по русски.

— Хворал я, лежу, — рассказывал он мне, — приходит племянник Семен, тот — знаешь? — в ссылке который, он тогда студент был. «Желаете, говорит, книжку почитаю?» И, вот, братец, ты мой, прочитал он «Сон Макаров», я даже заплакал, до того хорошо! Ведь как человек человека пожалеть может! С этого часа и повернуло меня. Позвал кума, приятеля, вот, говорю, сукин ты сын, — прочитай-ко! Тот прочитал, — богохульство, говорит. Рассердился я, сказал ему, подлецу, всю правду, разругались навсегда. А у него векселя мои были и начал он меня подсиживать, ну мне, уж, все равно, дела я свои забросил, душа отказалась от них. Об'явили меня банкротом, почти три года в остроге сидел. Сижу думаю: будет дурить! Выпустили из острога, я, сейчас, к нему, Короленке, — учи! А его в городе нету. Ну, я ко Льву нашему, к Толстому. «Вот как», — говорю. «Очень хорошо», говорит «вполне правильно!» Так-то брат! А Горинов откуда ума достал? Тоже у Короленко; и много других знаю, которые его душой жили. Хоть мы, купечество, и за высокими заборами живем, а и до нас правда доходит!

Я высоко ценю рассказы такого рода, они об'ясняют какими, иногда, путями проникает дух культуры в быт и нравы диких племен.

Зарубин был седобородый, грузный старик, с маленькими, мутными глазами на пухлом розовом лице; зрачки — темные и казались странно выпуклыми точно бусины. Было что-то упря-

мое в его глазах. Он создал себе репутацию «защитника законности» копейкой; с какого-то обывателя полиция неправильно взыскала копейку, Зарубин обжаловал действие полиции; в двух судебных инстанциях жалобу признали «неосновательной», тогда старик поехал в Петербург, в Сенат, добился указа о запрещении взимать с обывателей копейку, торжествуя возвратился в Нижний и принес указ в редакцию «Нижегородского Листка», предлагая опубликовать. Но по распоряжению губернатора цензор вычеркнул указ из гранок. Зарубин отправился к губернатору и спросил его:

— Ты, — он всем говорил «ты» — ты, что же друг, законы не признаешь?

Указ напечатали.

Он ходил по улицам города в длинной черной поддевке, в нелепой шляпе на серебряных волосах и в кожаных сапогах с бархатными голенищами. Таскал под мышкой толстый портфель с уставом «Общества трезвости», с массой обывательских жалоб и прошений, уговаривал извозчиков не ругаться математическими словами, вмешивался во все уличные скандалы, особенно наблюдал за поведением городовых и называл свою деятельность «преследованием правды».

Приехал в Нижний знаменитый тогда священник Иоанн Кронштадский; у Архиерейской церкви собралась огромная толпа почитателей отца Иоанна, — Зарубин подошел и спросил:

— Что случилось?

— Ивана Кронштадского ждут.

— Артиста императорских церквей? Дураки . . .

Его не обидели; какой-то верующий мещанин взял его за рукав, отвел в сторону и внушительно попросил:

— Уйди скорее, Христа ради, Александр Александрович!

Мелкие обыватели относились к нему с почтительным любопытством и хотя некоторые называли «фокусником», но — большинство, считая старика своим защитником, ожидало от него каких-то чудес, все равно каких, только бы неприятных городским властям.

В 1901 году меня посадили в тюрьму. Зарубин, тогда еще не знакомый со мною, пришел к прокурору Утину и потребовал свидания.

— Вы — родственник арестованного? — спросил прокурор.

— И не видал никогда, не знаю — каков.

— Вы не имеете права на свидание.

— А — ты Евангелие читал? Там что сказано? Как же это, любезный, людьми вы правите, а Евангелие не знаете?

Но у прокурора было свое Евангелие и, опираясь на него, он отказал старику в его странной просьбе.

Разумеется, Зарубин был одним из тех — нередких — русских людей, которые, пройдя путанную жизнь, под конец ее, когда терять уже нечего, становятся «праволюбами», являясь, в сущности, только чудаками.

И, конечно, гораздо значительнее по смыслу, — да и по результатам — слова другого нижегородского купца Н. А. Бугрова. Миллионер, филантроп, старообрядец, и очень умный человек, он играл в Нижнем роль удельного князя. Однажды в лирическую минуту пожаловался:

— Не умен, не силен, не догадлив народ, мы, купечество! Еще не стряхнули с себя дворян, а уж другие на шею нам садятся, земщики эти ваши, земцы, Короленки — пастыри! Короленко — особо неприятный господин; с виду — простец, а везде его знать, везде проникает . . .

Этот отзыв я слышал уже весною 93-го года, возвратясь в Нижний после длительной прогулки по России и Кавказу. За это время — почти три года — значение В. Г. Короленко как общественного деятеля и художника еще более возросло. Его участие в борьбе с голодом, стойкая и успешная оппозиция взбалмошному губернатору, Баранову, «влияние на деятельность земства», — все это было широко известно. Кажется, уже вышла его книга «Голодный год».

Помню суждение о Короленке одного нижегородца, очень оригинального человека.

— Этот губернский предводитель оппозиции властям, в культурной стране организовал бы что-нибудь подобное «Армии спасения», или «Красного креста», — вообще нечто значительное, международное и культурное в истинном смысле этого понятия. А в милейших условиях русской жизни, он, наверняка, израсходует свою энергию по мелочам. Жаль, это очень ценный подарок судьбы нам, нищим. Оригинальнейшая, совершенно новая фигура, в прошлом нашем я не вижу подобной, точнее — равной!

— А что вы думаете о его литературном таланте?

— Думаю, что он не уверен в его силе и — напрасно! Он — типичный реформатор по всем качествам ума и чувства, но, кажется, это и мешает ему правильно оценить себя, как художника, хотя именно его качества реформатора должны были — в соединении с талантом — дать ему больше уверенности и смелости в самооценке. Я боюсь, что он сочтет себя литератором, «между прочим», а не «прежде всего» . . .

Это говорил один из героев романа Боборыкина «На ущербе», — человек распутный, пьяный, прекрасно образованный и очень умный. Мизантроп, он совершенно не умел говорить о людях хорошо или даже только снисходительно — тем ценнее было для меня его мнение о Короленко.

Но возвращаюсь к 89—90 годам.

Я не ходил к Владимиру Галактионовичу, ибо, — как уже сказано, — решительно отказался от попыток писать. Встречал я его только изредка мельком на улицах или в собраниях у знакомых, где он держался молчаливо, спокойно прислушиваясь к спорам. Его спокойствие волновало меня. Подо мною все колебалось, вокруг меня, я хорошо видал это, начиналось некоторое брожение. Все волновались, спорили, — на чем же стоит этот человек? Но я не решался подойти к нему и спросить:

— Почему вы спокойны?

У моих знакомых явились новые книги: толстые тома Редкина, еще более толстая «История социальных систем» Щеглова, «Капитал», книга Лохвицкого о конституциях, литографированные лекции В. О. Ключевского, Коркунова, Сергеевича.

Часть молодежи увлекалась железной логикой Маркса, большинство ее жадно читало роман Бурже «Ученик», Сенкевича «Без догмата», повесть Дедлова «Сашенька» и рассказы о «новых людях», — новым в этих людях было резко выраженное устремление к индивидуализму. Эта новенькая тенденция очень нравилась, и юношество стремительно вносило ее в практику жизни, высмеивая и жарко критикуя «обязанности интеллигенции» решать вопросы социального бытия.

Некоторые из новорожденных индивидуалистов находили опору для себя в детерминизме системы Маркса.

Ярославский семинарист А. Ф. Троицкий, — впоследствии

врач во Франции, в Орлеане — человек красноречивый, страстный спорщик, говорил:

— Историческая необходимость такая же мистика, как и учение церкви о предопределении, такая же угнетающая чепуха, как народная вера в судьбу. Материализм — банкротство разума, который не может обнять всего разнообразия явлений жизни и уродливо сводит их к одной, наиболее простой причине. Природе чуждо и враждебно упрощение, закон ее развития — от простого к сложному и сложнейшему. Потребность упрощать — наша детская болезнь, она свидетельствует только о том, что разум пока еще бессилен, не может гармонизировать всю сумму, весь хаос явлений.

Некоторые с удовольствием опирались на догматику эгоизма А. Смита, она вполне удовлетворяла их, и они становились «материалистами» в обыденном, вульгарном смысле понятия. Большинство их рассуждало, приблизительно, так просто:

— Если существует историческая необходимость, ведущая силою своей человечество по пути прогресса, — значит: дело обойдется и без нас!

И, сунув руки в карманы, они равнодушно посвистывали. Присутствуя на словесных битвах в качестве зрителей, они наблюдали как вороны, сидя на заборе, наблюдают яростный бой петухов. Порою — и все чаще — молодежь грубовато высмеивала «хранителей заветов героической эпохи». Мои симпатии были на стороне именно этих «хранителей», людей чудаковатых, но удивительно чистых. Они казались мне почти святыми в увлечении «народом», — об'ектом их любви, забот и подвигов. В них я видел нечто героикомическое, но меня увлекал их романтизм, точнее — социальный идеализм. Я видел, что они раскрашивают «народ» слишком нежными красками, я знал, что «народа», о котором они говорят — нет на земле; на ней терпеливо живет близоруко-хитрый, своекорыстный мужичек, подозрительно и враждебно поглядывая на все, что не касается его интересов; живет тупой, жуликоватый мещанин, насыщенный суевериями и предрассудками еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика, работает на земле волосатый, крепкий купец, неторопливо налаживая сытую, законно-зверячью жизнь.

В хаосе мнений противоречивых и все более остро враждебных, следя за борьбою чувства с разумом, в этих битвах, из которых

истина, казалась мне, должна была стремглав убегать или удаляться изученной, — в этом кипении идеи я не находил ничего «по душе» для меня.

Возвращаясь домой после этих бурь, я записывал мысли и афоризмы, наиболее поражавшие меня формой или содержанием, вспоминая жесты и позы ораторов, выражение лиц, блеск глаз и всегда меня несколько смущала и смешила радость, которую испытывал тот или другой из них, когда им удавалось нанести совопроснику хороший словесный удар, «закатить» ему «под душу». Было странно видеть, что о добре и красоте, о гуманизме и справедливости говорят, прибегая к хитростям эристики, не щадя самолюбия друг друга, часто с явным желанием оскорбить, с грубым раздражением, со злобою.

У меня не было той дисциплины или, вернее, техники мышления, которую дает школа, я накопил много материала требовавшего серьезной работы над ним, а для этой работы нужно было свободное время, чего я тоже не имел. Меня мучили противоречия между книгами, которым я почти непоколебимо верил и жизнью, которую я уже достаточно хорошо знал. Я понимал, что умнею, но чувствовал, что именно это чем-то портит меня; как небрежно груженное судно, я получил сильный крен на один борт. Чтобы не нарушать гармонии хора, я, обладая веселыми тенорами, старался — как многие — говорить суровым басом; это было тяжело и ставило меня в ложную позицию человека, который, желая отнестись ко всем окружающим любовно и бережно — относится неискренно к себе самому.

Так же, как в Казани, Борисоглебске, Царицыне, здесь я тоже испытывал недоумение и тревогу, наблюдая жизнь интеллигенции. Множество образованных людей жило трудной, полуголодной, унизительной жизнью, тратило ценные силы на добычу куска хлеба, а — жизнь вокруг так ужасающе бедна разумом. Это особенно смущало меня. Я видел, что все эти разнообразно хорошие люди — чужие в своей родной стране, они окружены средою, которая враждебна им, относится к ним подозрительно, насмешливо. А сама эта среда изгнивала в липком болоте окаянных, «идиотических» мелочей жизни.

Мне было снова не ясно: почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала

меня своею духовной нищетой, диковинной скукой, а особенно — равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу.

Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что можно назвать не обычным — добрым, бескорыстным, красивым, — до сего дня в моей памяти ярко вспыхивают эти искры счастья видеть человека — человеком. Но всетаки я был душевно голоден и одуряющий яд книг уж не насыщал меня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта и порою я кричал:

— Шире бери!

— Держи карман шире! — иронически ответил мне Н. Ф. Анненский, у которого всегда было в запасе меткое словечко.

К этому времени относится очень памятная мне беседа с В. Г. Короленко.

Летней ночью я сидел на «Откосе», высоком берегу Волги, откуда хорошо видно пустынные луга Заволжья и сквозь ветви деревьев — реку. Незаметно и неслышно на скамье, рядом со мною, очутился В. Г., я почувствовал его только тогда, когда он толкнул меня плечом, говоря.

— Однако, как вы замечтались. Я хотел шляпу снять с вас, да, подумал — испугаю!

Он жил далеко, на противоположном конце города. Было уже более двух часов ночи. Он, видимо, устал, сидел обнажив курчавую голову и отирая лицо платком.

— Поздно гуляете, — сказал он.

— И вы тоже.

— Да. Следовало сказать: гуляем! Как живете, что делаете?

После нескольких незначительных фраз, он спросил:

— Вы, говорят, занимаетесь в кружке Скворцова? Что это за человек?

П. Н. Скворцов был в то время одним из лучших знатоков теории Маркса, он не читал никаких книг кроме «Капитала» и гордился этим. Года за два до издания «Критических заметок» П. В. Струве, он читал в гостиной адвоката Щеглова статью, основные положения которой были те же, что и у Струве, но — хорошо помню — более резки по форме. Эта статья поставила Скворцова в положение еретика, что не помешало ему сгруппировать кружок молодежи; позднее многие из членов этого кружка играли весьма видную роль в строении с. д. партии. Он был по истине, человек «не от мира сего». Аскет, он зиму и лето гулял

в легком пальто, в худых башмаках, жил впроголодь, и, при этом, еще заботился о «сокращении потребностей» — питался, в течение нескольких недель, одним сахаром, с'едая его по три осьмых фунта в день, — не больше и не меньше. Этот опыт «рационального питания» вызвал у него общее истощение организма и серьезную болезнь почек.

Небольшого роста, он был весь какой-то серый, а светло голубые глаза улыбались улыбкой счастливца, познавшего истину в полноте недоступной никому, кроме него. Ко всем инако верующим он относился с легким пренебрежением, жалостливым, но не обидным. Курил толстые папиросы из дешевого табака, вставляя их в длинный, вершков десяти, бамбуковый мундштук, — он носил его за поясом брюк, точно кинжал.

Я наблюдал Павла Николаевича в табуне студентов, которые коллективно ухаживали за приезжей барышней, существом редкой красоты. Скворцов, соревнуя юным франтам, тоже кружился около барышни и был величественно нелеп со своим мундштуком, серый, в облаке душного, серого дыма. Стоя в углу, четко выделяясь на белом фоне изразцовой печи, он методически спокойно, тоном старообрядческого начетчика изрекал тяжелые слова отрицания поэзии, музыки, театра, танцев и непрерывно дымил на красавицу.

— Еще Сократ говорил, что развлечения — вредны! — неопровержимо доказывал он.

Его слушала изящная шатенка, в белой газовой кофточке и, кокетливо покачивая красивой ножкой, натянуто любезно смотрела на мудреца темными, чудесными глазами, — вероятно, тем взглядом, которым красавицы Афин смотрели на курносого Сократа; взгляд этот немо, но красноречиво спрашивал:

— Скоро ты перестанешь, скоро уйдешь?

Он доказал ей, что Короленко вреднейший идеалист и метафизик, что вся литература — он ее не читал — «пытается гальванизировать гнилой труп народничества». Доказал, и наконец, сунув мундштук за пояс, торжественно ушел, а барышня, проводив его, в изнеможении — и, конечно, красиво — бросилась на диван, возгласив жалобно:

— Господи, это же не человек, а — дурная погода!

В. Г. смеясь выслушал мой рассказ, помолчал, посмотрел на реку, прищурив глаза и негромко, дружески заговорил.

— Не спешите выбрать верования, я говорю — выбрать, потому что мне кажется теперь их не вырабатывают, а именно, — выбирают. Вот, быстро входит в моду материализм, соблазняя своей простотой. Он особенно привлекает тех, кому лень самостоятельно думать. Его охотно принимают франты, которым нравится все новое, хотя бы оно и не отвечало их натурам, вкусам, стремлениям . . .

Он говорил задумчиво, точно беседуя сам с собою, порою прерывая речь, и слушал, как где-то внизу, на берегу, фыркает пароотводная трубка, гудят сигналы на реке.

Говорил он о том, что всякая разумная попытка об'яснить явления жизни заслуживает внимания и уважения, но следует помнить, что «жизнь слагается из бесчисленных, странно спутанных кривых» и что «крайне трудно заключить ее в квадраты логических построений».

— Трудно привести даже в относительный порядок эти кривыя, взаимно пересекающиеся линии человеческих действий и отношений, — сказал он вздохнув и махая шляпой в лицо себе.

Мне нравилась простота его речи и мягкий вдумчивый тон. Но, по существу, всё, что он говорил о марксизме было уже — в других словах — знакомо мне. Когда он прервал речь, я торопливо спросил его: почему он такой ровный, спокойный?

Он надел шляпу, взглянул в лицо мне и, улыбаясь ответил:

— Я знаю, что мне нужно делать и убежден в полезности того, что делаю. А — почему вы спросили об этом?

Тогда я начал рассказывать ему о моих недоумениях и тревогах. Он отодвинулся от меня, наклонился — так ему было удобнее смотреть в лицо мне — и молча внимательно слушал.

Потом тихо сказал:

— В этом не мало верного! Вы наблюдаете хорошо . . .

И — усмехнулся, положив руку на плечо мне.

— Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили о вас, как о человеке иного характера . . . веселом, грубоватом и враждебном интеллигенции . . .

И как-то особенно крепко он стал говорить об интеллигенции: она всегда и везде была оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди, таково ее историческое назначение.

— Это — дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ,

Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, наши декабристы, Перовская и Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке, с теми, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, — а прежде всего, конечно, в тюрьму; — все это — самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее.

Он взволнованно поднялся на ноги и шагая перед скамьей взад и вперед, продолжал:

— Человечество начало творить свою историю с того дня, когда появился первый интеллигент; миф о Прометее — это рассказ о человеке, который нашел способ добывать огонь и тем сразу отделил людей от зверей. Вы правильно заметили недостатки интеллигенции, книжность, отрыв от жизни, — но еще вопрос: недостатки ли это? Иногда для того, чтобы хорошо видеть необходимо именно отойти, а не приблизиться. А главное, что я вам дружески советую, считая себя более опытным, чем вы, — обращайте больше внимания на достоинства! Подсчет недостатков увлекает всех нас — это очень простое и не безвыгодное дело для каждого. Но — Вольтер, не смотря на его гениальность, был плохой человек, однако, он сделал великое дело, выступив защитником несправедливо осужденного. Я не говорю о том, сколько мрачных предрассудков разрушено им, но вот эта его упрямая защита безнадежного, казалось, дела, — это великий подвиг! Он понимал, что человек прежде всего должен быть гуманным человеком. Необходима — справедливость! Когда она, накопляясь понемногу, маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость, — вот как я думаю.

Он, видимо, устал, — он говорил очень долго, — сел на скамью, но взглянув в небо, сказал:

— А, ведь, уже поздно или — рано, светло! И кажется, будет дождь. Пора домой!

Я жил в двух шагах, он — версты за две. Я вызвался проводить его и мы пошли по улицам сонного города, под небом в темных тучах.

— Что же — пишете вы?

— Нет.

— Почему?

— Времени не имею . . .

— Жаль и напрасно. Если-б вы хотели, время нашлось бы. Я — серьезно думаю — кажется, у вас есть способности. Плохо вы настроены, сударь . . .

Он стал рассказывать о непоседливом Глебе Успенском, но — вдруг хлынул обильный летний дождь, покрыв город серой сетью. Мы постояли под воротами несколько минут, и видя, что дождь надолго — разошлись . . .

О вреде философии.

. . . Я давно уже чувствовал необходимость понять — как возник мир, в котором я живу и каким образом я постигаю его? Это естественное и — в сущности — очень скромное желание, незаметно выросло у меня в неодолимую потребность и, со всей энергией юности, я стал настойчиво обременять знакомых «детскими» вопросами. Одни искренно не понимали меня, предлагая книги Ляйэля и Леббока, другие, тяжело высмеивая, находили, что я занимаюсь «ерундой»; кто-то дал «Историю философии» Льюиса, эта книга показалась мне скучной, — я не стал читать ее.

Среди знакомых моих появился странного вида студент в изношенной шинели, в короткой синей рубахе, которую ему приходилось часто одергивать сзади, дабы скрыть некоторый пробел в нижней части костюма. Близорукий, в очках, с маленькой, раздвоенной бородкой, он носил длинные волосы «нигилиста»; удивительно густые, рыжеватого цвета они опускались до плеч его прямыми, жесткими прядями. В лице этого человека было что-то общее с иконой «Нерукотворенного Спаса». Двигался он медленно, неохотно, как бы против воли; на вопросы, обращенные к нему, отвечал кратко и не то — угрюмо, не то — насмешливо. Я заметил, что он, как Сократ, говорит вопросами. К нему относились неприязненно.

Я познакомился с ним и, хотя он был старше меня года на четыре, мы быстро, дружески сошлись. Звали его Николай Захарович Васильев, по специальности он был химик.

Прекрасный человек, великолепно образованный, он, как почти все талантливые русские люди, имел странности: ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин — весьма вкусное

лакомство. А, главное, полезен: укрощает буйство «инстинкта рода». Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты: принимал бромистый кали и вслед за тем курил опиум, отчего едва не умер в судорогах; принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Доктор, суровый старик, исследовав остатки раствора, сказал:

— Лошадь от этого издохла бы. Даже, пожалуй, пара лошадей! Вам эта штука тоже не пройдет даром, будьте уверены.

Этими опытами Николай испортил себе все зубы, они у него позеленели и выкрошились. Он кончил все тем, что — намеренно или нечаянно — отравился в 901 году в Киеве, будучи ассистентом профессора Коновалова и работая с индигоидом.

В 89—90 годах это был крепкий, здоровый человек, чудаковато забавный и веселый наедине со мною, несколько ехидный в компании.

Помню, мы взяли в земской управе какую-то счетную работу, она давала нам рубль в день. И вот Николай, согнувшись над столом, поет нарочито-гнусным тенорком на голос «Смотрите здесь, смотрите там».

— Сто двадцать три
И двадцать два —
Сто сорок пять,
Сто сорок пять!

Поет десять минут, полчаса, еще поет, — теноришко его звучит все более гнусно. Наконец — прошу:

— Перестань!

Он смотрит на стенные часы и — говорит:

— У тебя очень хорошая нервная система. Не всякий выдержит спокойно такую пытку в течение сорока семи минут. Я одному знакомому медику «Алиллуию» пел, так он на тринадцатой минуте чугунной пепельницей бросил в меня. А готовился он на психиатра.

Николай постоянно читал немецкие философские книги и собирался писать сочинение на тему «Гегель и Сведенборг». «Гегелева Феноменология духа» воспринималась им как нечто юмористическое; лежа на диване, который мы называли «Кавказским хребтом», он хлопал книгой по животу своему, дрыгал ногами и хохотал почти до слез.

Когда я спросил его: над чем он смеется? — Николай, сожалея, ответил:

— Не могу, брат, не с'умею об'яснить тебе это, уж очень суемудрая штука! Ты — не поймешь! Но, знаешь ли, — забавнейшая история!

После настойчивых просьб моих он долго, с увлечением, говорил мне о «мистике разумного», я, действительно, ничего не понял и был весьма огорчен этим.

О своих занятиях философией он говорил:

— Это, брат, так же интересно, как семячки подсолнуха грызть и, приблизительно, также полезно!

Когда он приехал из Москвы на каникулы, я, конечно, обратился к нему с «детскими» вопросами и этим очень обрадовал его.

— Ага, требуется философия? Превосходно! Это я люблю. Сия духовная пища будет дана тебе в потребном количестве.

Он предложил прочесть для меня несколько лекций.

— Это будет легче и, надеюсь, приятнее для тебя, чем сосать Льюиса!

Через несколько дней, поздно вечером, я сидел в полуразрушенной беседке заглохшего сада; яблони и вишни в нем обросли лишаями, кусты малины, смородины, крыжовника густо разрослись, закрыв дорожки тысячью цепких веток, по дорожкам бродил в сером халате покашливая и ворча отец Николая, чиновник духовной консистории, страдавший старческим слабоумием.

Со всех сторон возвышались стены каких-то сараев, сад помещался как бы на дне квадратной черной ямы, и чем ближе подходила ночь, тем глубже становилась яма. Было душно, со двора доносился тяжкий запах помоев, хорошо нагретых за день жарким солнцем июня.

— Будем философствовать, — говорил Николай, причмокивая и смакуя слова. Он сидел в углу беседки, облокотясь на стол, врытый в землю. Огонек папиросы, вспыхивая, освещал его странное лицо, отражался в стеклах очков. У Николая была лихорадка, он зябко кутался в старенькое пальто, шаркал ногами по земляному полу беседки, стол сердито скрипел.

Я напряженно слушал пониженный голос товарища, он интересно и понятно изложил мне систему Демокрита, рассказал

о теории атомов, как она принята наукой, потом, вдруг сказал: — Подожди! — и долго молчал, куря папиросу за папиросой.

Уже ночь наступила, ночь без луны и звезд, небо над садом было черно, духота усилилась, в соседнем доме психиатра Кащенко трогательно пела виолончель, с чердака, из открытого окна доносился старческий кашель.

— Вот что, брат, — заговорил Николай, усиленно куря и еще более понизив голос, — тебе следует относиться ко всем этим штукам с великой осторожностью! Некто, — забыл, кто именно, — весьма умно сказал, что убеждения просвещенных людей так же консервативны, как и навыки мысли неграмотной, суеверной массы народа. Это — еретическая мысль, но в ней скрыта печальная правда. И, — выражена она еще мягко, на мой взгляд. Ты прими эту мысль и хорошенько помни ее.

Я хорошо помню эти слова, вероятно, самого лучшего и дружески искреннего совета из всех советов, когда-либо данных мне. Слова эти как-то пошатнули меня, отозвались в душе гулко и еще более напрягли мое внимание.

— Ты — человек, каким я желаю тебе остаться до конца твоих дней. Помни то, что уже чувствуешь: свобода мысли — единственная и самая ценная свобода, доступная человеку. Ею обладает только тот, кто, ничего не принимая на веру, все исследует, кто хорошо понял непрерывность развития жизни, ее неустанное движение, бесконечную смену явлений действительности.

Он встал, обошел вокруг стола и сел рядом со мною.

— Все, что я сказал тебе — вполне умещается в трех словах: живи своим умом! Вот. Я не хочу вбивать мои мнения в твой мозг; я, вообще, никого и ничему не могу учить, кроме математики, впрочем. Я особенно не хочу именно тебя учить, понимаешь? Я — рассказываю. А делать кого-то другого похожим на меня, это, брат, по моему, свинство. Я особенно не хочу, чтоб ты думал похоже на меня, это совершенно не годится тебе, потому что, брат, я думаю плохо.

Он бросил папиросу на землю, растоптав ее двумя слишком сильными ударами ноги. Но тотчас закурил другую папиросу и, нагревая на огне спички ноготь большого пальца, продолжал, усмехаясь не весело.

— Вот, например, я думаю, что человечество до конца дней

своих будет описывать факты и создавать из этих описаний более или менее неудачные догадки о существе истины или же, не считаясь с фактами, творить фантазии. В стороне от этого — или над, под этим — Бог. Но Бог, — это для меня неприемлемо. Может быть он и существует, но — я его не хочу. Видишь, — как не хорошо я думаю? Да, брат! Есть люди, которые считают идеализм и материализм совершенно равноценными заблуждениями разума. Они — в положении чертей, которым надоел грязный ад, но — не хочется и скучной гармонии рая.

Он вздохнул, прислушался к пению виолончели.

— Умные люди говорят, что мы знаем только то, что думаем по поводу видимого нами, но — не знаем тб ли, и так ли мы думаем, как надо? А ты — и в это не верь. Ищи сам . . .

Я был глубоко взволнован его речью, я понял в ней столько, сколько надо было понять для того, чтоб почувствовать боль души Николая. Взяв друг друга за руки, мы с минуту стояли молча. Хорошая минута. Вероятно, одна из лучших минут счастья, испытанного мною в жизни, — эта жизнь достаточно разнообразная, могла бы дать мне несколько больше таких минут. Впрочем — человек жаден. Это одно из его достоинств, но — по недоразумению, а, вернее, по лицемерию — оно признается пороком.

Мы вышли на улицу и остановились у ворот, слушая отдаленный гром. По черным облакам скользили отблески молнии, а на востоке облака уже горели и плавились в огне утренней зари.

— Спасибо, Никола!

— Пустяки . . .

Я пошел.

— Слушай-ко, — весело и четко прозвучал голос Николая, — в Москве живет нечаевец Орлов, чудесный старикан! Так он говорит: «Истина, — это только мышление о ней». Ну, иди! До завтра . . .

Пройдя несколько шагов я оглянулся, Николай стоял прислонясь к столбу фонаря и смотрел в небо, на восток. Синие струйки дыма поднимались над копной его волос. Я ушел от него в прекрасном, лирическом настроении, — вот передо мною открываются «врата великих тайн».

Но, на другой день Никола развернул передо мною жуткую картину мира, как представлял его Эмпедокл. Этот странный мир должно быть особенно привлекал симпатии лектора, Николай рисовал мне его с увлечением, остроумно, выпукло и, чаще чем всегда, вкусно чмокал.

Так же, как накануне, был поздний вечер, а днем выпал проливной дождь. В саду было сыро, вздыхал ветер, бродили тени, по небу неслись черные клочья туч, открывая голубые пропасти и звезды, бегущие стремительно.

Я видел нечто неописуемо страшное: внутри огромной, бездонной чаши, опрокинутой на бок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человечьи ноги, каждая отдельно от другой, прыгает нечто неуклюжее и волосатое, напоминая медведя, шевелятся корни деревьев, точно огромные пауки, а ветви и листья живут отдельно от них; летают разноцветные крылья и немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков, а круглые глаза их испуганно прыгают над ними; вот бежит окрыленная нога верблюда, а вслед за нею стремительно несется рогатая голова совы, — вся видимая мною внутренность чаши заполнена вихревым движением отдельных членов, частей, кусков, иногда соединенных друг с другом иронически безобразно.

В этом хаосе мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных тел, величественно движутся, противоборствуя друг другу, Ненависть и Любовь, неразличимо подобные одна другой, от них изливается призрачное, голубоватое сияние, напоминая о зимнем небе в солнечный день и освещает все движущееся мертвенно-однотонным светом.

Я не слушал Николая, поглощенный созерцанием видения и как бы тоже медленно вращаясь в этом мире, изломанном на куски, как будто взорванном изнутри и падающем, по спирали, в бездонную пропасть, голубого, холодного сияния. Я был так подавлен видимым, что, в оцепенении, не мог сразу ответить на вопросы Николая:

— Ты уснул? Не слушаешь?

— Больше не могу.

— Почему?

Я об'яснил.

— У тебя, брат, слишком разнуздано воображение, — ска-

зал он, закуривая папиросу. — Это не очень похвально. Ну, что-ж, пойдем гулять?

Пошли на «Откос», по улице, вдоль которой блистали лужи, то являясь, то исчезая. Тени торопливо ползли по крышам домов и земле.

Николай говорил, что тряпку на бумажных фабриках нужно белить хлористым натром, — это лучше и дешевле. Потом рассказывал о работе какого-то профессора, который ищет, как удлинить древесное волокно.

А предо мною все плавали оторванные руки, печальные чьи-то глаза.

Через день Николая вызвали телеграммой в Москву, в университет и он уехал, посоветовав мне не заниматься философией до его возвращения.

Я остался с тревожным хаосом в голове, с возмущенной душой, а через несколько дней почувствовал, что мозг мой плавится и кипит, рождая странные мысли, фантастические видения и картины. Чувство тоски, высасывающей жизнь, охватило меня, и я стал бояться безумия. Но я был храбр, решил дойти до конца страха, и вероятно именно это спасло меня.

Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на «Откосе», глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золотой пылью звезд и — вдруг начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной синеве небес, явится круглое, черное пятно, как отверстие бездонного колодца, а из него высунется огненный палец и погрозит мне

Или: по небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая змея в ледяной чешуе и навсегда оставит за собою непроницаемую, каменную тьму и тишину. Казалось возможным, что все звезды млечного пути сольются в огненную реку и вот — сейчас она низринется на землю.

Вдруг, на месте Волги, разевала серую пасть бездонная щель и в нее, отовсюду сбегались, играя, потоки детей, катились бесконечные вереницы солдат с оркестрами музыки впереди; крестным ходом, текли толпы народа со множеством священников, хоругвей, икон, ехали неисчислимые обозы, шли миллионы мужиков, с палками в руках, котомками за спиной, все на одно лицо; туда же в эту щель всасывались облака, втягивалось

небо, колесом катилась изломанная луна и вихрем сыпались звезды, точно медные снежинки.

Я ожидал, что широкая плоскость лугов начнет свертываться в свиток, точно лист бумаги, этот свиток покатится через реку, всосет воду, затем высокий берег реки тоже свернется, как береста или кусок кожи на огне и когда все видимое превратится в черный свиток, — чья-то снежно-белая рука возьмет его и унесет. А я останусь один, повиснув неподвижно в непоколебимой тишине.

Из горы, на которой я сидел, могли выйти большие черные люди с медными головами. Вот они, тесной толпою, идут по воздуху и наполняют мир оглушающим звоном, от него падают, как срезанные невидимою пилой, деревья, колокольни, разрушаются дома и вот — все на земле превратилось в столб зеленовато горящей пыли, осталась только круглая, гладкая пустыня и, посреди, я, один на четыре вечности. Именно — на четыре, я видел эти вечности, огромные, темносерые круги тумана или дыма, они медленно вращаются в непроницаемой тьме, почти не отличаясь от нее своим призрачным цветом.

Видел я Бога, — это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах: благообразный, седобородый, с равнодушными глазами. Одиноко сидя на большом, тяжелом престоле, он шьет золотою иглою и голубой ниткой чудовищно длинную белую рубаху, она опускается до земли прозрачным облаком. Вокруг Бога — пустота и в нее невозможно смотреть без ужаса, потому что она непрерывно и безгранично ширится, углубляется.

За рекою, на темной плоскости вырастает, почти до небес, человечье ухо, обыкновенное ухо, с толстыми волосами в раковине, вырастает и — слушает все, что думаю я.

Длинным, двуручным мечом средневекового палача, гибким как бич, я убивал бесчисленное множество людей, они шли ко мне справа и слева, мужчины и женщины, все — нагие, шли молча, склонив головы, покорно вытягивая шеи. Сзади меня стояло неведомое существо и это его волей я убивал, а оно дышало в мозг мне холодными иглами.

Ко мне подходила голая женщина на птичьих лапах вместо ступней ног, из ее грудей исходили золотые лучи, вот она

вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и, вспыхнув, точно клок ваты, я исчезал.

Ночной сторож Ибрагим Губайдуллин несколько раз поднимал меня на верхней аллее «Откоса» и отводил домой, ласково уговаривая:

— Засэм гуляйшь больной? Больной — лежать дома нада...

Иногда, измученный бредовыми видениями, я бежал к реке и купался, — это несколько помогало мне.

А дома меня ожидали две мыши, прирученные мною. Они жили за деревянной обшивкой стены; в ней, на уровне стола, они прогрызли щель и вылезали прямо на стол, когда я начинал шуметь тарелками ужина, оставленного для меня квартирной хозяйкой.

И вот я видел: забавные животныя превращались в маленьких, серых чертенят и, сидя на коробке с табаком, болтали мохнатыми ножками, важно разглядывая меня, в то время, как скучный голос, неведомо чей, шептал, напоминая тихий шум дождя:

— Общая цель всех чертей — помогать людям в поисках несчастий.

— Это — ложь! — кричал я озлобляясь. — Никто не ищет несчастий...

Тогда являлся Никто. Я слышал, как он гремит щеколдой калитки, отворяет дверь крыльца, прихожей и — вот он у меня в комнате. Он — круглый, как мыльный пузырь, без рук, вместо лица у него — циферблат часов, а стрелки — из моркови; к ней у меня с детства идиосинкразия. Я знаю, что это муж той женщины, которую я люблю, он только переоделся, чтоб я не узнал его. Вот он превращается в реального человека, толстенького, с русой бородой, мягким взглядом добрых глаз; улыбаясь, он говорит мне все то, злое и не лестное, что я думаю о его жене и что никому, кроме меня, не может быть известно.

— Вон! — кричу я на него.

Тогда за моей спиной раздается стук в стену, — это стучит квартирная хозяйка, милая и умная Фелицата Тихомирова. Ее стук возвращает меня в мир действительности, я обливаю голову холодной водой и, через окно, чтоб не хлопать дверями, не беспокоить спящих, вылезаю в сад, — там сижу до утра.

Утром, за чаем хозяйка говорит:

— А вы опять кричали ночью . . .

Мне невыразимо стыдно, я презираю себя.

. . . В ту пору я работал, как письмоводитель, у присяжного поверенного А. И. Ланина, прекрасного человека, которому я очень многим обязан. Однажды, когда я пришел к нему, он встретил меня бешено размахивая какими-то бумагами и крича:

— Вы с ума сошли? Что это вы, батенька, написали в аппеляционной жалобе? Извольте немедля переписать, — сегодня истекает срок подачи. Удивительно! Если это — шутка, то — плохая, я вам скажу!

Я взял из его рук жалобу и прочитал в тексте ее четко написанное четверостишие:

— Ночь бесконечно длится . . .
Муке моей — нет меры!
Если-б умел я молиться!
Если-бы знал счастье веры!

Для меня эти стихи были такой же неожиданностью как и для патрона, я смотрел на них и почти не верил, что это написано мною.

Вечером, за работой, А. И. подошел ко мне, говоря:

— Вы извините, я накричал на вас! Но, знаете, — такой случай . . . Что с вами? Последнее время на вас лица нет и похудели вы ужасно . . .

— Бессоница, — сказал я.

— Надо полечиться.

Да, надо было что-то делать. От этих видений и ночных бесед с разными лицами, которые неизвестно как появлялись предо мною и неуловимо исчезали, едва только сознание действительности возвращалось ко мне, от этой слишком интересной жизни на границе безумия, необходимо было избавиться. Я достиг уже такого состояния, что даже и днем, при свете солнца напряженно ожидал чудесных событий.

Наверное я не очень удивился бы, если-б любой дом города вдруг перепрыгнул через меня. Ничто, на мой взгляд, не мешало лошади извозчика, встав на задние ноги, провозгласить глубоким басом:

— Анафема!

Или — вот на скамье бульвара, у стены Кремля, сидит жен-

щина в соломенной шляпе и желтых перчатках. Если я подойду к ней и скажу:

— Бога нет!

Она удивленно, обиженно воскликнет:

— Как? А — я? — тотчас превратится в крылатое существо и улетит; вслед затем вся земля немедленно порастет толстыми деревьями без листьев, с их ветвей и стволов будет капать жирная, синяя слизь, а меня, как уголовного преступника, приговорят быть двадцать три года жабой и чтоб я, все время, день и ночь звонил в большой, гулкий колокол Вознесенской церкви.

Так как мне очень, нестерпимо хочется сказать даме, что Бога — нет, но я хорошо вижу, каковы будут последствия моей искренности, — я, как можно скорее, стороной, почти бегом, ухожу.

Все — возможно. И возможно, что ничего нет, поэтому мне нужно дотрагиваться рукою до заборов, стен, деревьев. Это несколько успокаивает. Особенно — если долго бить кулаком по твердому, убеждаешься, что оно существует.

Земля — очень коварна, идешь по ней также уверенно как все люди, но вдруг ее плотность исчезает под ногами, земля становится такой же проницаемой как воздух, — оставаясь темной — и душа стремглав падает в эту тьму бесконечно долгое время, оно длится секунды.

Небо — тоже ненадежно; оно может в любой момент изменить форму купола на форму пирамиды вершиной вниз, острие вершины упрется в череп мой, и я должен буду неподвижно стоять на одной точке, до поры пока железные звезды, которыми скреплено небо, не перержавеют, тогда оно рассыплется рыжей пылью и похоронит меня.

Все возможно. Только жить невозможно в мире таких возможностей.

Душа моя сильно болела. И, если-б, два года тому назад, я не убедился личным опытом, как унизительна глупость самоубийства, я наверное применил бы этот способ лечения больной души.

. . . Маленький, черный, горбатый психиатр, человек одинокий, умница и скептик, часа два расспрашивал, как я живу, потом, хлопнув меня по колену, странно белой рукою сказал:

— Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю дребедень, которой вы живете! По комплекции вашей, вы человек здоровый и — стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин — как? Ну! это тоже не годится! Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пожаднее к любовной игре, — это будет полезно!

Он дал мне еще несколько советов, одинаково неприятных и неприемлемых для меня, написал два рецепта, затем сказал несколько фраз очень памятных мне.

— Я кое-что слышал о вас и — прошу извинить, если это не понравится вам! — вы кажетесь мне человеком, так сказать, первобытным. А у первобытных людей фантазия всегда преобладает над логическим мышлением. Все, что вы читали, видели, — возбудило у вас только фантазию, а она — совершенно непримирима с действительностью, которая хотя тоже фантастична, но — на свой лад. Затем: один древний умник сказал: «Кто охотно противоречит, тот не способен научиться ничему дельному». Сказано — хорошо! Сначала — изучать, потом — противоречить, так надо!

Провожая меня, он повторил с улыбкой веселого черта:

— А — бабеночка очень полезна для вас!

Через несколько дней я ушел из Нижнего в Симбирскую колонию толстовцев и, придя туда, узнал от крестьян, трагикомическую историю ее разрушения

О первой любви.

. . . Тогда же судьба, в целях воспитания моего, заставила меня пережить трагикомические волнения первой любви.

Компания знакомых собралась кататься в лодках по Оке, мне поручили пригласить на прогулку супругов К.; — они недавно приехали из Франции, но я еще не был знаком с ними. Я пошел к ним вечером.

Жили они в подвале старого дома, против него, не просыхая всю весну и почти все лето, распростерлась во всю ширину улицы грязная лужа; вороны и собаки пользовались ею как зеркалом, свиньи брали в ней ванны.

Находясь в состоянии некоторой задумчивости, я ввалился в квартиру незнакомых мне людей подобно камню, скатившемуся с горы и — вызвал странное смятение обитателей ее. Предо мною, заткнув дверь в следующую комнату, сумрачно встал толстенький, среднего роста человек, с русой окладистой бородой и добрым взглядом голубых глаз.

Оправляя костюм, он неласково спросил:

— Что вам угодно?

И поучительно добавил:

— Раньше, чем войти, — нужно стучать в дверь!

За его спиною, в сумраке комнаты, металось и трепетало что-то похожее на большую белую птицу, и прозвучал звонкий, веселый голос:

— Особенно, — если входите к женатым людям . . .

Я сердито спросил: те ли они люди кого мне нужно? И когда человек, похожий на благополучного лавочника, ответил утвердительно, — об'яснил ему зачем я пришел.

— Вас прислал Кларк, говорите? — солидно и задумчиво

поглаживая бороду осведомился мужчина и в ту же минуту вздрогнул, повернулся волчком, болезненно восклицая:

— Ой, Ольга!

По судорожному движению его руки, мне показалось, что его ущипнули за ту часть тела, о которой не принято говорить, — очевидно потому, что она помещается несколько ниже поясницы.

Держась за косяки на его место встала стройная девушка, с улыбкой, рассматривая меня синеватыми глазами:

— Вы — кто? Полицейский?

— Нет, это только штаны, — вежливо ответил я, а она — засмеялась.

Не обидно, ибо в глазах ее сияла именно та улыбка, которую я давно ожидал. Видимо смех ее был вызван моим костюмом; на мне были синие шаровары городового, а вместо рубахи, я носил белую куртку повара; это очень практичная вещь: она ловко играет роль пиджака и, застегиваясь на крючки до горла, не требует рубашки. Чужие, охотничьи сапоги и широкая шляпа итальянского бандита великолепно завершали мой костюм.

Втащив меня за руку в комнату, толкнув к стулу, она спросила, стоя предо мной:

— Почему вы так смешно одеты?

— Почему — смешно?

— Не сердитесь, — дружески посоветовала она.

Очень странная девушка, — кто может сердиться на нее?

Бородатый мужчина, сидя на кровати, свертывал папиросу. Я спросил, указав глазами на него:

— Это — отец или брат?

— Муж! — убежденно ответил он.

— А — что? — смеясь, спросила она.

Подумав, рассматривая ее, я сказал:

— Извините!

В таком лаконическом тоне беседа продолжалась минут пять, но я чувствовал себя способным неподвижно сидеть в этом подвале пять часов, дней, лет, глядя на узкое, овальное личико дамы и в ее ласковые глаза. Нижняя губа маленького рта ее была толще верхней, точно припухла; густые волосы каштанового цвета коротко обрезаны и лежат на голове пышной шапкой, осыпая локонами розовые уши и нежно-румяные девичьи щеки.

Очень красивы руки ее, когда она стояла в двери, держась за косяки, я видел их голыми до плеча. Одета она как-то особенно просто в белую кофточку с широкими рукавами в кружевах и в белую же ловко сшитую юбку. Но самое замечательное в ней ее синеватые глаза; они лучатся так весело, ласково, с таким дружеским любопытством. И — это несомненно! — она улыбается той самой улыбкой, которая совершенно необходима сердцу человека двадцати лет от рода, сердцу, обиженному грубостью жизни.

— Сейчас хлынет дождь, — сообщил ее муж, окуривая бороду свою дымом папиросы.

Я взглянул в окно: на безоблачном небе разгорались звезды. Тогда я понял, что мешаю этому человеку, и ушел в настроении тихой радости, как после встречи с тем, чего давно уже и тайно от себя искал.

Всю ночь ходил по полю, бережно любуясь ласковым сиянием синеватых глаз и на рассвете был непоколебимо убежден, что эта маленькая дама — совершенно неподходящая супруга для бородатого увальня с добрыми глазами сытого кота. Мне даже жалко стало ее — бедная! Жить с человеком, у которого в бороде прячутся хлебные крошки . . .

А на другой день мы катались по мутной Оке, под крутым берегом из широких пластов разноцветных мергелей. День был самый лучший от сотворения мира, изумительно сверкало солнце в празднично-ярком небе, над рекою носился запах созревшей земляники, все люди вспомнили, что они действительно прекрасные люди и это насытило меня веселой любовью к ним. Даже муж дамы моего сердца сказался замечательным человеком, он сел не в ту лодку, где сидела его жена и где я был гребцом, весь день он вел себя идеально умно, — сначала рассказал всем страшно много интересного о старике Гладстоне, а потом выпил крынку превосходного молока, лег под куст и вплоть до вчера спал спокойным сном ребенка.

Разумеется, наша лодка приехала первой на место пикника; когда я на руках выносил мою даму с лодки, она сказала:

— Какой вы силач.

Я чувствовал себя в состоянии опрокинуть любую колокольню города и сообщил даме, что могу нести ее на руках

до города — семь верст[1]). Она тихонько засмеялась, обласкав меня взглядом, весь день передо мною сияли ее глаза и, конечно, я убедился, что они сияют только для меня.

Дальше все пошло с быстротой вполне естественной для женщины, которая впервые встретила невиданного ею, интересного зверя, и для здорового юноши, которому необходима ласка женщины.

Вскоре я узнал, что она, несмотря на свою внешность девушки, старше меня на десять лет, воспитывалась в Белостокском институте «благородных девиц», была невестой коменданта Зимнего дворца, жила в Париже, училась живописи и выучилась акушерству. Далее оказалось, что ее мать тоже акушерка и принимала меня, в час моего рождения, — в этом факте я усмотрел некое предопределение и страшно обрадовался.

Знакомство с богемой и эмигрантами, связь с одним из них, затем полукочевая, полуголодная жизнь в подвалах и на чердаках Парижа, Петербурга, Вены, — все это сделало институтку человеком забавно спутанным, на редкость интересным. Легкая, бойкая, точно синица, она смотрела на жизнь и людей с острым любопытством умного подростка, задорно распевала французские песенки, красиво курила папиросы, искусно рисовала, недурно играла на сцене, умела ловко шить платья, делать шляпы. Акушерством она не занималась.

— У меня было четыре случая практики, но — они дали семьдесят пять процентов смертности, — говорила она.

Это оттолкнуло ее навсегда от косвенной помощи делу умножения людей, о ее прямом участии в этом почтенном деле свидетельствовала дочь ее, — милый и красивый ребенок лет четырех. О себе она рассказывала тем тоном, каким говорят о человеке, когда его хорошо знают и он уже достаточно надоел. Но иногда она как будто удивлялась, говоря о себе, ее глаза красиво темнели и светилась в них — мелькала — легкая улыбка смущения; так улыбаются сконфуженные дети.

Я хорошо чувствовал ее острый, цепкий ум, понимал, что она культурно выше меня, видел ее добросердечно-снисходительное отношение к людям; она была несравненно интереснее всех знакомых барышень и дам, небрежный тон ее рассказов

[1]) Вероятно — не донес бы.

удивлял меня и мне казалось: этот человек, зная все, что знают мои революционно-настроенные знакомые, знает что-то сверх этого, что-то более ценное, но — она смотрит на все издали, со стороны, наблюдая, с улыбкой взрослого, пережитые им милые, хотя, порою опасные, забавы детей.

Подвал, в котором она жила, делился на две комнаты: маленькую кухню, она же служила и прихожей, и большую комнату в три окна на улицу, два — на сорный, грязный двор. Это было удобное помещение для мастерской сапожника, но не для изящной женщины, которая жила в Париже, в священном городе Великой революции, в городе Мольера, Бомарше, Гюго и других ярких людей. Было еще много несоответствий картины с рамой, все они жестоко раздражали меня, вызывая — кроме прочих чувств — сострадание к женщине. Но сама она как бы не замечала ничего, что, на мой взгляд, должно было оскорблять ее.

С утра до вечера она работала, утром — за кухарку и горничную, потом садилась за большой стол под окнами, весь день рисовала карандашом, с фотографии, портреты обывателей, чертила карты, раскрашивала картограммы, помогала составлять мужу земские сборники по статистике. Из открытого окна на голову ей и на стол сыпалась пыль улицы, по бумагам скользили толстые тени ног прохожих. Работая, она пела, а утомясь сидеть — вальсировала со стулом или играла с девочкой и, несмотря на обилие грязной работы, всегда была чистоплотна, точно кошка.

Ее супруг был благодушен и ленив. Он любил читать, лежа в постели, переводные романы, особенно — Дюма-отца. — Это освежает клетки мозга, — говорил он. Ему нравилось рассматривать жизнь «с точки зрения строго научной». Обед он называл «приемом пищи», а пообедав говорил:

— Подвоз пищевой кашицы из желудка клеткам организма требует абсолютного покоя.

И, забыв вытряхнуть крошки хлеба из бороды, ложился в постель, несколько минут углубленно читал Дюма или Ксавье де-Монтепена, а потом, часа два, лирически посвистывал носом, светлые мягкие усы его тихо шевелились, как будто в них ползало нечто невидимое. Проснувшись он долго и задумчиво смотрел на трещины потолка и — вдруг вспоминал:

— А, ведь, Кузьма неправильно истолковал вчера мысль Парнеля!

И шел уличать Кузьму, говоря жене:

— Ты, пожалуйста, докончи за меня подсчет безлошадных Майданской волости. Я — скоро!

Возвращался он около полуночи иногда — позднее, очень довольный.

— Ну знаешь, доканал я сегодня Кузьму! У него, шельмеца, память на цитаты очень развита, но я ему и в этом не уступлю. Между прочим, — он совершенно не понимает восточной политики Гладстона, чудак!

Он постоянно говорил о Бинэ, Рише и гигиене мозга, а в дурную погоду, оставаясь дома, занимался воспитанием девочки его жены, — ребенка, случайно родившегося где-то на пути между двумя романами.

— Леля, — когда ты кушаешь, нужно тщательно жевать, это облегчает пищеварение, помогая желудку быстрее претворить пищевую кашицу в удобоусвояемый конгломерат химических веществ.

После же обеда, приведя себя «в состояние абсолютного покоя», укладывал ребенка на постель и рассказывал ему:

— Итак, — когда кровожадный честолюбец Бонапарте узурпировал власть . . .

Жена его судорожно, до слез хохотала, слушая эти лекции, но он не сердился на нее, не имея для этого времени, ибо скоро засыпал. Девочка, поиграв его шелковой бородою, тоже засыпала свернувшись комочком. Я очень подружился с нею, она слушала мои рассказы с бóльшим интересом, чем лекции Болеслава о кровожадном узурпаторе и печальной любви к нему Жозефины Богарнэ; это возбудило у Болеслава забавное чувство ревности:

— Я — протестую, Пешков! Сначала ребенку необходимо внушить основные принципы отношения к действительности, потом уже знакомить с нею. Если-б вы знали английский язык и могли прочитать «Гигиену души ребенка» . . .

Он знал по английски, кажется, только два слова: гуд бай.

Он был вдвое старше меня, но, обладал любопытством юного пуделя, любил посплетничать и показать себя человеком, которому хорошо известны все тайны не только русских, но и

зарубежных революционных кружков. Впрочем, возможно, что он и на самом деле был осведомлен, к нему нередко приезжали таинственные люди, они все держались как актеры трагики, которым случайно пришлось играть роли простаков. У него я видал нелегального Сабунаева в рыжем, неумело надетом парике, в пестром костюме, который был смешно узок и короток ему.

А однажды, придя к Болеславу, я увидел у него юркого человека с маленькой головкой, очень похожего на парикмахера, он был одет в клетчатые брючки, серенький пиджачек и скрипучие ботинки. Вытеснив меня в кухню, Болеслав шопотом сказал:

— Это — человек из Парижа, с важным поручением, ему необходимо видеть Короленко, так вы идите, устройте это . . .

Я пошел, — но оказалось, что Короленко показали приезжего на улице и В. Г. проницательно заявил:

— Нет, пожалуйста, не знакомьте меня с этим хлыщем!

Болеслав обиделся за парижанина и «дело революции», два дня сочинял письмо Короленко, испробовал все стили от гневного и сурового до ласково укоряющего и потом сжег образцы эпистолярной литературы своей на шестке печи. Вскоре начались аресты в Москве, Нижнем, Владимире и оказалось, что человек в клетчатых брючках знаменитый, впоследствии, Ландезен-Гартинг, первый — по порядку — провокатор, которого я видел.

А за всем этим муж возлюбленной моей был добрый малый, несколько сантиментальный и комически обремененный «научным багажем». Он так и говорил:

— Смысл жизни интеллигента — непрерывное накопление научного багажа в целях бескорыстного распределения его в толщах народной массы . . .

Моя любовь углубляясь, превращалась в страдание. Сидел я в подвале, глядя, как согнувшись над столом работает дама моего сердца, и мрачно пьянел от желания взять ее на руки, унести куда-то из проклятого подвала, загроможденного широкой двуспальной кроватью, старинным тяжелым диваном, где спала девочка, столами, на которых лежали груды пыльных книг и бумаг. Мимо окон нелепо мелькают чьи-то ноги, иногда

в окно заглядывала морда бездомной собаки; душно, с улицы льется запах грязи, нагретой солнцем. Маленькая девичья фигурка, тихонько напевая, скрипит карандашем или пером, мне ласково улыбаются милые васильковые глаза. Я люблю эту женщину до бреда, до безумия и жалею ее до злобной тоски.

— Расскажите еще что-нибудь про себя, — предлагает она.

Рассказываю, но через несколько минут она говорит:

— Это вы не про себя говорите!

Я и сам понимаю, что все, о чем я говорил, еще — не я, а нечто, в чем я слепо заплутался. Мне нужно найти себя в пестрой путанице впечатлений и приключений, пережитых мною, но я не умел и боялся сделать это. Кто и что — я? Меня очень смущал этот вопрос. Я был зол на жизнь, она уже внушила мне унизительную глупость попытки самоубийства. Я не понимал людей, их жизнь казалась мне неоправданной, глупой, грязной. Во мне бродило изощренное любопытство человека, которому зачем-то необходимо заглянуть во все темные уголки бытия, в глубину всех тайн жизни и, порою, я чувствовал себя способным на преступление из любопытства, — готов был убить, только для того, чтобы знать: что же будет со мною потом?

Мне казалось, что если я найду себя, — пред женщиной сердца моего встанет человек отвратительный, запутанный густой, крепкой сетью каких-то странных чувств и мыслей; бредовой, кошмарный человек, он испугает ее и оттолкнет. Мне нужно было что-то сделать с собою. Я был уверен, что именно эта женщина способна помочь мне не только почувствовать настоящего себя, но она может сделать нечто волшебное, после чего я тотчас освобожусь из плена темных впечатлений бытия, что-то навсегда выброшу из своей души и она вспыхнет огнем великой силы, великой радости.

И небрежный тон, которым она говорила о себе, и ее снисходительное отношение к людям внушило мне уверенность, что этот человек знает необыкновенное. У нее есть свой ключ ко всем загадкам жизни, от этого она всегда веселая, всегда уверена в себе. Может быть я любил ее всего больше за то, чего не понимал в ней, но я любил ее со всей силой и страстью юности. Мучительно трудно было мне сдерживать эту страсть,

— она уже физически сжигала и обессиливала меня. Для меня было бы лучше, будь я проще, грубее, но — я верил, что отношения к женщине не ограничиваются тем актом физиологического слияния, который я знал в его нищенски-грубой, животно-простой форме, этот акт внушал мне почти отвращение, несмотря на то, что я был сильный, довольно чувственный юноша и обладал легко возбудимым воображением.

Не понимаю, как могла сложиться и жить во мне эта романтическая мечта, но я был непоколебимо уверен, что за тем, что известно мне, есть нечто неведомое и в нем скрыт высокий, тайный смысл общения с женщиной, что-то великое, радостное и даже страшное таится за первым об'ятием, — испытав эту радость человек совершенно перерождается.

Мне кажется, я вынес эти фантазии не из романов, прочитанных мной, но воспитал и развил их из чувства противоречия действительности, ибо:

«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться».

Кроме этого у меня было странное, смутное воспоминание: где-то, за пределами действительного и когда-то в раннем детстве, я испытал некий сильный взрыв души, сладостный трепет ощущения, вернее, предчувствия — гармонии, пережил радость, светлейшую солнца на утре, на восходе его. Может быть это было еще в те дни, когда я жил во чреве матери, и это счастливый взрыв ее нервной энергии передался мне жарким толчком, который создал душу мою, и впервые зажег ее к жизни, может быть, это потрясающий момент счастья матери моей отразился во мне на всю мою жизнь трепетным ожиданьем необыкновенного от женщины.

Когда не знаешь — выдумываешь. И самое умное, чего достиг человек, это — уменье любить женщину, поклоняться ее красоте; от любви к женщине родилось все прекрасное на земле.

Однажды, купаясь, я прыгнул с кормы баржи в воду, ударился грудью о наякорник, зацепился ногою за канат, повис в воде вниз головой и захлебнулся. Ломовой извощик вытащил меня, откачали, изорвав мне всю кожу, у меня пошла кровь горлом, и я должен был лечь в постель, глотая лед.

Ко мне пришла моя дама, села на койку и, расспрашивая,

как все это случилось со мною, стала гладить мне голову легкой милой рукой, а глаза ее потемнев смотрели тревожно.

Я спросил: видит-ли она, что я люблю ее?

— Да, — сказала она, улыбаясь осторожно, — вижу и это очень плохо, хотя я тоже полюбила вас.

Разумеется, после ее слов вся земля вздрогнула и деревья в саду закружились веселым хороводом. Я онемел от неожиданности, изумления и восторга, ткнулся головою в колени ей и, если бы не обнял ее крепко, то наверное вылетел бы в окно, как мыльный пузырь.

— Не двигайтесь, это вредно вам! — строго заметила она, пытаясь переложить мою голову на подушку. И — не волнуйтесь, а то — я уйду! Вы, вообще, очень безумный господин, я не думала, что такие бывают. О наших чувствах и отношениях мы поговорим, когда вы встанете на ноги.

Все это она говорила очень спокойно и невыразимо ласково улыбалась потемневшими глазами. Она скоро ушла, оставив меня в радужном огне надежд, в счастливой уверенности, что теперь с ее доброй помощью, я окрыленно вознесусь в сферу иных чувств и мыслей.

Через несколько дней я сидел в поле на краю оврага, внизу, в кустарнике, шелестел ветер. Серое небо грозило дождем. Деловито серыми словами женщина говорила о разнице наших лет, о том, что мне нужно учиться и что преждевременно для меня вешать на шею себе жену с ребенком. Все это было угнетающе верно, говорилось тоном матери и еще более возбуждало любовь, уважение к милой женщине. Мне было грустно и сладко слушать ее голос, нежные ее слова, — впервые со мною говорили так.

Я смотрел в пасть оврага, где кусты, колеблемые ветром, текли зеленой рекой, и клятвенно обещал себе заплатить этому человеку за ласку его всеми силами моей души.

— Прежде чем решить что-либо, нам нужно хорошо подумать, — слышал я тихий голос. Она стегала себя по колену сорванной веткой орешника, глядя в сторону города, спрятанного в зеленых холмах садов.

— И, конечно, я должна поговорить с Болеславом, он уже кое-что чувствует и ведет себя очень нервозно. А я не люблю драм.

Все было очень грустно и очень хорошо, но — оказалось необходимым нечто пошленькое и смешное.

Шаровары мои были широки в поясе и я скалывал пояс большой медной булавкой, дюйма в три длиною, — теперь нет таких булавок, к счастью влюбленных бедняков. Острый кончик проклятой булавки все время деликатно царапал кожу мне, — неосторожное движение и вся булавка впилась в мой бок. Я сумел незаметно вытащить ее и — с ужасом почувствовал, что из глубокой царапины обильно потекла кровь, смачивая шаровары. Нижнего белья у меня не было, а курточка повара — коротенькая, по пояс. Как я встану и пойду в мокрых шароварах, приклеенных к телу?

Понимая комизм случая, глубоко возмущенный его обидной формой, я, в диком возбуждении, начал говорить что-то неестественным голосом актера, который забыл свою роль.

Послушав несколько минут мою речь, сначала — внимательно, потом — с явным недоумением, она сказала:

— Какие пышные слова! Вы вдруг стали не похожи на себя.

Это окончательно поразило меня и я замолчал, как удавленный.

— Пора итти, собирается дождь!

— Я — останусь здесь.

— Почему?

Что я мог ответить ей?

— Вы — рассердились на меня? — ласково заглянув в лицо мое, спросила она.

— О нет! На себя.

— И на себя не надо сердиться, — посоветовала женщина, встав на ноги.

А я — не мог встать, сидя в теплой луже, мне казалось, что кровь моя, вытекая из бока, журчит ручьем, в следующую секунду женщина услышит этот звук и спросит:

— Что это?

— Уйди! — мысленно молил я ее.

Она милостиво подарила мне еще несколько ласковых слов и пошла вдоль оврага, по краю его, мило покачиваясь на стройных ножках. Я следил, как ее гибкая фигурка удаляясь уменьшается и потом лег на землю, опрокинутый ударом сознания, что моя первая любовь будет несчастлива.

Конечно, так и случилось: ее супруг пролил широкий поток слез, сентиментальных слюней, жалких слов и она не решилась переплыть на мою сторону через этот липкий поток.

— Он такой беспомощный, а вы — сильный! — со слезами на глазах сказала она. — Он говорит: если ты уйдешь от меня, — я погибну как цветок без солнца . . .

Я расхохотался, вспомнив коротенькие ножки, женские бедра, круглый, арбузиком, живот цветка. В бороде его жили мухи, — там всегда была пища для них.

Она, улыбаясь, заметила:

— Да, это смешно сказано — а все-таки, ему очень больно!

— Мне — тоже.

— О, вы молодой, вы сильный . . .

Тут, кажется, впервые, я почувствовал себя врагом слабых людей. Впоследствии, в более серьезных случаях мне весьма часто приходилось наблюдать, как трагически беспомощны сильные в окружении слабых, как много тратится ценнейшей энергии сердца и ума для того, чтоб поддержать бесплодное существование осужденных на гибель.

Вскоре, полубольной, в состоянии близком безумию, я ушел из города и почти два года шатался по дорогам России, как перекати-поле. Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ, пережил неисчислимо много различных впечатлений, приключений, огрубел, обозлился еще более и все-таки сохранил нетленно в душе милый образ этой женщины, хотя видел лучших и умнейших ее.

А когда, через два слишком года, осенью, в Тифлисе, мне сказали, что она приехала из Парижа и узнав, что я живу в одном городе с нею — обрадовалась, я, двадцатитрехлетний крепкий юноша, первый раз в жизни упал в обморок.

Я не решился пойти к ней, но вскоре она сама, через знакомых, пригласила меня.

Мне показалось, что она еще красивей и милее, все та же фигура девушки, тот же нежный румянец щек и ласковое сияние васильковых глаз. Муж ее остался во Франции, с нею была только дочь, бойкая и грациозная, точно козленок.

Когда я пришел к ней, — над городом с громом и молниями понеслась буря, загудел ливень, по улице, с горы Св. Давида, стремительно катилась мощная река, выворачивая камни ули-

цы. Вой ветра, сердитый плеск воды, грохот каких-то разрушений сотрясал дом, дребезжали стекла в окнах, комната наливалась синим огнем и как будто все кругом падало в бездонную мокрую пропасть.

Испуганная девочка зарылась в постель, а мы стояли у окна, ослепляемые взрывами неба, и говорили — почему-то шопотом.

— Впервые вижу такую грозу, — шелестели рядом со мною слова любимой женщины.

И вдруг она спросила:

— Ну, что же, — вылечились вы от любви ко мне?

— Нет.

Она видимо удивилась и все так же шопотом сказала:

— Боже мой, как изменились вы! Совершенно другой человек.

Медленно опустилась в кресло у окна, вздрогнула — зажмурилась, ослепленная жутким блеском молнии и шепчет:

— О вас много говорят здесь. Зачем вы пришли сюда? Расскажите мне, как вам жилось?

Господи, какая она маленькая и хорошая вся!

Я рассказывал ей до полуночи, как бы исповедуясь. Грозные явления природы всегда действуют на меня возбуждающе, насыщая буйным весельем. Должно быть я рассказывал хорошо — в этом убеждало меня ее внимание и напряженный взгляд широко раскрытых глаз. Лишь иногда она шептала:

— Это ужасно.

Уходя, я заметил, что она простилась со мною, без той покровительственной улыбки старшего, которая — в прошлом — всегда немножко обижала меня. Шел я по мокрым улицам, глядя, как острый серп луны режет изорванные облака, и у меня кружилась голова от радости. На другой день, я послал ей почтой стихи, — она впоследствии часто декламировала их и они укрепились в памяти моей:

Сударыня!
За ласку, за нежный взгляд
Отдается в рабство ловкий фокусник,
Которому тонко известно
Забавное искусство
Создавать маленькие радости
Из пустяков, из ничего!

Возьмите веселого раба!
Может быть из маленьких радостей
Он создаст большое счастье, —
Разве кто-то не создал весь мир
Из ничтожных пылинок материи?

О, да! Мир создан не весело:
Скупы и жалки радости его!
Но все-таки в нем есть не мало забавного,
Например: Ваш покорный слуга
И — есть в нем нечто прекрасное —
Это я говорю о Вас!

Вы!
Но — молчание!
Что значат тупые гвозди слов
В сравнении с вашим сердцем,
Лучшим из всех цветов
Бедной цветами земли?

Конечно, это едва-ли стихи, но это было сделано с веселой искренностью.

Вот я снова сижу против человека, который кажется мне лучшим в мире и поэтому — необходимым для меня. На ней голубое платье, не скрывая изящных очертаний ее фигуры, оно окутало ее мягким, душистым облаком. Играя кистями пояса она говорит мне необыкновенные слова, я слежу за движением ее маленьких пальцев с розовыми ногтями и чувствую себя скрипкой, которую любовно настраивает искусный музыкант. Мне хочется умереть, хочется как-то вдохнуть в душу себе эту женщину, чтоб навсегда осталась там. Тело мое поет в томительном напряжении, сильном до боли, и мне кажется, что у меня сейчас взорвется сердце.

Я прочитал ей мой первый рассказ, только что напечатанный, но не помню, как она оценила его, кажется, она удивилась:

— Вот как, вы начали писать прозу!

Как сквозь сон, откуда-то издали, я слышу.

— Много думала я о вас эти годы. Неужели это из-за меня пришлось вам испытать так много тяжелого?

Я говорю ей что-то о том, что в мире, где живет она, — нет ничего тяжелого и страшного.

— Какой вы милый . . .

Мне до безумия хочется обнять ее, но у меня идиотски длин-

ные, нелепо тяжелые руки, я не смею коснуться тела ее, боюсь сделать ей больно, стою пред нею и, качаясь под буйными толчками сердца, бормочу:

— Живите со мной! Пожалуйста, живите со мной!

Она смеется тихонько и — смущенно? Ослепительно светятся ее милые глаза. Она уходит в угол комнаты и говорит оттуда.

— Сделаем так: вы уезжайте в Нижний, а я останусь здесь, подумаю и напишу вам . . .

Почтительно кланяюсь ей, как это сделал герой какого-то романа, прочитанного мною, и ухожу. По воздуху.

Зимою она, с дочерью, приехала ко мне в Нижний. «Бедному жениться и — ночь коротка» насмешливо-печально говорит мудрость народа. Я проверил личным опытом глубокую правду этой пословицы.

Мы сняли за два рубля в месяц особняк, — старую баню в саду попа. Я поселился в предбаннике, а супруга в самой бане, которая служила и гостинной. Особнячек был не совсем пригоден для семейной жизни, он промерзал в углах и по пазам. Ночами, работая, я окутывался всей одеждой, какая была у меня, а сверх ее — ковром и все-таки приобрел серьезнейший ревматизм. Это было почти сверхестественно при моем здоровье и выносливости, которыми я в ту пору обладал и хвастался.

В бане было теплее, но когда я топил печь, все наше жилище наполнялось удушливым запахом гнили, мыла и пареных веников. Девочка, изящная, фарфоровая куколка с чудесными глазами, нервничала, у нее болела голова.

А весной баню начали во множестве посещать пауки и мокрицы, — мать и дочь до судорог боялись их, и я должен был убивать насекомых резиновой галошей. Маленькие окна густо заросли кустами бузины и одичавшей малины, в комнате всегда было сумрачно, а пьяный капризный поп не позволял мне выкорчевать или хотя — бы подрезать кусты.

Разумеется, можно бы найти более удобное жилище, но мы задолжали попу, и я очень нравился ему, он не выпускал нас.

— Привыкнете! — говорил он. — А то, заплатите должишки и поезжайте, хоша бы к англичанинам.

Он не любил англичан, утверждая:

— Это нация ленивая, она ничего не выдумала, кроме пасьянсов и не умеет воевать.

Был он человечище огромный, с круглым красным лицом в широкой рыжей бороде, пьянствовал так, что уже не мог служить в церкви — до слез страдал от любви к маленькой остроносой и черной швейке, похожей на галку.

Рассказывая мне о коварствах ее, он смахивал ладонью слезы с бороды и говорил:

— Понимаю, — негодяйка она, но напоминает мне великомученницу Фимиаму и за то — люблю!

Я внимательно просмотрел святцы, — святой такого имени не было в них.

Возмущаясь моим неверием, он сотрясал душу мою такими доводами в пользу веры:

— Вы, сынок, взгляните на это практически: неверов — десятки, верующих же — миллионы! А — почему? Потому что, как рыба сия не может существовать без воды, так ровно и душа не живет вне церкви. Доказательно? Посему — выпьем!

— Я не пью, у меня ревматизм.

Вонзив вилку в кусок селедки, он угрожающе поднимал ее вверх и говорил:

— И это — от неверия!

Мне было мучительно, до бессоницы стыдно пред женщиной за эту баню, за частую невозможность купить мяса на обед, игрушку девочке, за всю эту проклятую, ироническую нищету. Нищета — порок, который меня лично не смущал и не терзал, но для маленькой изящной институтки и, особенно, для дочери ее, эта жизнь была унизительна, убийственна.

По ночам, сидя в своем углу за столом, переписывая прошения, апелляционные и кассационные жалобы, сочиняя рассказы, я скрипел зубами и проклинал себя, людей, судьбу, любовь.

Женщина держалась великодушно точно мать, когда она не хочет, чтоб сын видел, как трудно ей. Ни одной жалобы не сорвалось с ее губ на эту подлую жизнь: чем труднее слагались условия, — тем бодрей звучал ее голос, веселее — смех.

С утра до вечера она рисовала портреты попов, их усопших жен, чертила карты уездов, за эти карты земство получило на какой-то выставке золотую медаль. А когда иссякли заказы на портреты, она делала из лоскутков разных материй, соломы и проволоки самые модные парижские шляпы для девиц и дам нашей улицы. Я ничего не понимал в женских шляпах, но, очевидно, в них скрывалось что-то уморительно-комическое, — мастерица, примеряя перед зеркалом сделанный ею фантастический головной убор, задыхалась в судорожном смехе. Но я заметил, что эти шляпы странно влияют на заказчиц, украсив головы свои пестрыми гнездами для кур, они ходили по улице как-то особенно гордо выпячивая животы.

Я работал у адвоката и писал рассказы для местной газеты по две копейки за строку. Вечерами, за чаем, если у нас не было гостей, моя супруга интересно рассказывала мне о том, как царь Александр II посещал Белостокский институт, оделял благородных девиц конфектами, от них некоторые девицы чудесным образом беременели, и нередко та или иная красивая девушка исчезала, уезжая на охоту с царем в Беловежскую пущу, а потом выходила замуж в Петербурге.

Моя дама увлекательно рассказывала мне о Париже; я уже знал его по книгам, особенно по солидному труду Максима Дю-Кан, она изучала Париж по кабачкам Монтрмартра и суматошной жизни Латинского квартала. Эти рассказы возбуждали меня сильнее вина, и я сочинял какие-то гимны женщине, чувствуя, что именно силою любви к ней сотворена вся красота жизни.

Больше всего нравились мне и увлекали меня рассказы о романах, пережитых ею самой; она говорила об этом удивительно интересно, с откровенностью, которая, порою, сильно смущала меня. Посмеиваясь, легкими словами, точно штрихи тонко заостренного карандаша, она вычерчивала комическую фигуру генерала, ее жениха, который, выстрелив в зубра прежде царя, закричал вслед раненому быку:

— Простите, ваше императорское величество!

Рассказывала она о русских эмигрантах, и всегда в словах ее я чувствовал скрытую улыбку снисхождения к людям. Порою искренность ее нисходила до наивного цинизма, она вкусно облизывала губы острым, розовым языком кошки, а глаза ее

блестели как-то особенно. Иногда мне казалось, что в них сверкает огонек брезгливости, но чаще я видел ее с девочкой, самозабвенно играющей с куклами.

Однажды она сказала:

— Влюбленный русский всегда несколько многословен и тяжел, а нередко — противен красноречием. Красиво любить умеют только французы, для них любовь — почти религия.

После этого я невольно стал относиться к ней сдержаннее и бережливей.

О женщинах Франции она говорила:

— У них не всегда найдешь страстную нежность сердца, но они прекрасно заменяют ее веселой, тонко разработанной чувственностью, — любовь для них искусство.

Все это она говорила очень серьезно, поучающим тоном. Это не были совсем те знания, в которых я нуждался, но — все-таки это были знания и я слушал ее с жадностью.

— Между русскими и француженками, вероятно, такая же разница, как между фруктами и фруктовыми конфектами, — сказала она однажды лунной ночью, сидя в беседке сада.

Сама она была конфектой. Ее страшно удивило, когда, в первые дни нашей супружеской жизни, я, разумеется, вдохновенно изложил ей мои взгляды романтика на отношения мужчины и женщины.

— Это вы — серьезно? Вы действительно так думаете? — спросила она, лежа на руках у меня, в голубоватом свете луны.

Розовое тело ее казалось прозрачным, от него исходил хмельной, горьковатый запах миндаля. Ее тоненькие пальчики задумчиво играли гривой моих волос, она смотрела в лицо мне широко, тревожно раскрытыми глазами и улыбалась недоверчиво.

— А, Боже мой! — воскликнула она, спрыгнув на пол и стала задумчиво шагать по комнате из света в тень, сияя в луче луны атласом кожи, бесшумно касаясь пола босыми ногами. И, снова, подойдя ко мне, гладя ладонями щеки мои, сказала тоном матери:

— Вам нужно было начать жизнь с девушкой, — да, да! А не со мною . . .

Когда же я взял ее на руки, она заплакала тихонько говоря:

— Вы чувствуете, как я люблю вас, да? Мне никогда не

удавалось испытать столько радости, сколько я испытываю с вами, — это правда, поверьте! Никогда я не любила так нежно и ласково, с таким легким сердцем. Мне удивительно хорошо с вами, но все-таки, — я говорю: мы ошиблись, — я не то, что нужно вам, не то! Это я ошиблась.

Не понимая ее, я был испуган ее словами и торопливо погасил ее настроение радостью ласк. Но все-таки эти странные слова остались в памяти моей. А спустя несколько дней, она, в слезах восторга, снова тоскливо повторила эти слова:

— Ах, если-б я была девушкой! . . .

Помню, в эту ночь по саду металась вьюга, в стекла окон стучали ветви бузины, в трубе волком выл ветер, в комнате у нас было темно, холодно и шелестели отклеившиеся обои.

Заработав несколько рублей, мы приглашали знакомых и устраивали великолепные ужины: ели мясо, пили водку и пиво, ели пирожное и вообще — наслаждались. Моя парижанка, обладая прекрасным аппетитом, любила русскую кухню: «сычуг» — коровий желудок, начиненный гречневой кашей и гусиным салом, пироги с рыбьими жирами и соминой, картофельный суп с бараниной.

Она организовала орден «Жадненьких животиков», — десяток людей, которые, любя сытно поесть и хорошо выпить, эстетически тонко знали и красноречиво, неутомимо говорили о вкусных тайнах кухни, а я интересовался тайнами иного характера, ел мало и процесс насыщения не увлекал меня, оставаясь вне моих эстетических потребностей.

— Это — пустые люди! — говорил я о «жадненьких животиках».

— Как всякий, если его хорошенько встряхнуть, — отвечала она. — Гейне сказал: «Все мы ходим голыми под нашим платьем!»

Цитат скептического тона она знала много, но мне казалось, не всегда она удачно и уместно пользовалась ими.

Ей очень нравилось «встряхивать» ближних мужского пола и она делала это весьма легко. Неугомонно веселая, остроумная, гибкая, как змея, она быстро зажигала вокруг себя шумное оживление, возбуждая эмоции не очень высокого качества. Достаточно было человеку побеседовать с нею несколько минут

и у него краснели уши, потом они становились лиловыми, глаза, томно увлажняясь, смотрели на нее взглядом козла на капусту.

— Магнитная женщина! — восхищался некий заместитель нотариуса, неудачник-дворянин, с бородавками Дмитрия Самозванца и животом об'ема церковной главы.

Белобрысый ярославский лицеист сочинял ей стихи, — всегда дактилем. Мне они казались отвратительными, она — хохотала над ними до слез.

— Зачем ты возбуждаешь их? — спрашивал я.

— Это так же интересно, как удить окуней. Это называется — кокетство. Нет ни одной женщины, уважающей себя, которая не любила бы кокетничать.

Иногда она спрашивала, улыбаясь, заглядывая в глаза мне — ревнуешь?

Нет, я не ревновал, но все это немножко мешало мне жить, я не любил пошлых людей. Я был веселым человеком и знал, что смех — прекраснейшее свойство людей. Я считал клоунов цирка, юмористов открытых сцен и комиков театра — бездарными людьми, уверенно чувствуя, что сам я мог бы смешить лучше их. И нередко мне удавалось заставлять наших гостей смеяться до боли в боках.

— Боже мой! — восхищалась она. — Каким удивительным комиком мог бы ты быть! Иди на сцену, иди!

Сама она с успехом играла в любительских спектаклях, ее приглашали на сцену серьезные антрепренеры.

— Я люблю сцену, но — боюсь кулис, — говорила она.

Она была правдива в желаниях, мыслях и словах.

— Ты, — слишком много философствуешь, — поучала она меня. — Жизнь, в сущности, проста и груба; не нужно осложнять ее поисками какого-то особенного смысла в ней, нужно только научиться смягчать ее грубость. Больше этого — не достигнешь ничего.

В ее философии я чувствовал избыток гинекологии и мне казалось, что Евангелием ей служит «Курс акушерства». Она сама рассказывала мне, как ошеломила ее какая-то научная книга, первая, которую прочитала она после института.

— Наивная девчонка, я почувствовала удар кирпичем по голове; мне показалось, что меня сбросили с облаков в грязь,

я плакала от жалости к тому, во что уже не могла верить, но скоро ощутила под собою, хотя жестокую, а — твердую почву. Всего более жалко было Бога, я так хорошо, близко чувствовала его, и вдруг он рассеялся точно дым папиросы, и вместе с ним исчезла мечта о небесном блаженстве любви. А, все мы, в институте, так много думали, так хорошо говорили о любви!

Плохо действовал на меня ее институтско-парижский нигилизм. Бывало, ночью, встав из-за стола, я шел смотреть на нее, в постели она казалась еще меньше, изящнее, красивее, — смотрел и с великой горечью думал о ее надломленной душе, о запутанной жизни. И жалость к ней усиливала мою любовь.

Литературные вкусы наши непримиримо расходились: я с восторгом читал Бальзака, Флобера, ей больше нравились Поль Феваль, Октав Фейлье, Поль де-Кок и, особенно, — «Девица Жиро, моя супруга», эту книгу она считала самой остроумной, мне же она казалась скучной, как «Уложение о наказаниях». Несмотря на все это, наши отношения сложились очень хорошо, мы не теряли интереса друг к другу и не гасла страсть. Но на третий год совместной жизни я стал замечать в душе у меня что-то зловеще поскрипывает и — все звучнее, заметней. Я непрерывно, жадно учился, читал и начал серьезно увлекаться литературной работой; мне все более мешали гости, люди мало интересные, они количественно разрастались, ибо я и жена стали зарабатывать больше и могли чаще устраивать обеды и ужины.

Ей жизнь казалась чем-то вроде паноптикума, а так как на мужчинах не было предостерегающей надписи: «Просят руками не трогать», то иногда она подходила к ним слишком неосторожно, а они оценивали ее любопытство чересчур выгодно для себя и на этой почве возникали недоразумения, которые я принужден был разрешать. Я делал это, порою, недостаточно сдержанно и, вероятно, всегда очень неумело; человек, которому я натрепал уши, жаловался на меня:

— Ну, хорошо, сознаюсь, я виноват! Но — драть меня за уши, -- да, что я, мальчишка, что-ли? Я почти вдвое старше этого дикаря, а он меня — за уши треплет! Ну, ударил бы, все-таки это приличнее!

Очевидно, — я не обладал искусством наказывать ближнего в меру его самоуважения.

К моим рассказам жена относилась довольно равнодушно, но это нисколько не задевало меня, до некоторой поры: я сам тогда еще не верил, что могу быть серьезным литератором и смотрел на мою работу в газете только как на средство к жизни, хотя уже не редко испытывал приливы горячей волны какого-то странного самозабвения. Но, однажды утром, когда я читал ей в ночь написанный рассказ «Старуха Изергиль», она крепко уснула. В первую минуту это не обидело меня, я только перестал читать и задумался, глядя на нее.

Склонив на спинку дряхлого дивана маленькую, милую мнѣ голову, приоткрыв рот, она дышала ровно и спокойно, как ребенок. Сквозь ветви бузины в окно смотрело утреннее солнце, золотые пятна, точно какие-то воздушные цветы, лежали на груди и коленях женщины.

Я встал и тихонько вышел в сад, испытывая боль глубокого укола обиды, угнетенный сомнением в моих силах.

За все дни, прожитые мною, я видел женщин только в тяжелом, рабском труде, в грязи, в разврате, в нищете или в полумертвой, самодовольной, пошлой сытости. Было у меня только одно прекрасное впечатление детства — «Королева Марго», но от него отделял меня целый горный хребет иных впечатлений. Мне думалось, что история жизни Изергиль должна нравиться женщинам, способна возбудить в них жажду свободы, красоты. И — вот, самая близкая мне не тронута моим рассказом, — спит!

Почему? Не достаточно звучен колокол, отлитый жизнью в моей груди?

Эта женщина была принята сердцем моим вместо матери. Я ожидал и верил, что она способна напоить меня пьяным медом, возбуждающим творческие силы, ждал, что ее влияние смягчит грубость, привитую мне на путях жизни.

Это было тридцать лет тому назад и я вспоминаю об этом с улыбкою в душе. Но в ту пору неоспоримое право человека спать, когда ему хочется, — очень огорчило меня.

Я верил: если говорить о грустном весело, печаль исчезнет.

И я подозревал, что в мире хитроумно действует некто, кому приятно любоваться страданиями людей; мне казалось, что существует некий дух, творец житейских драм, и ловко портит

жизнь; я считал невидимого драматурга личным моим врагом и старался не поддаваться его уловкам.

Помню, — когда я прочитал в книге Ольденбурга «Будда, его жизнь, учение и община»: «Всякое существование суть — страдание» — это глубоко возмутило меня, я не очень много испытал радостей жизни, но горькие муки ее казались мне случайностью, а не законом. Внимательно прочитав солидный труд архиепископа Хрисанфа «Религия Востока», я еще более возмущенно почувствовал, что учения о мире, основанные на страхе, унынии, страдании, — совершенно неприемлемы для меня. И тяжело пережив настроение религиозного экстаза я был оскорблен бесплодностью этого настроения. Отвращение к страданию вызывало у меня органическую ненависть ко всяким драмам и я не плохо научился превращать их в смешные водевили.

Конечно — можно бы не говорить все это для того только, чтобы сказать: между мною и женщиной назревала «семейная драма», но оба мы дружно сопротивлялись развитию ее. Я немножко пофилософствовал потому, что мне захотелось упомянуть о забавных извилинах пути, которым я шел на поиски самого себя.

Моя женщина, по веселой природе своей, тоже была неспособна к драматической игре дома, — к игре, которой так любят увлекаться чрезмерно «психологические» русские люди обоего пола.

Но — унылые дактили белобрысого лицеиста все-таки действовали на нее как осенний дождь. Круглым, красивым почерком он тщательно исписывал листики почтовой бумаги и тайно совал их всюду — в книги, в шляпу, в сахарницу. Находя эти аккуратно сложенные листочки, я подавал их жене, говоря:

— Примите сию очередную попытку уязвить сердце ваше!

В начале бумажные стрелы Купидона не действовали на нее, она читала мне длинные стихи и мы единодушно хохотали, встречая памятные строки:

«Днями, ночами — я с вами вдвоем,
Все отражается в сердце моем:
Ручки движенье, кивок головы,
Горлинкой нежной воркуете вы.
Ястребом — мысленно — вьюсь я над вами».

Но, однажды, прочитав такой доклад лицеиста, она задумчиво сказала:

— А мне его жалко!

Помню, — я пожалел не его, а она с этой минуты перестала читать дактили вслух.

Поэт, коренастый парень, старше меня года на четыре, был молчалив, очень пристрастен к спиртным напиткам и замечательно усидчив. Придя, в праздник, к обеду, в два часа дня, он мог, неподвижно и немо, сидеть до двух часов ночи. Он был, как и я, письмоводителем адвоката, весьма изумлял своего добродушного патрона рассеянностью, к работе относился небрежно и часто говорил сиповатым басом:

— Вообще, — все это ерунда!

— А что же не ерунда?

— Как вам сказать? — спрашивал он задумчиво, поднимая к потолку серые, скучные глаза, и — не говорил ничего больше. Он был как-то особенно тяжело и словно напоказ — скучен, это более всего раздражало меня. Напивался он медленно; пьяный иронически фыркал носом, — кроме этого, я ничего особенного не замечал в нем, ибо — существует закон, по силе которого, с точки зрения мужа, человек, ухаживающий за его женой, всегда плохой человек.

Откуда-то с Украины богатый родственник присылал лицеисту по пятьдесят рублей в месяц; большие деньги в то время. По праздникам лицеист приносил жене моей конфекты, а в день ее имени подарил ей часы — будильник, бронзовый пень, а на нем сова терзает ужа.

Эта отвратительная машина всегда будила меня на час и семь минут раньше, чем следовало.

Жена, перестав кокетничать с лицеистом, начала относиться к нему с нежностью женщины, которая чувствует себя виновной в нарушении душевного равновесия мужчины. Я спросил, чем, по ее мнению, должна окончиться эта грустная история?

— Не знаю, — ответила она. — У меня нет определенного чувства к нему, но — мне хочется встряхнуть его. В нем заснуло что-то и, кажется, я могла бы его разбудить.

Я знал, что она говорит правду, — ей всех и каждого хотелось разбудить, в этом она очень легко достигала успеха: раз-

будит ближнего и в нем проснется скот. Я напоминал ей о Цирцее, но это не укрощало ее стремления «встряхивать» мужчин и я видел, как вкруг меня постепенно разростается стадо баранов, быков и свиней.

Знакомые великодушно рассказывали мне потрясающие мрачные легенды о семейном быте моем, а я был прямодушен, груб и предупреждал творцов легенд:

— Я буду бить вас!

Некоторые — лживо оправдывались; обижались — немногие и не очень. А женщина говорила мне:

— Поверь, — грубостью ничего не достигнешь, только еще хуже станут говорить! Ведь ты — не ревнуешь?

Да, я был слишком молод и уверен в себе, для того, чтобы ревновать. Но — есть чувства, мысли и догадки, о которых говоришь только любимой женщине и не скажешь никому больше. Есть такой час общения с женщиной, когда становишься чужим самому себе и открываешь себя пред нею, как верующий пред Богом своим. Когда я представлял себе, что все это — очень и только мое — она, в интимную минуту, может рассказать кому-то другому, мне становилось тяжело, я чувствовал возможность чего-то, очень похожего на предательство. Может быть это опасение и является корнем ревности?

Я чувствовал, что такая жизнь может вывихнуть меня с пути, которым я иду. Я уже начинал думать, что иного места в жизни, кроме литературы, — нет для меня. В этих условиях невозможно было работать.

От крупных скандалов меня удерживало то, что на ходу жизни, я выучился относиться к людям терпимо, не теряя, однако, ни душевного интереса, ни уважения к ним. Я уже и тогда видел, что все люди более или менее грешны перед неведомым Богом совершенной правды, а перед человеком особенно грешат признанные праведники. Праведники — ублюдки от соития порока с добродетелью и соитие это не является насилием порока над добродетелью — или наоборот — но естественный результат их законного брака, в котором ироническая необходимость играет роль попа. Брак же есть таинство, силою которого две яркие противоположности, соединяясь, рождают почти всегда — унылую посредственность.

В ту пору мне нравились парадоксы, — как мороженное мальчику, острота их возбуждала меня как хорошее вино, и парадоксальность слов всегда сглаживала грубые, обидные парадоксы фактов.

— Мне кажется, будет лучше, если я уеду, — сказал я жене.

Подумав, она согласилась:

— Да, ты прав! Эта жизнь, — не по тебе, я понимаю!

Мы оба немножко и молча погрустили, крепко обняв друг друга, и я уехал из города, а вскоре уехала и она, поступив на сцену. Так кончилась история моей первой любви, — хорошая история, несмотря на ее плохой конец.

Недавно моя первая женщина умерла.

В похвалу ей скажу: это была настоящая женщина! Она умела жить тем, что есть, но каждый день для нее был кануном праздника, она всегда ждала, что завтра на земле расцветут новые, необыкновенные цветы, откуда-то придут необычно интересные люди, разыграются удивительные события.

Относясь к невзгодам жизни насмешливо, полупрезрительно, она отмахивалась от них, точно от комаров, и всегда в душе ее трепетала готовность радостно удивиться. Но — это уже не наивное восхищение институтки, а здоровая радость человека, которому нравится пестрая суета жизни, трагикомически запутанные связи людей, поток маленьких событий, которые мелькают, как пылинки в луче солнца.

Не скажу, чтоб она любила ближних, нет, но ей нравилось рассматривать их. Иногда она ускоряла или осложняла развитие будничных драм между супругами или влюбленными, искусно возбуждая ревность одних, способствуя сближению других, эта небезопасная игра очень увлекала ее.

— «Любовь и голод правят миром», а философия — несчастие его, — говорила она. — Живут — для любви — это самое главное дело жизни.

Среди наших знакомых был чиновник государственного банка: длинный, тощий, он ходил медленной и важной походкой журавля, тщательно одевался и, заботливо осматривая себя, щелчками сухих, желтых пальцев, сбивал, никому кроме его невидимые, пылинки со своего костюма. Оригинальная мысль, яркое слово были враждебны ему, как будто брезговали его языком, тяжелым и точным. Говорил он солидно,

внушительно и, раньше, чем сказать что-либо, всегда неоспоримое, расплавлял холодными пальцами рыжеватые, редкие усы.

— С течением времени наука химии приобретает все большее значение в промышленности, обрабатывающей сырье. О женщинах совершенно справедливо сказано, что они — капризны. Между женой и любовницей нет физиологической разницы, а только юридическая.

Я серьезно спрашивал жену:

— В силах ли ты утверждать, что все нотариусы — крылаты?

Она отвечала виновато и печально:

— О, нет, у меня не хватит сил на это, но — я утверждаю: смешно кормить слонов яйцами в смятку!

Наш друг, послушав минуты две такой диалог, проницательно заявлял:

— Мне кажется, что вы говорите все это совершенно не серьезно.

Однажды, больно ударив колено о ножку стола, он сморщился и сказал с полным убеждением:

— Плотность — неоспоримое свойство материи . . .

Бывало, — проводив его, приятно возбужденная, горячая и легкая, жена говорила, полулежа на коленях у меня:

— Ты посмотри, как совершенно, как законченно он глуп. Глуп во всем, — даже походка, жесты, — все глупо. Он мне нравится как нечто образцовое. Погладь мои щеки!

Она любила когда я, едва касаясь пальцами кожи лица, разглаживал чуть заметные морщинки под милыми глазами ее. Зажмурясь, поеживаясь точно кошка, она мурлыкала:

— Как удивительно интересны люди. Даже, когда человек не интересен для всех, — он возбуждает меня. Мне хочется заглянуть в него, как в коробочку, — вдруг там хранится что-то никому незаметное, никогда непоказанное, только я одна и я первая увижу это.

В ее поисках «никому незаметного» не было напряжения, она искала с удовольствием и любопытством ребенка, который впервые пришел в комнату, незнакомую ему. И, порою, она действительно зажигала в тусклых глазах безнадежно скучного человека острый блеск напряженной мысли, но — более часто вызывала упрямое желание обладать ею.

Она любила тело свое и, нагая, стоя перед зеркалом, восхищалась:

— Как это славно сделано, — женщина! Как все в ней гармонично!

Она говорила:

— Когда я хорошо одета, я чувствую себя более здоровой, сильной и умной!

Так и было: нарядная, она становилась веселей, остроумней, ее глаза сияли победоносно. Она умела красиво шить для себя платья из ситца, носила их как шелк и бархат и, одетая всегда очень просто, казалась мне одетой великолепно. Женщины восхищались ее нарядами; конечно, — не всегда искренно, но всегда очень громко, они завидовали ей, и, помню, одна из них печально сказала:

— Мое платье втрое дороже вашего и в десять раз хуже, — мне даже больно и обидно смотреть на вас!

Конечно, женщины не любили ее, разумеется, сочиняли сплетни о нас. Знакомая фельдшерица, очень красивая, но еще более — не умная, великодушно предупреждала меня:

— Эта женщина высосет из вас всю кровь!

Многому научился я около моей первой дамы. Но всетаки меня больно жгло отчаяние непримиримого различия между мной и ею.

Для меня жизнь была серьезной задачей, я слишком много видел, думал, я жил в непрерывной тревоге. В душе моей нестройным хором кричали вопросы, чуждые духу этой славной женщины.

Однажды, на базаре, полицейский избил благообразного старика, одноглазого еврея за то, что еврей, будто бы, украл у торговца пучек хрена. Я встретил старика на улице, вываляннный в пыли, он шел медленно, с какой-то картинной торжественностью, его большой черный глаз строго смотрел в пустое знойное небо, а из разбитого рта по белой, длинной бороде тонкими струйками текла кровь, окрашивая серебро волос в яркий пурпур.

Тридцать лет тому назад было это, и я вот сейчас, вижу перед собою этот взгляд устремленный в небо с безмолвным упреком, вижу как дрожат на лице старика серебряные иглы бровей. Не забываются оскорбления, нанесенные человеку, и — да не забудутся!

Я пришел домой совершенно подавленный, искаженный тоской и злобой. Такие впечатления вышвыривали меня из жизни, я становился чуждым человеком в ней, человеком, которому намеренно — для пытки его — показывают все грязное, глупое, страшное, что есть на земле, все, что может оскорбить душу. И вот в эти часы, в эти дни особенно ясно видел я, как далек от меня самый близкий мне человек.

Когда я рассказал ей о избитом еврее, она очень удивилась.

— И — поэтому ты сходишь с ума? О, какие у тебя плохие нервы!

Потом спросила:

— Ты говоришь — красивый старик? Но, — как же красивый, если он — кривой?

Всякое страдание было враждебно ей, она не любила слушать рассказы о несчастиях, лирические стихи почти не трогали ее, сострадание редко вспыхивало в маленьком, веселом сердце. Ее любимыми поэтами были Беранже и Гейне, человек, который мучился — смеясь.

В ее отношении к жизни было нечто сродное вере ребенка в безграничную ловкость фокусника; все показанные фокусы интересны, но самый интересный еще впереди. Его покажут в следующий час, может быть — завтра, но — его покажут!

Я думаю, что и в минуту смерти своей она все еще надеялась увидать этот последний, совершенно непонятный, удивительно ловкий фокус.

В. Г. Короленко.

Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса, — В. Г. Короленко был в Петербурге.

Не имея работы, я написал несколько маленьких рассказов и послал их в «Волжский Вестник» Рейнгардта, самую влиятельную газету Поволжья, благодаря постоянному сотрудничеству в ней В. Г.

Рассказы были подписаны М. Г. или Г—ий, их быстро напечатали, Рейнгардт прислал мне довольно лестное письмо и кучу денег, около тридцати рублей. Из каких-то побуждений, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое авторство даже от людей очень близких мне, от Н. З. Васильева и А. И. Ланина; не придавая серьезного значения этим рассказам, я не думал, что они решат мою судьбу. Но Рейнгардт сообщил Короленко мою фамилию, и когда В. Г. вернулся из Петербурга, мне сказали, что он хочет видеть меня.

Он жил все в том же деревянном доме архитектора Лемке на краю города. Я застал его за чайным столом в маленькой комнатке окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг и газет повсюду.

Жена и дети, кончив пить чай, собирались гулять. Он показался мне еще более прочным, уверенным и кудрявым.

— А мы только-что читали ваш рассказ «О чиже» — ну, вот, вы и начали печататься, поздравляю! Оказывается, вы — упрямый, все аллегории пишете. Что же, — и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство — не дурное качество.

Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя на меня прищуренными глазами. Лоб и шея у него густо покрыты летним загаром, борода — выцвела. В сарпинковой рубахе синего

цвета, подпоясанной кожаным ремнем, в черных брюках, заправленных в сапоги, он, казалось, только-что пришел откуда-то издалека и сейчас снова уйдет. Его спокойные умные глаза сияли бодро и весело.

Я сказал, что у меня есть еще несколько рассказов и один напечатан в газете «Кавказ».

— Вы ничего не принесли с собой? Жаль. Пишете вы очень своеобразно. Не слажено все у вас, шероховато, но — любопытно. Говорят — вы много ходили пешком? Я тоже, почти все лето, гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге. А вы где были?

Когда я кратко очертил ему путь мой, он одобрительно воскликнул:

— Ого? Хорошая путина! Вот почему вы так возмужали за эти — три года, почти? И силищи накопили, должно быть, много?

Я только-что прочитал его рассказ «Река играет», он очень понравился мне и красотой и содержанием. У меня было чувство благодарности к автору и я стал восторженно говорить о рассказе.

В лице перевозчика Тюлина Короленко дал, на мой взгляд, изумительно верно понятый и великолепно изображенный тип крестьянина «героя на час». Такой человек может самозабвенно и просто совершить подвиг великодушия, а вслед затем изувечить до полусмерти жену, разбить колом голову соседа. Он может очаровать вас добродушными улыбками, сотней сердечных слов, ярких, как цветы, и вдруг, без причины, наступить на лицо вам ногою в грязном сапоге. Как Козьма Минин, он способен организовать народное движение, а потом — «спиться с круга», «скормить себя вшам».

В. Г. выслушал мою путанную речь, не прерывая, внимательно присматриваясь ко мне, это очень смущало меня. Порою, он закрыв глаза, пристукивал ладонью по столу, а потом встал со стула, прислонился спиной к стене и сказал, усмехаясь добродушно.

— Вы преувеличили. Скажем проще: рассказ удачный. Этого достаточно. Не утаю — мне самому нравится он. Ну, а таков ли мужик вообще, каков Тюлин, — этого я не знаю! А вот вы хорошо говорите, выпукло, ярко, крепким языком, — на-те вам в отплату за вашу похвалу! И чувствуется, что видели вы

много, подумали немало. С этим я вас от души поздравляю. От души!

Он протянул мне руку с мозолями на ладони, должно быть от весел или топора, он любил колоть дрова и вообще физический труд.

— Ну, расскажите, что видели?

Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными искателями правды, — они сотнями шагают из города в город, из монастыря в монастырь по запутанным дорогам России.

Глядя в окно, на улицу, Короленко сказал:

— Чаще всего они — бездельники. Неудавшиеся герои, противно влюбленные в себя. Вы заметили, что почти все они злые люди? Большинство их ищет вовсе не «святую правду», а легкий кусок хлеба и — кому бы на шею с'есть?

Слова эти, сказанные спокойно, поразили меня сразу, открыв предо мною правду, которую я смутно чувствовал.

— Хорошие рассказчики есть среди них, — продолжал Короленко. — Богатого языка люди. Иной говорит, как шелками вышивает.

«Искатели правды», «взыскующие града» — это были любимые герои житийной народнической литературы, а вот Короленко именует их бездельниками, да еще и злыми! Это звучало почти кощунством, но в устах В. Г. продуманно и решенно. И слова его усилили мое ощущение душевной независимости этого человека.

— На Волыни и в Подолье — не были? Там — красиво!

Сказал я ему о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадтским, — он живо воскликнул:

— Как же вы думаете о нем? Что это за человек?

Человек искренно верующий, как веруют иные не мудрые сельские попики хорошего, честного сердца. Мне кажется он испуган своей популярностью, тяжела она ему, не по плечу. Чувствуется в нем что-то случайное и, как будто, он действует не по своей воле. Все время спрашивает Бога своего: так ли Господи? и всегда боится: не так!

— Странно слышать это, — задумчиво сказал В. Г.

Потом он сам начал рассказывать о своих беседах с мужиками Лукоянова, сектантами Керженца, великолепно, с тонким, цепким юмором, подчеркивая в речах собеседников забавное соче-

тание невежества и хитрости, ловко отмечая здравый смысл мужика и его осторожное недоверие к чужому человеку.

— Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси. Но если это и не так, то во всяком случае характеры думающих и верующих людей бесконечно и несоединимо разнообразны у нас.

Он веско заговорил о необходимости внимательного изучения духовной жизни деревни.

— Этого не исчерпает этнография, нужно подойти как-то иначе, ближе, глубже. Деревня — почва, на которой мы все растем и много чертополоха, много бесполезных сорных трав. Сеять «разумное, доброе, вечное» на этой почве надо также осторожно, как и энергично. Вот я летом беседовал с молодым человеком, весьма неглупым, но — он серьезно убеждал меня, что деревенское кулачество — прогрессивное явление, потому что, видите ли, кулаки накопляют капитал, а Россия обязана стать капиталистической страной. Если такой пропагандист попадет в деревню . . .

Он засмеялся.

Провожая меня, он снова пожелал мне успеха.

— Так вы думаете — я могу писать? — спросил я.

— Конечно! — воскликнул он несколько удивленный. — Ведь вы уже пишете, печатаетесь, — чего же? Захотите посоветоваться — несите рукописи, потолкуем . . .

Я вышел от него в бодром настроении человека, который после жаркого дня и великой усталости выкупался в прохладной воде лесной речки.

В. Г. Короленко вызвал у меня крепкое чувство уважения, но, почему-то, я не ощутил к писателю симпатии и это огорчило меня. Вероятно, это случилось потому, что в ту пору учителя и наставники уже несколько тяготили меня, мне очень хотелось отдохнуть от них, поговорить с хорошим человеком дружески, просто, о том, что беспощадно волновало меня. А когда я приносил материал моих впечатлений учителям, они кроили и сшивали его сообразно моде и традициям тех политико-философских фирм, закройщиками и портными которых они являлись. Я чувствовал, что они совершенно искренно не могут шить и кроить иначе, но я видел, что они портят мой материал.

Недели через две, я принес Короленко рукописи сказки «О рыбаке и фее» и рассказа «Старуха Изергиль», только-что написанного мною. В. Г. не было дома, я оставил рукописи и на другой же день получил от него записку: «Приходите вечером поговорить. Вл. Кор.»

Он встретил меня на лестнице с топором в руке.

— Не думайте, что это мое орудие критики, — сказал он, потрясая топором, — нет, это я полки в чулане устраивал. Но, — некоторое усекновение главы ожидает вас . . .

Лицо его добродушно сияло, глаза весело смеялись и, как от хорошей, здоровой русской бабы, от него пахло свеже выпеченным хлебом.

— Всю ночь — писал, а после обеда уснул; проснулся — чувствую: надо повозиться!

Он был непохож на человека, которого я видел две недели тому назад; я совершенно не чувствовал в нем наставника и учителя; передо мной был хороший человек, дружески внимательно настроенный ко всему миру.

— Ну-с, — начал он, взяв со стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему, — прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе, да еще в переводе нашей милой старушки Мысовской, — я бы сказал барышне: — Недурно, а, все-таки, выходите замуж! Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки, — это почти гнусно, во всяком случае преступно. Когда это вы разразились?

— Еще в Тифлисе . . .

— То-то! У вас тут сквозит пессимизмом. Имейте в виду: пессимистическое отношение к любви — болезнь возраста, это теория наиболее противоречивая практике, чем все иные теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-что.

Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьезно.

— Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они оригинальны, это я вам напечатаю. «Старуха» написана лучше, серьезнее, но — все-таки и снова — аллегория. Не доведут они вас до добра! Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете!

Он задумался, перелистывая рукопись:

— Странная какая-то вещь. Это — романтизм, а он — давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскре-

сенья. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист! В частности, там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным, — нет, не так?

— Возможно.

— Ага, вот видите! Я же — говорю: мы кое-что знаем о вас. Но — это недопустимо, личное — изгоняйте! Разумею — узко личное.

Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза, — я смотрел на него все с бóльшим удивлением, как на человека, которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подвинулся ко мне, положил руку на мое колено.

— Слушайте, — можно говорить с вами запросто? Знаю я вас — мало, слышу о вас — много, и кое-что вижу сам. Плохо вы живете. Не туда попали. По моему вам надо уехать отсюда или жениться на хорошей, неглупой девушке.

— Но я женат.

— Вот это и плохо!

Я сказал, что не могу говорить на эту тему.

— Ну, извините.

Он начал шутить, потом, вдруг озабоченно спросил:

— Да! Вы слышали, что Ромась арестован? Давно? Вот как. Я только вчера узнал. Где? В Смоленске? Что же он делал там?

На квартире Ромася была арестована типография «народоправцев», организованная им.

— Неугомонный человек, — задумчиво сказал В. Г. — Теперь — снова сошлют его куда-нибудь. Что он — здоров? Здоровеннейший мужик был . . .

Он вздохнул, повел широкими плечами.

— Нет, все это — не то! Этим путем ничего не достигнешь. Астыревское дело — хороший урок, он говорит нам: беритесь за черную, легальную работу, за будничное культурное дело. Самодержавие — больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать, — мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток лет легальной работы.

Он долго говорил на эту тему и чувствовалось, что говорит он о своей живой вере.

Пришла Авдотья Семеновна, зашумели дети, я простился и ушел с хорошим сердцем.

Известно, что в провинции живешь как под стеклянным колпаком, — все знают о тебе, знают, о чем ты думал в среду около двух часов и в субботу перед всенощной; знают тайные намерения твои и очень сердятся, если ты не оправдываешь пророческих догадок и предвидений людей.

Конечно, весь город узнал, что Короленко благосклонен ко мне, и я принужден был выслушать не мало советов такого рода:

— Берегитесь, собьет вас с толка эта компания поумневших!

Подразумевался, популярный в то время, рассказ П. Д. Боборыкина «Поумнел», — о революционере, который взял легальную работу в земстве, после чего он потерял дождевой зонтик и его бросила жена.

— Вы — демократ, вам нечему учиться у генералов, вы — сын народа! — внушали мне.

Но я уже давно чувствовал себя пасынком народа, это чувство, от времени, усиливалось и, как я уже говорил, сами народопоклонники казались мне такими же пасынками как я. Когда я указывал на это, — мне кричали:

— Вот видите, — вы уже заразились!

Группа студентов Ярославского лицея пригласила меня на пирушку, я что-то читал им, они подливали в мой стакан пива — водку, стараясь делать это незаметно для меня. Я видел их маленькие хитрости, понимал, что они хотят «в дребезги» напоить меня, но не мог понять — зачем это нужно им? Один из них, самовлюбленный и чахоточный, убеждал меня:

— Главное — пошлите ко всем чертям идеи, идеалы и всю эту дребедень! Пишите — просто! Долой идеи . . .

Невыносимо надоедали мне все эти советы.

В. Г. Короленко, как всякий заметный человек, подвергался разнообразному воздействию обывателей. Одни, искренно ценя его внимательное отношение к человеку, пытались вовлечь писателя в свои личные, мелкие дрязги, другие избрали его об'ектом для испытания легкой клеветой. Моим знакомым не очень нравились его рассказы.

— Этот ваш Короленко, кажется, даже в Бога верует, — говорили мне.

Почему-то особенно не понравился рассказ «За иконой», находили, что это — «этнография», не более.

— Так писал еще Павел Якушкин.

Утверждали, что характер героя-сапожника, — взят из «Нравы Растеряевской улицы» Г. Успенского. В общем критики напоминали мне одного Воронежского иеромонаха, который, выслушав подробный рассказ о путешествии Миклухи-Маклая, недоуменно и сердито спросил:

— Позвольте! Вы сказали: он привез в Россию папуаса. Но — зачем же, именно, папуаса? И — почему только одного?

Рано утром я возвращался с поля, где гулял ночь, и встретил В. Г. у крыльца его квартиры.

— Откуда? — удивленно спросил он. — А я иду гулять, отличное утро! Пройдемтесь?

Он, видимо, тоже не спал ночь: глаза красны и сухи, смотрят утомленно, борода сбита в клочья, одет небрежно.

— Прочитал я в «Волгаре» вашего «Деда Архипа», — это недурная вещь, ее можно бы напечатать в журнале. Почему вы не показали мне этот рассказ прежде чем печатать его? И почему вы не заходите ко мне?

Я сказал, что меня оттолкнул от него жест, которым он дал мне три рубля взаймы, он протянул мне деньги молча, стоя спиной ко мне. Меня это обидело. Занимать деньги в долг так трудно, я прибегал к этому только в случаях действительно крайней необходимости.

Он задумался, нахмурясь:

— Не помню! Во всяком случае это было, если вы говорите, что было. Но вы должны извинить мне эту небрежность. Вероятно, я был не в духе, это часто бывает со мною последнее время. Вдруг, задумаюсь, точно в колодец свалился. Ничего не вижу, не слышу, но что-то слушаю и очень напряженно.

Взяв меня под руку, он заглянул в глаза мне.

— Вы забудьте это. Обижаться вам не на что, у меня хорошее чувство к вам, но что вы обиделись, это вообще — не плохо. Мы не очень обидчивы, вот это плохо! Ну, забудем. Вот что я хочу сказать вам: пишете вы много, торопливо, нередко в рассказах ваших видишь недоработанность, неясность. В «Архипе», — там, где описан дождь, — не то стихи, не то ритмическая проза. Это — нехорошо.

Он много и подробно говорил и о других рассказах, было ясно,

что он читает все, что я печатаю, с большим вниманием. Разумеется, — это очень тронуло меня.

— Надо помогать друг другу, — сказал он в ответ на мою благодарность. — Нас — не много! И всем нам — трудно.

Понизив голос, он спросил:

— А вы не слышали, — правда, что в деле Ромася и других запуталась некая девица Истомина?

Я знал эту девицу, познакомился с ней, вытащив ее из Волги, куда она бросилась вниз головою с кормы дощанника. Вытащить ее было легко, она пробовала утопиться на очень мелком месте. Это было бесцветное, неумное существо, с наклонностью к истерии и болезненной любовью ко лжи. Потом, она была, кажется, гувернанткой у Столыпина в Саратове и убита, в числе других, бомбой максималистов при взрыве дачи министра на Аптекарском Острове.

Выслушав мой рассказ, В. Г. почти гневно сказал:

— Преступно вовлекать таких детей в рискованное дело. Года четыре тому назад или больше, я встречал эту девушку. Мне она не казалась такой, как вы ее нарисовали. Просто — милая девчурка, смущенная явной неправдой жизни, из нее могла бы выработаться хорошая сельская учительница. Говорят, — она болтала на допросах? Но, что же она могла знать? Нет, я не могу оправдать приношение детей в жертву Ваалу политики . . .

Он пошел быстрее, а у меня болели ноги, я спотыкался и отставал:

— Что это вы?

— Ревматизм.

— Рановато! О девочке вы говорили совсем неверно, на мой взгляд. А, вообще, вы хорошо рассказываете. Вот что, — попробуйте вы написать что-либо покрупнее, для журнала. Это пора сделать. Напечатают вас в журнале и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно.

Не помню, чтоб он еще когда-нибудь говорил со мною так обаятельно, как в это славное утро, после двух дней непрерывного дождя, среди освеженного поля.

Мы долго сидели на краю оврага у еврейского кладбища, любуясь изумрудами росы на листьях деревьев и травах, он рассказывал о трагикомической жизни евреев «черты оседлости», а под глазами его все росли тени усталости.

Было уже часов девять утра, когда мы воротились в город. Прощаясь со мною, он напомнил:

— Значит — пробуете написать большой рассказ, решено?

Я пришел домой и тотчас же сел писать «Челкаша», рассказ одесского босяка, моего соседа по койке, в больнице города Николаева; написал в два дня и послал черновик рукописи В. Г.

Через несколько дней он привел к моему патрону обиженных кем-то мужиков и сердечно, как только он умел делать, поздравил меня.

— Вы написали недурную вещь. Даже, прямо-таки хороший рассказ! Из целого куска сделано . . .

Я был очень смущен его похвалой.

Вечером, сидя верхом на стуле в своем кабинетике, он оживленно говорил:

— Совсем не плохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувств, это не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист!

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:

— Но, в то же время — романтик! И, вот что, вы сидите здесь не более четверти часа, а курите уже четвертую папиросу . . .

— Очень волнуюсь . . .

— Напрасно. Вы и всегда какой-то взволнованный, поэтому, видимо, о вас и говорят, что вы много пьете. Костей у вас — много, мяса — нет, курите — не нужно, без удовольствия, — что это с вами?

— Не знаю.

— А — пьете много, — есть слух?

— Врут.

— И какие-то оргии у вас там . . .

Посмеиваясь, пытливо поглядывая на меня, он рассказал несколько, не плохо сделанных, сплетен обо мне.

Потом, памятно сказал:

— Когда кто-нибудь немножко высовывается вперед, его — на всякий случай — бьют по голове; — это изречение одного студента Петрова. Ну, так пустяки — в сторону, как-бы они ни

были любезны вам. «Челкаша» напечатаем в «Русском Богатстве», да еще на первом месте, это некоторая отличка и честь. В рукописи у вас есть несколько столкновений с грамматикой, очень невыгодных для нее, я это поправил. Больше ничего не трогал, — хотите взглянуть?

Я отказался, конечно.

Расхаживая по тесной комнате, потирая руки, он сказал:

— Радует меня удача ваша.

Я чувствовал обаятельную искренность этой радости и любовался человеком, который говорит о литературе, точно о женщине, любимой им спокойной, крепкой любовью, — навсегда. Незабвенно хорошо было мне в этот час, с этим лоцманом, я молча следил за его глазами, — в них сияло так много милой радости о человеке.

Радость о человеке — ее так редко испытывают люди, а ведь это величайшая радость на земле.

Короленко остановился против меня, положил тяжелые руки свои на плечи мне.

— Слушайте, — не уехать ли вам отсюда? Например в Самару. Там у меня есть знакомый в «Самарской Газете»? Хотите, я напишу ему, чтоб он дал вам работу? Писать?

— Разве я кому-то мешаю здесь?

— Вам мешают.

Было ясно, что он верит рассказам о моем пьянстве, «оргиях в бане» и вообще о «порочной» жизни моей, — главнейшим пороком ее была нищета. Настойчивые советы В. Г. мне — уехать из города несколько обижали, но в то же время его желание извлечь меня из «недр порока» трогало за сердце.

Взволнованный, я рассказал ему, как живу, он молча выслушал, нахмурился, пожал плечами.

— Но ведь вы сами должны видеть, что все это совершенно невозможно и — чужой вы во всей этой фантастике! Нет, вы послушайте меня. — Вам необходимо уехать, переменить жизнь...

Он уговорил меня сделать это.

Потом, когда я писал в «Самарской Газете» плохие ежедневные фельетоны, подписывая их хорошим псевдонимом «Иегудии Хламида», Короленко посылал мне письма, критикуя окаянную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но — всегда дружески.

Особенно хорошо помню я такой случай: мне до отвращения надоел поэт, носивший роковую для него фамилию — Скукин. Он присылал в редакцию стихи свои саженями, они были неизлечимо малограмотны и чрезвычайно пошлы, их нельзя было печатать. Жажда славы внушила этому человеку оригинальную мысль: он напечатал стихи свои на отдельных листах розовой бумаги и роздал их по гастрономическим магазинам города, приказчики завертывали в эту бумагу пакеты чая, коробки конфект, консервы, колбасы и, таким образом, обыватель получал, в виде премии к покупке своей, пол аршина стихов, в них торжественно воспевались городские власти, предводитель дворянства, губернатор, архиерей.

Каждый на свой лад, все эти люди были примечательны и вполне заслуживали внимания, но — архиерей являлся особенно выдающейся фигурой: он насильно скрестил девушку татарку, чем едва не вызвал бунт среди татар целой волости, он устроил совершенно идиотский процесс хлыстов, по этому процессу были осуждены люди ни в чем неповинные, это я хорошо знал. Наиболее славен был такой подвиг его: во время поездки по епархии, в непогожий день, у него сломалась карета около какой-то маленькой, заброшенной деревеньки и, он должен был зайти в избу крестьянина. Там, на полке, около божницы, он увидал гипсовую голову Зевса, разумеется, это поразило его. Из расспросов и осмотра других изб оказалось, что изображение владыки Олимпийцев, а также и статуэтка богини Венеры есть и еще у нескольких крестьян, но никто из них не хотел сказать — откуда они взяли идолов?

Этого оказалось достаточно, чтоб возбудить уголовное дело о секте самарских язычников, которые поклонялись богам древнего Рима. Идолопоклонников посадили в тюрьму, где они и пробыли до поры, пока следствие не установило, что ими убит и ограблен некий торговец гипсовыми изделиями Солдатской слободы в Вятке; убив торговца, эти люди дружески разделили между собой его товар и — только.

Одним словом: я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собою и еще многим. Поэтому, в состоянии запальчивости и раздражения, я обругал поэта, воспевшего ненавистное мне, приставив к его фамилии — Скукин, — слово — сын.

В. Г. тотчас прислал мне длинное и внушительное письмо, на тему: даже и за дело ругая людей, следует соблюдать чувство меры. Это было хорошее письмо, но его при обыске отобрали у меня жандармы и оно пропало вместе с другими письмами Короленко.

Кстати — о жандармах.

Ранней весной 97 года меня арестовали в Нижнем и, не очень вежливо, отвезли в Тифлис. Там, в Метехском замке, ротмистр Конисский, впоследствии начальник Петербургского жандармского управления, допрашивая меня, уныло говорил:

— Какие хорошие письма пишет вам Короленко, а ведь он теперь лучший писатель России!

Странный человек был этот ротмистр: маленький, движения мягкие, осторожные, как будто неуверенные, уродливо большой нос грустно опущен, а бойкие глаза, точно чужие на его лице, и зрачки их забавно прячутся куда-то в переносицу.

— Я — земляк Короленко, тоже волынец, потомок того епископа Конисского, который — помните? — произнес знаменитую речь Екатерине Второй: «Оставим солнце» и т. д. Горжусь этим!

Я вежливо осведомился — кто больше возбуждает гордость его — предок или земляк?

— И тот и другой, конечно, и тот и другой!

Он загнал зрачки в переносицу, но тотчас громко шмыгнул носом и зрачки выскочили на свое место. Будучи болен и потому — сердит, я заметил, что плохо понимаю гордость человека, которому чрезмерно любезное внимание жандармов так много мешало и мешает жить, Конисский благочестиво ответил:

— Каждый из нас — творит волю пославшего, каждый и все! Пойдемте далее. Итак, — вы утверждаете . . . А между тем, нам известно . . .

Мы сидели в маленькой комнатке под входными воротами замка. Окно ее помещалось очень высоко, под потолком, через него на стол, загруженный бумагами, падал луч жаркого солнца, и, между прочим, — на позор мой, — освещал клочек бумаги, на котором мною было четко написано:

— Не упрекайте лососину за то, что гложет лось осину.

Я смотрел на эту проклятую бумажку и думал:

— Что я отвечу ротмистру, если он спросит меня о смысле этого изречения?

Шесть лет, — с 95 по 901 год, — я не встречал Владимира Галактионовича, лишь изредка обмениваясь письмами с ним.

В 901 году я впервые приехал в Петербург, город прямых линий и неопределенных людей. Я был «в моде», меня одолевала «слава», основательно мешая мне жить. Популярность моя проникала глубоко: помню, шел я ночью по Аничкову мосту, меня обогнали двое людей, видимо парикмахеры, и один из них, заглянув в лицо мое испуганно, вполголоса сказал товарищу:

— Гляди — Горький!

Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы и, пропустив мимо себя, сказал с восторгом.

— Эх, дьявол, — в резиновых калошах ходит!

В числе множества удовольствий я снялся у фотографа с группой членов редакции журнала «Начало», — среди них был провокатор и агент охранного отделения М. Гурович.

Разумеется, мне было крайне приятно видеть благосклонные улыбки женщин, почти обожающие взгляды девиц и, вероятно, — как все молодые люди, только-что ошарашенные славой, — я напоминал индейского петуха.

Но, бывало, ночами, наедине с собою, вдруг почувствуешь себя в положении непойманного уголовного преступника; его окружают шпионы, следователи, прокуроры, все они ведут себя так, как будто считают преступление несчастием, печальной «ошибкой молодости» и — только сознайся! — они великодушно простят тебя. Но — в глубине души каждому из них непобедимо хочется уличить преступника, крикнуть в лицо ему торжествующе:

— Ага-а!

Нередко приходилось стоять в положении ученика, вызванного на публичный экзамен по всем отраслям знания.

— Како веруешь? — пытали меня начетчики сект и жрецы храмов.

Будучи любезным человеком, я сдавал экзамены, обнаруживая терпение, силе которого сам удивлялся, но после пытки словами, у меня возникало желание проткнуть Исаакиевский собор Адмиралтейской иглою или совершить что-либо иное, не менее скандальное.

Где-то позади добродушия, почти всегда несколько наигранного, россияне скрывают нечто, напоминающее хамоватость. Это

качество — а, может быть, это метод исследования? — выражается очень разнообразно, главным же образом — в стремлении посетить душу ближнего, как ярмарочный балаган, взглянуть какие в ней показываются фокусы, пошвырять, натоптать, насорить пустяков в чужой душе, а иногда — опрокинуть что-нибудь. И, по примеру Фомы, тыкать в раны пальцами, очевидно, думая, что скептицизм апостола равноценен любопытству обезьян.

В. Г. Короленко и в каменном Петербурге нашел для себя старенький деревянный дом, провинциально уютный, с крашеным полом в комнатах, с ласковым запахом старости.

В. Г. поседел за эти годы, кольца седых волос на висках были почти белые, под глазами легли морщины, взгляд — рассеянный, усталый. Я тотчас почувствовал, что его спокойствие, раньше так приятное мне, заменилось нервозностью человека, который живет в крайнем напряжении всех сил души. Видимо не дешево стоило ему Мультанское дело и все, что он, как медведь, ворочал в эти трудные годы.

— Бессонница у меня, отчаянно надоедает. А вы, не считаясь с туберкулезом, все так же много курите? Как у вас легкие? Собираюсь в Черноморье, — едем вместе?

Сел за стол против меня и, выглядывая из-за самовара, заговорил о моей работе.

— Такие вещи, как «Варенька Олесова», удаются вам лучше, чем «Фома Гордеев». Этот роман — трудно читать, материала в нем много, порядка, стройности — нет.

Он выпрямил спину так, что хрустнули позвонки и спросил:

— Что же вы — стали марксистом?

Когда я сказал, что — близок к этому, он невесело улыбнулся, заметив:

— Не ясно мне это. Социализм без идеализма для меня — непонятен! И не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно было построить этику, а без этики — мы не обойдемся.

И, прехлебывая чай, спросил:

— Ну, а как вам нравится Петербург?

— Город — интереснее людей.

— Люди здесь . . .

Он приподнял брови и крепко потер пальцами усталые глаза.

— Люди здесь более европейцы, чем москвичи и наши волжане. Говорят: Москва своеобразнее, — не знаю. На мой взгляд — ее своеобразие какой-то неуклюжий, туповатый консерватизм. Там славянофилы, Катков и прочее, в этом духе, здесь — декабристы, Петрашевцы, Чернышевский . . .

— Победоносцев, — вставил я.

— Марксисты, — добавил В. Г., усмехаясь. — И всякое иное заострение прогрессивной, т. е. революционной мысли. А, Победоносцев-то талантлив, как хотите! Вы читали его «Московский сборник»? Заметьте — Московский всетаки!

Он сразу нервозно оживился и стал юмористически рассказывать о борьбе литературных кружков, о споре народников с марксистами.

Я уже кое-что знаю об этом, на другой же день по приезде в Петербург я был вовлечен в «историю», о которой я даже теперь вспоминаю с неприятным чувством; я пришел к В. Г. для того, чтобы, между прочим, поговорить с ним по этому поводу.

Суть дела такова: редактор журнала «Жизнь» В. А. Поссе организовал литературный вечер в честь и память И. Г. Чернышевского, пригласив участвовать В. Г. Короленко, Н. К. Михайловского, П. Ф. Мельшина, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского и еще несколько марксистов и народников. Литераторы дали свое согласие, полиция — разрешение.

На другой день по приезде моем в Петербург, ко мне пришли два щеголя студента с кокетливой барышней и заявили, что они не могут допустить участия Поссе в чествовании Чернышевского ибо: «Поссе человек неприемлемый для учащейся молодежи, он эксплоатирует издателей журнала «Жизнь». Я уже более года знал Поссе и хотя считал его человеком оригинальным, талантливым, однако, — не в такой степени, чтобы он мог и умел эксплоатировать издателей. Знал я, что его отношения с ними были товарищеские, он работал как ломовая лошадь и, получая ничтожное вознаграждение, жил, с большою семьей, впроголодь. Когда я сообщил все это юношам, они заговорили о неопределенной политической позиции Поссе между народниками и марксистами, но — он сам понимал эту неопределенность и статьи свои подписывал псевдонимом Вильде. Блюстители нравственности и правоверия рассердились на меня и ушли,

заявив, что они пойдут ко всем участникам вечера и уговорят их отказаться от выступлений.

В дальнейшем оказалось, что «инцидент в его сущности» нужно рассматривать не как выпад лично против Поссе, а «как один из актов борьбы двух направлений политической мысли», — молодые марксисты находят, что представителям их школы неуместно выступать пред публикой с представителями народничества «изношенного, издыхающего». Вся эта премудрость была изложена в письме, обширном как доклад и написанном таким языком, что читая письмо я почувствовал себя иностранцем. Вслед за письмом, от людей мне неведомых, я получил записку П. Б. Струве, — он извещал меня, что отказывается выступить на вечере, а через несколько часов, другой запиской сообщил, что берет свой отказ назад. Но — на другой день отказался М. И. Туган-Барановский, а Струве прислал третью записку, на сей раз с решительным отказом и, как в первых двух, без мотивации оного.

В. Г., посмеиваясь, выслушал мой рассказ о этой канители и юмористически грустно сказал:

— Вот, — пригласят читать, а выйдешь на эстраду — схватят, снимут с тебя штаны и — выпорют!

Расхаживая по комнате, заложив руки за спину, он продолжал вдумчиво и не громко:

— Тяжелое время! Растет что-то странное, разлагающее людей. Настроение молодежи я плохо понимаю, мне кажется, что среди нее возрождается нигилизм и явились какие-то карьеристы-социалисты. Губит Россию самодержавие, а сил, которые могли бы сменить его, — не видно!

Впервые я наблюдал Короленко настроенным так озабоченно и таким усталым. Было очень грустно.

К нему пришли какие-то земцы из провинции, и я ушел. Через два-три дня он уехал куда-то отдыхать и я не помню встречался ли с ним после этого свидания.

Встречи мои с ним были редки, я не наблюдал его непрерывно, изо дня в день, хотя бы на протяжении краткого времени.

Но каждая беседа с ним укрепляла мое представление о В. Г. Короленко, как о великом гуманисте. Среди русских культурных людей я не встречал человека с такой неутомимой

жаждою «правды-справедливости», человека, который так проникновенно чувствовал бы необходимость воплощения этой правды в жизнь.

После смерти Л. Н. Толстого он писал мне:

«Толстой, как никто до него, увеличил количество думающих и верующих людей. Мне кажется, вы ошибаетесь, утверждая, что это увеличено за счет делающих или способных к делу. Человеческая мысль всегда действенна, только разбудите ее и стремление ее будет направлено к истине, справедливости».

Я уверен, что культурная работа В. Г. разбудила дремавшее правосознание огромного количества русских людей. Он отдавал себя делу справедливости с тем редким, целостным напряжением, в котором чувство и разум, гармонически сочетаясь, возвышаются до глубокой, религиозной страсти. Он как бы видел и ощущал справедливость, как все лучшие мечты наши, она, призрак, созданный духом человека, ищущий воплотиться в осязаемые формы.

В ущерб таланту художника, он отдал энергию свою непрерывной, неустанной борьбе против стоглавого чудовища, откормленного фантастической русской жизнью.

Суровые формы революционной мысли, революционного дела, тревожили и мучили его сердце, сердце человека, который страстно любил красоту — справедливость, искал слияния их во единое целое. Но он крепко верил в близкий рассвет творческих сил страны — и предчувствовал, что чудо воскресения народа из мертвых будет страшным чудом.

В 908 г. он писал:

«Все, что делают сейчас, через несколько лет отзовется вулканическим взрывом, страшные это будут дни. Но он будет, если жива душа народа, а душа его жива».

В 87 г. он закончил свой рассказ «На затмении» стихами Н. Берга

«На святой Руси петухи поют,
Скоро будет день на святой Руси».

Всю жизнь, трудным путем героя, он шел встречу дню и неисчислимо все, что сделано В. Г. Короленко для того, чтоб ускорить рассвет этого дня.

Оглавление.

	Стр.
Мои университеты	5
Сторож	124
Время Короленко	150
О вреде философии	176
О первой любви	188
В. Г. Короленко	217

Типография Шпамера в Лейпциге

ВОСПОМИНАНИЯ

Н. Е. Каронин-Петропавловский.

Осенью 89 г. я пришел из Царицына в Нижний, с письмом к Николаю Ельпидифоровичу Петропавловскому-Каронину от известного в то время провинциального журналиста В. Я. Старостина-Маненкова. Уходя из Царицына, я ненавидел весь мир и упорно думал о самоубийстве; род человеческий — за исключением двух телеграфистов и одной барышни — был мне глубоко противен, я сочинял ядовито-сатирические стихи, проклиная все сущее, и мечтал об устройстве земледельческой колонии. За время пешего путешествия, мрачное настроение несколько рассеялось, а мечта о жизни в колонии, с двумя добрыми товарищами и милой барышней, несколько поблекла.

До этого времени я не встречал писателей — кроме Маненкова и Е. Н. Чирикова, которого видел однажды мельком; также, мельком, видел я в Казани и Каронина. Маненков был человек — в трезвом виде — чудаковатый, а выпивши шумно из'яснялся в любви к русскому народу, плакал и заставлял меня тоже любить русский народ. Но однажды, осенним вечером, мы с ним шли по краю площади города Борисоглебска, а посредине ее, в глубокой, черной борисоглебской грязи барахтался пьяный мещанин и орал, утопая.

— Вот, видите? — поучительно сказал Василий Яковлевич. — Мы читаем книги, спорим, наслаждаемся и идем равнодушно мимо таких явлений, как это, а подумайте-ка, разве мы не виноваты в том, что этот человек не знает иных наслаждений, кроме водки?

Я предложил пойти и вытащить человека, а Маненков сказал:
— Если я пойду, то потеряю калоши.

Пошел я и потерял интерес к народолюбцу.

Но я много читал, и мое представление о русском писателе сложилось в красивый сказочный образ: это суровый глашатай

правды, он одинок среди людей, никем не любим, обладает несокрушимою силою сопротивления врагам справедливости и, хотя враги усердно вымораживают его душу, она неистощимо пламенна и — «дондеже есмь» возжигает свет во тьме.

Н. Е. Каронин был в ладу с этим представлением — я читал почти все, написанное им, и только-что познакомился с рассказом «Мой мир», где есть слова, ударившие меня в сердце:

«На свете нет ничего дороже мысли. Она — начало и конец всего бытия, причина и следствие, движущая сила и последняя цель. Кто же заставит меня отказаться от нее? Люди прекрасны только в той мере, в какой вложена в них эта мировая сила. Если мир окутывает еще тьма, то потому только, что мысль не осветила ее; если среди людей большая часть подлых, то только потому, что мысль не освободила еще их от безумия»[1]).

И вот я, с трепетом в душе, — как верующий пред исповедью, — тихонько стучу в дверь писателя: он жил во втором этаже маленького флигеля. Высокая, черная женщина в красной кофте, с засученными по локоть рукавами, открыла дверь, подробно и не очень ласково расспросила, кто пришел, откуда, зачем и ушла, крикнув через плечо свое:

— Николай, выдь сюда . . .

Предо мною высокий человек, в туфлях на босую ногу, в стареньком, рыжем пиджаке, надетом на рубаху, не лучше моей, — на вороте рубахи одна пуговица оторвана. Брюки его измяты, вытянуты на коленях, и тоже не лучше моих, длинные волосы растрепаны также, вероятно, как и у меня. Он смотрит в лицо мне светло-серыми глазами; взгляд ласковый, усталый, а глаза немного выпуклые и мне кажется, что они видят все, что я думаю, знают все, что скажу. Это смущает меня. В ответ на его вопросы, я молча киваю головой, говорю да, нет, но мне все приятнее смотреть на него.

У него небольшой рот и яркие губы; красивые брови вздрагивают, и тонкие пальцы — тоже, он перебирает ими редкую, но длинную бороду, дергая ее книзу, — точно она все время растет; красивый, высокий лоб его усиливает это впечатление непрерывного роста — а торопливые движения руки как будто пытаются задержать рост. Он — тонкий, худой, несколько

[1]) Из рассказа «Мой мир», соч. Каронина, т. 2-й, стр. 364.

сутулый, грудь вогнута, руки длинные, в нем есть что-то детское, приятно неуклюжее, я чувствую, что мое смущение замечено им и, в свою очередь, смущает его.

— Ну, идите сюда, шагайте, — приглашает он глуховатым голосом.

Говорит он немного заикаясь, точно отсекает апострофом первый звук слова; это тоже очень хорошо, чудесно сливается с его большим, замученным лицом и рассеянным взглядом светлых глаз.

Мы в узкой, тесной комнате, и первое, что бросается мне в глаза, — в ней нет стола, нет книг. У стены — койка, один ее конец выдвинут немного на середину комнаты, на подушках лежит пирожная доска, на доске — недописанный лист бумаги, несколько таких же листов — на стуле, по примятой постели видно, что человек писал, сидя верхом на койке, а столом служила ему пирожная доска.

Сбросив со стула бумаги, он подвинул его мне, а сам сел на постель, крепко потирая руки и говоря:

— В'от — пишу тут, надо — скоро, а там жена и С'аша — собираются уезжать и с'уматоха, знаете . . .

Потом стал читать письмо Маненкова, высоко подняв брови, улыбаясь мягкой, женскою улыбкой и покашливая тихонько.

Дверь в соседнюю комнату была не прикрыта, там черноволосая женщина, с лицом цыганки, гладила накрахмаленную юбку; один конец гладильной доски лежал на столе и груде толстых книг, а другой на спинке стула.

— Скоро? — строго и певуче спросил кто-то.

На пороге встала высокая барышня с огромными глазами.

— Ах, ты не один! — сказала она.

— Падчерица моя, Саша, знакомьтесь, — предложил Каронин, не отводя глаз от письма, обширного, написанного мелким почерком, лиловыми строчками.

Барышня протянула мне руку и ушла, напевая что-то.

— Хотите, значит, сесть н'а землю? — с усилием спросил Каронин, отделяя каждое слово секундой паузы. — Сколько же вас?

— Двое телеграфистов, я и девушка, дочь начальника станции.

— Н-ну, и влюбитесь вы в нее все трое, а п'отом начнете драться, и выйдет скандал, а не к-колония.

Он наклонился ко мне, размахивая листом письма, и усмехаясь заглянул в глаза мне.

— Давайте говорить на чистоту. Знаете, что пишет Василий Яковлевич? Он пишет, чтоб я отговорил вас от этой затеи.

Я удивился.

— Он одобрял меня и обещал помочь.

— Да? Ну, а пишет, чтоб я отговорил . . . А я не знаю, как отговаривать, у вас вон такое упрямое лицо. И вы — не интеллигент. Интеллигенту я сказал бы: брось это, друг мой; это нехорошо — итти отдыхать туда, где люди устают больше, чем ты . . . И это искажает хорошую идею единения с народом. Несомненно — искажает. К народу надобно итти с чем-то твердо, на всю жизнь решенным, а так, налегке, потому что тебе плохо, — не ходите. Около него вам будет еще хуже.

Он выполнял данное ему поручение с видимой неохотой, я чувствовал это, мне было неловко, и я спросил — не лучше ли мне зайти в другой раз?

— Почему? — встрепенулся Каронин. — Нет, подождите!

Он осмотрел пустые стены комнаты и продолжал оживленнее:

— Я как раз вот описываю историю одной колонии — историю о том, как пустяки одолели людей и разрешились в драму . . .

Повернулся к доске и сказал, поглядывая на исписанный лист:

— Общество имеет свои отрицательные стороны — да, люди пусты, раздвоены, без нужды толкаются, мозолят друг другу глаза и — когда все это надоест — ищут одиночества. А в одиночестве человек преувеличивает всякое свое чувство, всякую мысль в сотни раз и в сотни раз тяжелее страдает от этих преувеличений — это говорит один барин в моей повести.

Отбросив листок в сторону, он усмехнулся, провел рукою по лицу сверху вниз, смешно придавив себе нос, и встал, говоря:

— Знаете — зачем вам колония? Не нужно это вам. Ведь вы ищете идеального, смотрите — придется вам спросить себя, как уже теперь спрашивают многие и — в том числе мой герой — я его не выдумал, это живой, современный преувеличенный человек — зрелище очень печальное — он сам каялся мне. Вот, — и снова порывшись в своих листках, он прочитал с одного из них: — «Что идеального в том, если человек душу свою закопает в землю, окружив себя миллионами пустяков? Человек должен бороться против пустяков, уничтожать их, а не воз-

водить в подвиг и заслугу». Вот, о чем вам придется думать, это — наверняка!

Провел в воздухе рукою длинную линию и разрубил ее посредине убедительным жестом, а потом сморщил лицо, вздохнув:

— К'колония — эх! Р'азве это нужно?

Более тысячи верст нес я мечту о независимой жизни с людьми-друзьями, о земле, которую я сам вспашу, засею и своими руками соберу ее плоды, о жизни без начальства, без хозяина, без унижений, я уже был пресыщен ими. А тихий, мягкий человек взмахнул рукой и как бы отсек голову моей мечте. Это явилось неожиданностью для меня, я полагал, что мое решение устойчивее, крепче. И особенно странно — даже обидно — было то, что не слова его, а этот жест и гримаса опрокинули меня.

— Маненков с'ообщает, что вы пишете стихи, покажите — можно? — спросил он спустя некоторое время, в течение которого дал еще несколько легких ударов полуживой уже моей мечте. Мне и жалко было ее, и весело, что она оказалась такой слабой.

Стихи я потерял в дороге между Москвой и Нижним; история этой потери казалась мне очень смешной, я рассказал ее Н. Е., желая еще раз посмеяться над моими злоключениями и ожидая, что он тоже посмеется.

Но он выслушал меня, опустив голову, и хоть я и не видел его лица, но чувствовал, что он даже не улыбнулся. И снова это смутило меня.

Посмотрев на меня исподлобья особенно пристальным взглядом, он тихонько сказал:

— А ведь могли быть изувечены. Стихов не жалко — на память знаете? Ну, скажите что-нибудь.

Я сказал, что вспомнил: речь шла о зарницах, и была такая строка:

«Грозно реют огненные крылья» . . .

— Тютчева читали? — спросил он.

— Нет.

— Прочитайте, у него лучше . . .

И почти шепотом, строго нахмурясь, он проговорил знаменитое стихотворение; потом предложил читать еще, а после двух-трех стихотворений, сказал просто и ласково:

— В общем — стихи плохие. Вы как думаете?

— Плохие.

Он посмотрел в глаза, спросив:

— Вы это — искренно?

Странный вопрос: разве с ним можно было говорить неискренно?

Глядя в лицо мне славными своими глазами, он продолжал, уже не заикаясь:

— Вот, недавно я прочитал очень хорошие строки:

> — Кто по земле ползет, шипя на все змеею,
> Тот видит сор один. И только для орла,
> Парящего легко и вольно над землею,
> Вся даль безбрежная светла.

— Это Апухтин написал Толстому — красиво? И — верно!

С этой минуты мне стало казаться, что он обо всем говорит стихами и говорил он так, словно сообщал тайны, только ему известные и дорогие ему.

И уговаривал:

— Вы читайте, читайте русскую литературу, как можно больше, все читайте! Найдите себе работу и — читайте! Это лучшая литература в мире.

Помню его поднятую руку, тонкий вытянутый палец, болезненно покрасневшее, взволнованное лицо и внушающий, ласковый взгляд.

Потом он встал, вытянулся так, что хрустнули кости, и глаза его устало прикрылись. Я ушел, позабыв о колонии.

В следующий раз я встретил его на Откосе, около Георгиевской башни; он стоял, прислонясь к фонарному столбу, и смотрел вниз, под гору. Одетый в длинное широкое пальто и черную шляпу, он напоминал расстриженного священника.

Было раннее утро, только-что взошло солнце; в кустах под горою шевелились, просыпаясь, жители Миллионной улицы, нижегородские босяки. Я узнал его издали, всходя на гору, к башне, а он, когда я подошел и поздоровался, несколько неприятно долгих секунд присматривался ко мне, молча приподняв шляпу, и, наконец, приветливо воскликнул:

— Это вы, колонист!

Через минуту мы сидели на скамье, и он говорил оживленно,

помахивая шляпою в свое лицо, с красными пятнами на щеках.

— Я тут часто бываю по утрам — изумительно красивое. место, а? Вот — не умею описывать природу, — это несчастие! А странно: из молодых писателей ведь почти никто не пишет природу, да если и пишут, то — сухо, не искусно.

Заглянул вниз и продолжал:

— Наблюдаю этих людей, тоже колонисты, а? Очень хочется сойти туда, к ним, познакомиться, но — боюсь: высмеют ведь? И стащат пальто, да еще побьют. Ведь в бескорыстный интерес к ним они не поверят, конечно? Вон — смотрите, молится один. Странная фигура. Он должно быть, или так был пьян, что еще не выспался, или убежденный западник — видите: молится на Балахну, на запад?

— Он сам балахнинский, — сказал я.

— Вы его знаете? — живо спросил Каронин, придвигаясь ко мне. — Расскажите — кто это?

Я уже был знаком с некоторыми из людей, ночевавших в кустах, и стал рассказывать о них. Каронин слушал внимательно, часто перебивая вопросами и все время обмахивался шляпой, хотя майское утро было достаточно свежо. Он показался мне иным, чем в первый раз, возбужденный чем-то, улыбался немножко иронически, недоверчиво, и раза два сказал мне, весело поталкивая меня в бок:

— Ну, это уж романтизм!

— Однако, вы, барин, романтик!

Меня его веселые попреки не задевали, хотя я и знал уже, что быть романтиком — весьма непохвально.

— Я рассказываю вам так, как они рассказывают о себе, — заметил я.

Он задумчиво сказал:

— Врут. Вы им не верьте. Русский человек любит мечтать, и поэтому незаметно для себя врет, путая действительность с игрою своего ума. Один мужичек долго и убедительно приглашал меня к себе на пчельник, пришел я, а пчельника-то у него не только нет, а и не было. Я спрашиваю: как же это, Федор Васильич, а? А он: «да, видишь ты Федипорыч, больно у пчеляков у этих жизнь хороша. Думал я про них, думал, да на себя и выдумал». Вот и они, эти, тоже выдумывают на себя. Романтики, вроде вас, барин. А то еще знал я бузулукского

мещанина, который выдавал себя за фальшивомонетчика и, показывая людям настоящие казенные деньги, хвастался чистотою своей работы. Добился худой славы и даже обыска, а потом оказалось, что он и не пробовал никогда сам сделать хоть бы один двугривенный. Спрашивают его: зачем же ты, брат, оболгал сам себя? «Кому, говорит, от этого вред и худо? А мне, чай, приятно думать, что вот захочу и — готово, богат».

Перестал улыбаться, задумался, глядя далеко за реку, почти синюю, в шелковые, на солнце, луга.

— Это, знаете, у нас черта серьезная, глубокая черта — под нею, может быть, скрыто бьется жажда иной жизни, под нею святое недовольство самим собою человек прячет. Развяжите-ка ему руки, и он перестанет мечтать, возьмется за дело — возьмется, это верно. Ведь те, которые перестали мечтать, уже теперь обнаруживают огромные силы, умеют побеждать чудовищные препятствия. Вот мне тут рассказывали об этих волжанах судоходцах — какие фигуры, какое сказочное упорство в достижении целей! Нет, русский народ — хороший народ, чудеснейший народ, я вам скажу.

Все это говорилось торопливо, горячо и настойчиво, как бы в споре с кем-то. Потом он встал, прошелся по дорожке, оглядываясь вокруг, и снова сел.

— Вот — сзади нас семинария, немного далее — гимназия, против нее — дворянский институт, а под горою, в полусотне шагов от всех этих великолепий — почти доисторическая жизнь в ямах, под открытым небом, и дикие люди. Над этим стоит подумать юноша! Надобно подумать. Ужасно плохо мы знаем жизнь и — что еще того хуже — не хотим знать ее, как бы нарочно стараемся видеть меньше, чем можем, бежим в колонии, прячемся в хаты с краю . . .

И с великой печалью, он заговорил о сложной болезни того времени — я не помню точно его слов, но, мне кажется, он повторил их в рассказе «На границе человека».

«Время это было вот какое: отвращение ко всем иллюзиям, смех над всем, чему еще недавно верили, холод и душевная пустота».

Говорил он тихонько, как бы стыдясь, что приходится говорить о таких печальных вещах, и все оглядывался, словно не желая, чтобы кроме меня его слова слышал еще кто-нибудь.

Сидел согнувшись, крепко стиснув колени пальцами худых рук, на лицо ему падала тень от шляпы, и глаза казались синими.

— Вот, вы рассказывали об этих людях под горою. Но — почему, подумайте, почему у нас люди так легко погибают? Ведь ужасно легко: жил человек, и — ничего, а вдруг — «сбился с пути». Смотрите: это невольно сказалось: жил и — ничего! — Все ходят как будто по скользкому месту; идут — пошатнулся — упал и не за что придержаться — ничего нет подкрепляющего душу. И ведь если падают, то разбиваются до полусмерти, непременно — до неизлечимых увечий, хотя падают не Бог весть с какой высоты.

Это мне плотно легло в память — я тогда сам был в позиции человека, готового упасть.

Он вдруг вскочил на ноги, потрогал карман жилета, взглянул в небо.

— Часов шесть уже, да? Мне — пора. Заходите!

И крупными шагами, низко нахлобучив шляпу, пошел по бульвару, но вдруг остановился, повернул назад и строго — до смешного строго — спросил:

— Вы чем, собственно, занимаетесь?

— Развожу баварский квас.

— То-есть, как это, куда развозите?

— По лавкам, по домам . . .

Он подумал и сказал, усмехаясь:

— Это, должно быть, очень скучно и глупо, а? Ну — до свиданья, купец, заходите же!

Он любил гулять в поле, за городом, один; я встречал его раза два во время этих прогулок, он спрашивал меня, что я читаю, и с великим волнением рассказывал мне о писателях. Помню, говоря о Гаршине, он сказал, по поводу «Красного цветка»:

— Русский писатель всегда хочет написать что-то вроде Евангелия, книгу по всему миру; у нас этого все хотят, это общее стремление и больших, и маленьких писателей и, знаете, часто маленькие-то вечную правду чувствуют вернее, глубже гениев — вот, что не забудьте, это очень важно! Русская литература — особенная, это, так сказать, священное писание и читать ее надо очень внимательно, очень!

Долго молчал и потом сказал:

— Гаршина называют святым человеком — больше этого — он был святое дитя!

Однажды я пришел к нему на квартиру и застал его в той же узенькой, пустой и скучной комнате; полуодетый, растрепанный, он лежал на постели с книжкой в руках.

— Температура скачет в гору, — об'яснил он, — утром взбежала до сорока почти, вот и валяюсь! А мои уехали в Саратов. Скажите-ка волшебнице, которая отворила вам дверь, чтобы она чаю нам дала.

— Вы читали Кущевского? — спрашивал он. — Нет? Непременно прочитайте «Николая Негорева» — хорошая вещь! Вы о нем слышали, о Кущевском?

Сжато, памятными, вескими словами, он начал рассказывать о том, как автор «Негорева», работая осенью на Неве грузчиком-каталем, упал с тачкой в воду, простудился и, лежа в больнице, писал по ночам свой роман.

— Я не знал его, не встречал, мне рассказывал о нем пьяненький фельдшер той больницы. «Лекарства мне не нужны, — говорил он фельдшеру, — вы лучше дайте мне водки, свечу и бумаги. Жить я не буду, все равно, но — мне необходимо написать роман, вот вы и помогите в этом — дайте мне свечку. Днем писать запрещено и мешают, значит — надо писать ночью, а без свечки — темно, понимаете?» Он у всех просил свечек, но думали, что это бред, и не давали ему огня, он выменивал огарки на свои порции, голодал и писал, а однажды взял казенную свечу из ванной комнаты, это заметили и отняли свечку у него, а он — плакал! И, все-таки — написал роман. Там есть удивительное лицо, может быть, одна из самых фантастических фигур в русской литературе — Оверин, которому земля, вся земля — кажется живым, чувствующим и думающим существом, и оно ничего не знает о нас, или столько, сколько мы знаем о микробах. Оно сгибает палец, а мы переживаем землетрясения, и, в то же время, может быть, оно учится в какой-то гимназии, читает книги и, когда перевертывает страницы, наш мир качается. Когда я читал об этом великане-земле, не чувствующем на себе людей, — мне было страшно. Это только русский писатель может чувствовать всю землю, как живое и враждебное ему существо, я уверен, что только русский. Эх, знаете, сколько

в России талантливых людей, и как они страшно живут! Вот — посмотрите!

Он сел на койке, прислонясь спиною к стене, и стал читать рассказ Кущевского «Самоубийца». До этой поры, а, пожалуй, и — с той поры до сего дня — я не слышал такого чтения: легкий недостаток речи Каронина удивительно помогал ему оттенять и подчеркивать наиболее волнующие места просто написанного рассказа, тихий голос насыщал слова жуткой и победительной нервной силой.

Нестерпимо стыдно и страшно было слушать историю крестьянского сына, литератора Агафонова: отец обложил его оброком в десять рублей за каждый месяц, под угрозою не давать паспорта и — сечь. Однажды этот Агафонов, «маленький, русоволосый человек», писавший свои рассказы, волнуясь до рыданий, заболел, а из больницы попал в пересыльную тюрьму.

«Пропутешествовав несколько сот верст в ручных кандалах, он очутился перед грозными очами отца, который не принял во внимание никаких извинений в неаккуратном взносе оброка . . .

— На коленях просил я его, — рассказывал Агафонов, — не сечь меня; потом просил высечь, да опять в город отпустить. Нет. А гляжу в окошко, батрак Осип на березу залез и розги режет. Отец говорит: «Покажу тебе пьянствовать». — А у меня сердце так и бьется; гляжу в окно — розги режут . . . Пришли. Я долго боролся, растянули в риге, на соломе, и . . . Я хотел тогда удавиться после этого, да отец согласился взять с меня пятнадцать рублей в месяц и опять отпустить в Петербург. — А что если он меня потребует, и опять поведут меня в кандалах? Ах, сколько клопов на этих этапах, если бы вы знали . . . И опять сечь . . . я этого не снесу . . . Вы — дворянин . . . как хорошо быть дворянином! Но вы — голытьба, вы наш . . . да»[1]).

И вот снова отец требует, чтобы сын прислал шестьдесят рублей оброка или возвращался в деревню. Агафонов мечется в ужасе, никто не может помочь ему. Наконец, ему прислали «паспорт» — мужичек из родной деревни принес длинный сверток, а в нем пучек березовых розог и при этом письмо отца

«Вот тебе паспорт». И угроза — если подателю не будет вручено немедленно шестидесяти пяти рублей, то отец вытре-

[1]) Кущевский, «Неизданные рассказы», стр. 179—185.

бует сына к себе прежним законным порядком, и паспорт этот будет прописан на его спине.

Агафонов повесился.

Кончив читать, Н. Е. отбросил книгу, крепко вытер пальцами усталые глаза и молча лег.

Я спросил — правда это, или выдумано?

— Правда, — сухо сказал он. — Мне рассказывал эту историю стихотворец Кроль, участник ее, один из тех, кто не мог помочь Агафонову. Все они были приблизительно в одинаковых условиях с Агафоновым; настоящая фамилия этого несчастного — не Агафонов, а не помню как. В Петербурге я читал его рассказы — это вроде Николая Успенского, но — лучше, вдумчивее и мягче. Его фамилию я помнил еще вчера, да вот эта головная боль — от нее и свою фамилию забудешь . . .

— Не уйти ли мне? — предложил я.

— Ну, вот еще! — воскликнул он, вставая на ноги. — Помилосердствуйте, я уже четвертый день, кроме мух, ничего живого не вижу . . .

— Все они — Кущевский, Воронов, Левитов, и — множество других — были горчайшими пьяницами, об этом вспоминают часто, а причина — почему они пили, так — на смерть, причина этой драмы никого не занимает. Ведь не все же они родились алкоголиками, многие, вероятно, пили потому, что лучше этого занятия — не было у них. Может быть, современный уход в колонии и в другие хаты с краю, по существу-то немного лучше ихнего пьянства; может, даже — если взять самую глубину явления — кабак-то ближе колонии к людям? Я не утверждаю, а — догадываюсь. Надо помнить, что один из честнейших писателей наших однажды громко заявил: «я умираю оттого, что был я честен». Это — чугунные слова! И нигде, кроме России, эдак не сказано. В этом — всей нации, всему обществу упрек брошен, упрек заслуженный. Но, если умирали от того, что были честны, ведь и пить могли от того же? Имею ли я право отдохнуть от безобразия в кабаке, так как другого места для меня, для истерзанной души моей — не уготовано? Общество категорически отвечает: «не имеешь ты этого права!» Само оно, однако, всегда напоминает поведением своим псалом «вскую шаташася языцы» и — глухо к таким признаниям, как вот: «умираю, потому что был я честен». Это до него не доходит!

Рассказывал анекдоты о глупостях цензуры, смеялся беззлобно, потом долго молчал, усталый, и вздохнув, сказал:

— Вообще говоря, юноша, быть писателем на святой Руси — должность трудненькая. Вот, когда-нибудь родится умный человек, посмотрит, подумает и, может быть, напишет историю русского писателя — разночинца. Это очень поучительная история будет и весьма полезная для общества. Надо же понять, наконец, до какой степени у нас невозможно — возможное. Каламбур — по русски: возможное — невозможно.

Он едва сидел на стуле, глаза его были мутны, и голова тяжко опускалась на грудь. И когда я сказал ему, что напрасно он перемогается, лучше бы лег, он, видимо, сильно болен, Н. Е. усмехнувшись, ответил:

— Я лет десять болен.

Однажды я видел его на людях: в город прибыл с целью пропаганды нового учения толстовец, собралась публика послушать его, пришел и Каронин с женою.

Пропагандист был молодой парень, одетый в пестрядинную рубаху и штаны, в тяжелых, неудобных сапожищах; он артистически чесал бока, встряхивал волосами, как настоящий мужик, двигался по комнате в развалку, эдакой особенной походкой трудового человека и смотрел на всех людей, как человек, обладающий универсальной истиной — снисходительным и в то же время равнодушным оком, точно говоря:

— Ну-с, все загадки жизни разрешены мною, и если вы хотите, я, пожалуй, сообщу вам решения!

Он был явно доволен тем, что ему удалось «опроститься», но, однако, в нужных случаях употреблял носовой платок. Говорил «по нашему, по-просту, по-деревенски», смачно подчеркивая настоящие слова — «брюхо», «негоже», «стал-быть», «не замайте», вообще играл роль простого мужичка с хорошей выдержкой и не без любви к делу. Начал он с того, что рассмотрел критически все условия социального бытия и доказал слушателям, что во всех несчастиях жизни они сами виноваты, потому что трусы, лгуны, лицемеры и лентяи. Люди в этот день жаждали истины, суровый нагоняй пророка ее был ими принят смиренно и без возражений, но, к несчастию оратора и публики, в числе слушателей оказался бывший студент духовной академии, —

человек рябой, лохматый и ненавидевший рационализм, что не мешало ему третий год учиться на медицинском факультете Казанского университета. Он стал возражать толстовцу, и через полчаса оба они начали яростно швырять друг в друга цитатами из Евангелия, творений отцов церкви и религиозных книг Л. Н. Толстого; студент читал их и доказывал толстовцу, что он не понял своего учителя, а опростившийся человек сердился, уже употребляя не всем понятные слова, вроде «предиката», «антимонии»; студент уличал его в неправильном толковании философских терминов — вихрем взвеялась крикливая скука, и все слушатели поблекли.

Каронин сидел в углу комнаты, тесно набитой людьми, насыщенной табачным дымом; он согнулся, изредка негромко кашлял и, казалось, не слушал спора, разбирая пальцами волосы бороды. Казалось, что происходящее чуждо ему, и себя он чувствует чужим здесь, среди обиженно нахмурившихся или угнетенно покорных людей, в кругу которых неутомимо ратоборствовали два философа. Сутулая спина писателя изогнулась дугой, волосы, свесившись, закрывали его лицо; я все ждал, что он встанет, разогнувшись немного, чуть-чуть, выступит вперед и убеждающим голосом скажет:

— Довольно!

— Это квиетизм! — кричал студент толстовцу, а тот его называл «позитивистом, который стыдится позитивизма». Каронин незаметно поднялся и вышел в соседнюю комнату, где сидело несколько человек, утомленных спором; кто-то их них спросил:

— Что — все еще скучно?

— Как в семинарии на уроке гомилетики, — ответил Каронин.

Его спросили, как ему нравится проповедник?

Поглаживая рукою горло, он ответил, не сразу и не охотно:

— Посылки сильные и верные, а выводы ничтожны и наивны. По моему это значит, что у него — одновременно — и логика плохая и чувства нет. В учителя он записался не потому, должно быть, что людей жалко и добра им хочется, а потому, что приятно для него учить людей. Холодная душа.

Минут через пять он ушел, не простясь с хозяином квартиры, а я и еще кто-то пошли провожать его.

Он шагал медленно, спрятав руку под бороду и тихонько говорил:

— У Слепцова, умный его Рязанов говорит — «есть такая точка зрения, с которой самое любопытное дело кажется таким простым и ясным, что на него скучно смотреть» — вот и этот франт всю жизнь так осветил, что мне на нее стало скучно смотреть. Рязанов потом сознался, все-таки, что «это и не жизнь, а так, чорт знает, что, дребедень какая-то» — пройдет года два — три, и франт тоже увидит, что он выдумал дребедень и чорт знает что. А, может, и не скажет, он — самолюбив; не скажет, а просто пулю в лоб себе. Зато, если скажет, то непременно крикливо и всему миру на показ, уж это наверняка[1]).

— Положительно, в нем есть что-то общее со скептиком Рязановым, хотя он и щеголяет в ризе вероучителя, — говорил Каронин медленно и как бы думая о чем-то другом. — Жена моя слушает его и все толкает меня в бок, шепчет: вот, напиши о нем рассказ. Написать — можно и даже следует. Нет ничего легче, как снять с человека чужое и показать, что под чужой одеждой скрывается беглый арестант из собственной своей тюрьмы. Вы слышали, как он сказал: «вера, это любовь, распространенная на весь мир?» Слова не продуманные: они предполагают возможность какого-то безгневного, созерцательного существования. Это для русского жителя — созерцание рекомендовать?

Придержал меня за плечо и спросил:

— А на вас, колонист, эта проповедь, кажется, подействовала?

Да, я был угнетен всем, что видел, а особенно моим полным непониманием философских слов. Я попросил у него разрешения зайти к нему.

— Милости прошу! — сказал он.

Я видел у него книги Спенсера, Вундта, Гартмана в изложении Козлова и «О свободе воли» Шопенгауэра; придя к нему на другой день, я и начал с того, что попросил дать мне одну из этих книг, которая «попроще».

В ответ мне, он сделал комически дикое лицо, растрепал себе бороду и сказал:

[1]) Пророчество Каронина в скорости и удивительно точно оправдалось: в год его смерти, ярый толстовец Н. Ильин напечатал свой, до неприличия крикливый, «Дневник», некоторое время спустя один из главных проповедников «толстовства» М. Новоселов начал кричать на Льва Николаевича в «Православном Обозрении» и целый ряд бывших проповедников «неделания» и «непротивления злу» выступили со злейшей критикой «нового евангелия».

— Поехали Андроны на немазанных колесах!

А потом стал отечески убеждать:

— Ну, зачем вам? Это после, на досуге почитаете. А теперь, для знакомства с философией, достаточно будет, если вы прочтете Хемницерову басню «Метафизик» — в ней все ясно. Да и всем нам — рано философствовать, нет у нас материала для этого, ведь философия — сводка всех знаний о жизни, а — мы с вами что знаем? Одно только: вот, явится сейчас городовой и отведет в участок. Отведет и не скажет даже — за что? Кабы знать — за что, ну, тогда можно пофилософствовать на тему: правильно отвели в участок или нет? А если и этого не позволено знать — какая же тут философия возможна? Нет тут места для философии . . .

Он шагал по комнате длинными шагами, веселый, шутливый, точно поздоровевший за ночь, и в глазах его светилась мягкая радость.

— Россияне философствуют всегда весьма скверно, хотя некоторые из них и обучались в семинариях, но, видимо, способность философить — вне наших национальных предрасположений. Мечтать мы любим, как башкиры, а философим — по самоедски, хотя самоеды, вероятно, пустяками не занимаются, но — произведем самоеда от — сам себя ест. Это будет верно: наш девиз «не познай самого себя», а пожри самого себя. Жрем. Возьмите немца: у него философия — итог знаний и действий, а у нас она понимается, как план жизни, расписание на завтрашний день. Это — не годится, понимаете? Нет, вы лучше, займитесь-ка делом, вон — у вас впереди солдатчина — ведь осенью на призыв?

Я сказал, что солдатчина меня не пугает, напротив — я возлагаю на нее большие надежды: имею обещание, что меня возьмут в топографскую команду и отправят на Памир, а там я . . .

— Здравствуйте! — сказал он, остановясь против меня и поклонившись. — Экая сумятица у вас в голове: колония, Памиры, изучение философии — замечательно, право! Юноша, вам надобно лечиться от этих судорог. . . Или — ужь лучше идите в колонию, вот, например, в Симбирскую . . .

Пришел какой-то рыжий мужчина, одетый мещанином, в чуйку и высокие сапоги, — Николай Ельпидифорович засиял, заметался и стал похож на ребенка, не знающего, что ему делать от

радости: вместо того, чтобы освободить один из стульев, заваленных книгами и газетами, он начал усердно снимать книги со стола.

Гость взял за спинку стул, сбросил с него газеты на пол и сел, молча и сердито поглядывая на меня, двигая большими челюстями.

Я простился с Карониным и больше не встречал его.

Знакомство с ним — одно из самых значительных впечатлений юности моей, и я рад, что мне было так легко вспомнить его слова, точно я слышал их всего год тому назад.

Удивительно светел был этот человек, один из творцов «священного писания» о русском мужике, искренно веровавший в безграничную силу народа, силу, способную творить чудеса.

Но у Н. Е. Каронина вера эта была не так фанатична и слепа, как у других писателей «народников» зараженных славянофильской мистикой и, казалось бы, чужим для них настроением «кающихся» дворян. Впрочем эта зараза естественна для людей, истерзанных своим одиночеством, людей, которым пришлось жить «между молотом и наковальней», — между полудиким правительством и чудовищно огромной, одичалой деревней.

Каронин веровал зряче:

— Надо все-таки помнить умный стишок Алексея Толстого, хотя Толстой и барин . . .

Поднял палец и, несколько смущенно, прочитал «стишок»:

— «Есть — мужик и — мужик.
Если он не пропьет урожаю
Я, тогда, мужика уважаю».

— Мужика надо еще сделать разумным человеком, который способен понять важность своего назначения в жизни, почувствовать свою связь со всей массой подобных ему, стиснутых ежовой рукавицей государства.

Он многое предвидел и некоторые мнения его оказались пророческими. После одной горячей беседы на обычную тему «что делать», он сказал угрюмо:

— Эх, замотаются люди на этих поисках места в жизни и нырнут в омут такого эгоизма, что всем чертям будет тошно!

Жил он только литературным заработком, нередко голодал,

ему часто приходилось бегать по городу, отыскивая у знакомых рубль в заем.

В один из таких дней я увидал его на «Балчуге», он продавал старьевщику кожаный пояс и жилет. Сгорбясь, кашляя, стоял пред каким-то жуликом в очках, сняв пиджак, в одной рубахе и убедительно говорил:

— Но, послушайте, почтенный, — что же я буду делать с семнадцатью копейками?

— А, уж этого я не знаю . . .

— На семнадцать копеек не проживешь день . . .

— Живут и дешевле, — равнодушно сказал жулик.

Каронин, подумав, согласился:

— Верно, — живут! Давайте деньги.

Когда я поздоровался с ним, он сказал, надевая пиджак:

— А я, вот, продал часть своей шкуры. Так-то, барин! Чтобы работать — надо есть . . .

Он часто говорил о людях, которым тяжело на земле, но я не слышал жалоб его на свою полуголодную жизнь да, казалось мне, что он и не замечает, как живет, весь поглощенный исканием «правды-справедливости». И, как все люди его линии мысли, верил, что эта правда существует там, в деревне, среди «простых» людей.

Мне кажется, он редко употреблял глагол жить, — чаще говорил работать. И редко звучало тогда слово человек, говорили — народ.

— «Мы должны целиком израсходовать себя в пользу народа, этим решаются все вопросы» — прочитал он мне слова из какого-то письма и, барабаня пальцами по листу бумаги, задумчиво добавил:

— Конечно. Ну, конечно! А иначе — куда? На что мы?

Встал со стула, оглянулся.

— Пишет это одна хорошая женщина. Из ссылки.

Полузакрыв глаза, глядя на голую стену комнаты, он тихонько рассказал мне историю девушки: она фиктивно вышла замуж за человека совершенно чужого ей, пьяницу, освободилась от семьи и попала в руки негодяя. Долго боролась с ним за свою свободу, измученная ушла в деревню «учить народ», а теперь зябнет в Сибири.

Рассказав это, он грустно добавил:

— Жертва. Тяжело ей. Я знаю, — тяжело! Но — другой дороги не было, барин!

В те дни, когда мне особенно плохо жилось, он посоветовал:

— Вы — странная натура. Все у вас угловато и, как-то отвлеченно. Пожалуй, вам и полезно будет пожить в колонии, с толстовцами, они вас несколько обломают . . .

Его интерес к «босякам» возрастал, раза три я видел Каронина в трущобах «Миллионной» улицы и мне казалось, что его несколько смущает увлечение, чуждое вере в деревню.

— Резкий народ, — говорил он. — Очень интересные типы есть. Конечно — отработанный пар, но, все-таки, некоторые — думают . . . А это уже — кое-что . . .

Жил он в постоянной тревоге о судьбе народа, в непрерывных заботах о хлебе и эта напряженная, нервная жизнь очень помогала болезни разрушать тело, измученное тюрьмой, этапами, ссылкой. Все лихорадочнее горели его глаза, суше звучал кашель.

Он уехал из Нижнего и вскоре умер.

Кто-то рассказал мне, что в день смерти Каронин грустно сознался:

— Оказывается, умирать гораздо проще, чем жить.

А. П. Чехов.

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочек земли и белый двух-этажный домик. Там, показывая мне свое «имение», он оживленно заговорил:

— Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька, все!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное острое внимание к его словам.

— Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас — это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы

никто не смел орать на него . . . унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина, и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, — вы понимаете? — воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам ляринги́т, ревматизм, туберкулез . . . ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живет как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей — его обвинят в неблагонадежности, — глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков! . . Отвратительно все это . . . какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, — когда я вижу учителя, — мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват . . . серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:

— Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой.

— Видите, — целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте, — чаю дам, за то, что вы такой терпеливый . . .

Это часто бывало у него: — говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей. И в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность . . .

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала, чем-то довольная, собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

— Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам . . .

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

— Я сегодня говорю все дряхлые слова . . . значит, — старею!

Мне очень часто приходилось слышать от него:

— Тут, знаете, один учитель приехал . . . больной, женат, — у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил . . .

Или:

— Слушайте, Горький, — тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему, — хорошо?

Или:

— Вот, учительницы просят прислать книг . . .

Иногда я заставал у него этого «учителя»: обыкновенно учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и «образованнее», или, с развязностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова, — слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, отчего сразу становился и умнее, и интереснее . . .

Помню, один учитель — высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолически загнутым к подбородку, сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:

— Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность об'ективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть ничто иное, как только наше представление о нем . . .

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

— А скажите, — не громко и ласково спросил Чехов, — кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

— Вы не волнуйтесь, — продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь, — разве я говорю про вас? Но я помню — читал в газетах — кто-то бьет, именно в вашем уезде . . .

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

— Верно! Был один случай. Это — Макаров. Знаете — не удивительно! Дико, но — об'яснимо. Женат он, четверо детей, жена — больная, сам тоже — в чахотке, жалованье — 20 р. . . . а школа — погреб и учителю — одна комната. При таких условиях — ангела Божия поколотишь безо всякой вины, а ученики — они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно поражавший Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня . . .

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

— Шел я к вам, будто к начальству, — с робостью и дрожью, надулся, как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, и я не лыком шит . . . а ухожу вот — как от хорошего, близкого человека, который все понимает. Великое это дело — все понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще и понятливее, и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас . . .

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку и он неожиданно добавил:

— А собственно говоря, и подлецы — тоже несчастные люди, — чорт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

— Хороший парень. Не долго проучит . . .

— Почему?

— Затравят . . . прогонят . . .

Подумав, он добавил негромко и мягко:

— В России честный человек — что-то в роде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей . . .

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушиные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пущей важности», вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел пред собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренно свободен и никогда не считался с тем, чего одни — ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, требовали. Он не любил разговоров на «высокие» темы, — разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

Красиво-простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика и — начали «ставить вопросы».

— Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым ответил:

— Вероятно, — миром . . .

— Ну, да, конечно! — Но кто же победит? Греки или турки?

— Мне кажется, — победят те, которые сильнее . . .

— А кто, по вашему, сильнее? — на перебой спрашивали дамы.

— Те, которые лучше питаются и более образованы . . .

— Ах, как это остроумно! — воскликнула одна.

— А кого вы больше любите — греков или турок? — спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю — мармелад . . . а вы — любите?

— Очень! — оживленно воскликнула дама.

— Он такой ароматный! — солидно подтвердила другая.

И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно — они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Ант. Павловичу:

— Мы пришлем вам мармеладу!

— Вы славно беседовали! — заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

— Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком . . .

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стоял пред Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

— Рассказом «Злоумышленник» вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему, как к суб'екту, действовавшему без разумения, и поддамся чувству сострадания, — чем я гарантирую обществу, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

— Если б я был судьей, — серьезно сказал Антон Павлович, — я бы оправдал Дениса . . .

— На каком основании?

— Я сказал бы ему: ты, Денис, еще не дозрел до типа сознательного преступника, ступай — и дозрей!

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьезен и продолжал:

— Нет, уважаемый Антон Павлович, — вопрос, поставленный вами, может быть разрешен только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис — дикарь, да, но он — преступник, вот истина! —

— Вам нравится граммофон? — вдруг ласково спросил Антон Павлович.

— О, да! Очень! Изумительное изобретение! — живо отозвался юноша.

— А я терпеть не могу граммофонов! — грустно сознался Антон Павлович.

— Почему?

— Да они же говорят и поют ничего не чувствуя. И все у них каррикатурно выходит, мертво . . . А фотографиею вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист страстный поклонник фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на свое сходство с этим «изумительным изобретением», тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человечек, который пока еще чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

— Вот этакие прыщи на . . . сиденье правосудия — распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

— Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно — ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, — искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью.

Кто-то рассказывал при нем, что издатель популярного журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимости любви и милосердия к людям — совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге, и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

— Ну, еще бы, — сказал Антон Павлович, хмуро усмехаясь, — ведь он же аристократ, образованный... он же в семинарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки . . .

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало «аристократа» ничтожным и смешным.

— Очень талантливый человек! — говорил он об одном журналисте. — Пишет всегда так благодарно, гуманно . . . лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой. — Комната для прислуги у него сырая, и горничныя постоянно наживают ревматизм . . .

— Вам, Антон Павлович, нравится NN?

— Да . . . очень. Приятный человек — покашливая, соглашается Антон Павлович. — Все знает. — Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с синими полосками . . .

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть «серьезных» отделов в толстых журналах.

— А вы не читайте этих статьей, — убежденно посоветовал Антон Павлович. — Это же дружеская литература . . . литература приятелей. Ее сочинют гг. Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем все это нужно читателю, — никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая и начала говорить «под Чехова»:

— Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний . . . душа в тоске. Точно какая-то болезнь . . .

— Это — болезнь! — убежденно сказал Антон Павлович. — Это болезнь. По латыни она называется morbus pritvorialis. —

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по латыни, а может быть скрыла, что знает.

— Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю, — говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой. — Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет, и жужжит. Нужно — встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто — характер у него беспокойный и заявить о себе хочется, — мол, тоже на земле живу! Вот видите, — могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором...

В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда — мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.

Порою же, казалось мне, — что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

— Странное существо — русский человек! — сказал он однажды. — В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески — надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь, или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни — простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони, — об этом чиновник думает так же мало,

как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками . . .

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нем ругнешь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

— Ну, зачем вы? Он же старик, ему же семьдесят лет . . .

Или:

— Он же ведь еще молодой, это же по глупости . . .

И когда он говорил так, — я не видел на его лице брезгливости . . .

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, но понемногу она окружает человека своим серым туманом, пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, из'еденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? — не разберешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости ее трагически-мрачные шутки; стоит только внимательно прочитать его «юмористические» рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами и положениями — жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромен, он не позволял себе громко и открыто сказать людям:

— Да будьте же вы . . . порядочнее! — тщетно надеясь, что они сами догадаются о настоятельной необходимости для них быть порядочнее. Ненавидя все пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно-человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском... И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп — труп поэта — в вагон для перевозки «устриц».

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные «воспоминания» уличных газет — лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Все так странно — одиноко, неподвижно и бессильно. Углубленные синие дали — пустынны и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает «Душечка», — милая,

кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из «Трех сестер»: она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя брата, на ее глазах ломается жизнь ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нет в ее груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева «Вишневого сада», — эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали во время умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая, — паразиты, лишенные силы снова присосаться к жизни. Дрянненький студент Трофимов краснò говорит о необходимости работать и — бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, и живет, не замечая, что около него все разлагается, что на его глазах Соленый от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем — нет им места . . .

Иногда в их серой массе раздается выстрел, это Иванов или Треплев догадались, чтò им нужно сделать и — умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

— Скверно вы живете, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На

форте Инно бухают пушки, их «пристреливают». По ночам лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не дает забыть о дьявольском навождении — войне.

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому назад, война вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Манчжурии генерала Келлер и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен . . .

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околодочный на толстой, белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В одном из писем к старику А. С. Суворину, Чехов сказал: «Нет ничего скучнее и непоэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию.»

Этими словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А. П. В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любуется энергией, но — плохо верит в нее. Писатель активного настроения — например Джек Лондон — невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтоб они побуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают воображение. Но Чехов — не очень

русский в этом смысле. Для него еще в юности «борьба за существование» развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных, мелких забот о куске хлеба не только для себя, — о большом куске хлеба. Этим заботам, лишенным радостей, он отдал все силы юности и надо удивляться: как он мог сохранить свой юмор? Он видел жизнь, только как скучное стремление людей к сытости, покою, великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обыденного. И лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда, как основания культуры, так глубоко и всесторонне, как А. П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая совершенно исключая стремление накоплять их, не устает любоваться ими, как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники. В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша.

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев», я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

— Эх-ма, кабы силы да поболе мне!
Жарко-бы дохнул я — снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церкви бы строил, да сады все садил!
Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы ее — как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко Господу:
— Глянь-ко Ты, Господи, земля-то какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты, вот, ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко Ты, Господи, порадуйся
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я Тебе ее в подарочек
Да — накладно будет — самому дорога!

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

— Это хорошо . . . Очень настоящее, человеческое! Именно в этом «смысл философии всей». Человек сделал землю обитаемой, он сделает ее и уютной для себя. — Кивнув упрямо головой, повторил:

— Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно и посоветовал:

— Две последние строчки — не надо, это озорство. Лишнее...

О своих литературных работах он говорил мало, не охотно; хочется сказать — целомудренно и с тою же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь расскажет тему всегда — юмористическую.

— Знаете, — напишу об учительнице, она атеистка, — обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи варит в бане черного кота, чтоб достать «дужку», — косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь, — есть такая косточка . . . — О своих пьесах он говорил как о «веселых» и, кажется, был искренно уверен, что пишет именно «веселые пьесы». Вероятно с его слов Савва Морозов упрямо доказывал:

— «Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии».

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно же трогательно — к «начинающим писателям». Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

— Нам нужно больше писателей — говорил он. — Литература в нашем быту все еще новинка и «для избранных». В Норвегии на каждые 226 человек населения — один писатель, а у нас один на миллион . . .

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям.

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

— Жить для того, чтоб умереть вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно — уж совсем глупо . . .

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая в даль, в море, неожиданно, сердито проговорил:

— Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет — еще лучше и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем— жизнь с каждым днем становится все сложнее и двигается куда-то сама собою, а люди — заметно глупеют и все более людей остается в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

— Точно нищие калеки во время крестного хода.

Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач еще и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.

Хороши у него бывали глаза когда он смеялся, — какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы еще мог смеяться так — скажу — «духовно».

Грубые анекдоты никогда не смешили его.

Смеясь так мило и душевно он рассказывал мне:

— Знаете, почему Толстой относится к вам так не ровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно. Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб.

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и отирая слезы продолжал:

— Я говорю: Горький добрый. А он: нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку. Вот Сулер — он обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он — гениален. Уметь любить значит — все уметь . . .

Отдохнув, Чехов, повторил:

— Да, старик ревнует . . . Какой удивительный . . .

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого мудреца.

— Вот бы вы занялись этим — убеждал он Сулержицкого — Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:

— Это — мудрый ребенок . . .

Очень хорошо сказал.

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — «Душенькой». Он говорил:

— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево. — Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах. А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенснэ. Долго молчал, наконец вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки . . .

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею! Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по русски, задумчиво-грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек — ось мира.

А— скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.

Лев Толстой.

Эта книжка составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олеизе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала — тяжко больной, потом — одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на разных клочках бугами, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением «ухода» Льва Николаечича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его, этого почему-то нельзя сделать.

М. Горький.

Заметки.

I.

Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, — мысль о Боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает — всегда. Едва ли это признак старости, предчувствие смерти, нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И — немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинять свою волю какому-то стрептококу. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

II.

У него удивительные руки, — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговари-

вая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на этакого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

III.

К Сулержицкому он относился с нежностью женщины. Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость создателя, а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер — какая-то восхитительно-вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо, и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо ее они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер — ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может — уйдет в хор трактирных песенников. Энергии в нем — на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

Но однажды он крепко рассердился на Сулера, — склонный к анархизму Леопольд часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Л. Н. всегда в этих случаях подтрунивал над ним.

Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую брошюрку князя Крапоткина, воспламенился ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно философствуя.

— Ах, Левушка, перестань, надоел, — с досадой сказал Л. Н. — Твердишь, как попугай, одно слово — свобода, свобода, а где, в чем его смысл? Ведь, если ты достигнешь свободы в твоем смысле, как ты воображаешь — что будет? В философском смысле — бездонная пустота, а в жизни, в практике — станешь ты лентяем, побирохой. Что тебя, свободного в твоем-то смысле, свяжет с жизнью, с людями? Вот — птицы свободны, а все-

таки гнезда вьют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство твое где попало, как кобель. Подумай серьезно и увидишь — почувствуешь, — что в конечном смысле свобода — пустота, безграничие.

Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:

— Христос был свободен, Будда — тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого — никто не ушел, никто. А ты, а мы — ну, что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людями, и не будь этих чувствований — жили бы мы как звери . . .

Усмехнулся:

— А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого немного, но уже и не мало. Ты, вот, споришь со мной и сердишься до того, что нос у тебя синеет, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так укокошил бы меня — только и всего.

И снова помолчав, добавил:

— Свобода — это когда всё и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях.

IV.

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли: — Какой-то маленький немецкий царек сказал: — «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это — верная мысль, верное наблюдение, — музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики, — наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога, и мать у него еврейка; — это он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть». Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал: «Сие для меня тайна!»

V.

«Интеллигент — это галицкий князь Владимирко; он еще в 12 веке говорил «предерзко»: «В наше время чудес не бывает».

С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: «Нет чудес, нет чудес». А весь народ верит в чудеса так же, как верил в 12 веке».

VI.

«Меньшинство нуждается в Боге, потому что всё остальное у него есть, а большинство потому — что ничего не имеет».

Я бы сказал иначе: большинство верит в Бога по малодушию, и только немногие — от полноты души.

— Вы любите сказки Андерсена? — спросил он задумчиво. — Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство, — он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.

VII.

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления и хотя — иногда — любуется им, но — едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню, — Его девки засмеют.

VIII.

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, очень умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал:

— Карамзин писал для царя, Соловьев — длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь — будто хвалит, а вникнешь — обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.

— Очень милый. Под'ячий такой. Старьевщик-любитель, собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но — очень, очень забавный.

IX.

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир — не для них, Бог — тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: — зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди — пеньки, корни, камни по дороге, — о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.

X.

«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: «Каждый должен спасаться à sa façon». Он же говорил: «Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь». Но, умирая, сознался: «Я устал управлять рабами». Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие — не глупость: дурак — упрям, но противоречить не умеет. Да — Фридрих странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гёте и Виланда не любил . . .»

XI.

«Романтизм — это от страха взглянуть правде в глаза», — сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

— Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а ерундистика, как говорили в средине века, — бессмысленное плетение слов. Поэзия — безыскусственна; когда Фет писал:

— Не знаю сам, что буду
Петь, но только песня зреет, —

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет, — ох, да-ой, да-эй — а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые всё выдумывают. Есть такие глупости французские «артикль де Пари», так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.

— А Беранже? — спросил Сулер.

— Беранже — это другое! Что же общего между нами и французами? Они — чувственники; жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего — женщина. Они — изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные — чувственники.

Сулер начал спорить с прямотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

— Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет . . .

XII.

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлемее. Глаза — еще острей, взгляд — пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать, — человеком решенных вопросов.

XIII.

Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно в пресные воды земных рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чуется, что молчит

еще больше. Иного — никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

XIV.

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову, — читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда еще хуже.

Потом он сказал:

— Вот как хорошо сочиняют мужики. Все просто, слов мало, а чувства — много. Настоящая мудрость немногословна, как — Господи помилуй.

А сказочка — свирепая.

XV.

Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и — только.

XVI.

Читал ему свой рассказ «Бык»; он очень смеялся и хвалил за то, что знаю «фокусы языка».

— Но распоряжаетесь вы словами неумело, — все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно, — не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно, — под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас — все нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно, — афоризм русскому языку не сроден.

— А пословицы, поговорки?

— Это — другое. Это не сегодня сделано.

— Однако вы сами часто говорите афоризмами.

— Никогда! Потом вы прикрашиваете всё: и людей, и природу, особенно — людей! Так делал Лесков, писатель вычурный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь, — тогда будет хорошо . . .

XVII.

В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его, что это?

—Незаконченная мысль, — сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. — Должно быть, я хотел сказать: Бог есть мое желание познать его . . . Нет, не то . . . — Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

XVIII.

О науке.

— «Наука — слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу, — значит: начеканить множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты — не поблагодарит он нас».

XIX.

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десяти-фунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

— Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими, вот, лошадями, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как

тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

XX.

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая раньше неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый . . .

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «26 и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

XXI.

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по детски — трубой — сложив губы, насвистывал неумело.

— Как ярится пичужка! Наяривает. Это — какая?

Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.

— На всю жизнь одна песня, а — ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность — справедливо ли это? — задумчиво и как бы сам себя спросил он. — Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал — и забыл, а она помнит. Может быть, ревность — от страха унизить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за . . ., а которая — за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

— Я не зяблик.

Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:

— Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно, — у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное, или которого давно грызла острая боль, и вдруг — нет ее. Каждая мысль впивается в душу его точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает сама.

Увлекательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами и строго сказал:

— Стеганое, а не стежаное; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стежать нет . . .

Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стоиков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо произнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты:

— Они там говорят: стежаное одеяло!

И продолжал:

— А слащавый болтун Ренан . . .

Нередко он говорил мне:

— Вы хорошо рассказываете — своими словами, крепко, не книжно.

Но почти всегда замечал небрежности речи и говорил вполголоса, как бы для себя:

— Подобно, а рядом — абсолютно, когда можно сказать — совершенно!

Иногда же укорял:

— Хлипкий суб'ект — разве можно ставить рядом такие несхожие по духу слова? Не хорошо . . .

Его чуткость к формам речи казалась мне — порою — болезненно-острой: однажды он сказал:

— У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и кишку — отвратительно! Меня едва не стошнило.

Иногда он рассуждал:

— Подождем и под дождем — какая связь?

А однажды, придя из парка, сказал:

— Сейчас садовник говорит: насилу столковался. Не правда-ли — странно? Куются якорья, а не столы. Как же связаны эти глаголы — ковать и толковать? Не люблю филологов — они схоласты, но пред ними важная работа по языку. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы просить и бросить?

Чаще всего он говорил о языке Достоевского:

— Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво, — я уверен, что нарочно, из кокетства. Он форсил; в «Идиоте» у него написано: «В наглом приставании и афишевании знакомства». Я думаю, он нарочно исказил слово афишировать, потому что оно чужое, западное. Но у него можно найти и непростительные промахи: идиот говорит: «Осел — добрый и полезный человек», но никто не смеется, хотя эти слова неизбежно должны вызвать смех или какое-нибудь замечание. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высмеивать его. Особенно Аглая. Эту книгу считают плохой, но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин — эпилептик. Будь он здоров — его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтоб написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен — весь мир болен . . .

Читал Сулеру и мне вариант сцены падения «Отца Сергия» — безжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнованно заерзал.

— Ты что? Не нравится? — спросил Л. Н.

— Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая девица, и груди у нее, как блины, и всё. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой?

— Это был бы грех без оправдания, а так — можно оправдаться жалостью к девице — кто ее захочет, такую?

— Не понимаю я этого . . .

— Ты много не понимаешь, Левушка, ты не хитрый . . .

Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а когда она и Сулер ушли во флигель, Л. Н. сказал мне:

— Леопольд — самый чистый человек, какого я знаю. Он тоже так: если сделает дурное, то — из жалости к кому-нибудь.

XXII.

Больше всего он говорит о Боге, о мужике и о женщине. О литературе — редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо-враждебно и любит наказывать ее, — если она не Китти и не Наташа Ростова, т. е. существо недостаточно ограниченное. Это вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти?» Но это — вражда и — холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготовляя кофе, сжег записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждение Л. Н. об Ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов, а Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым.

XXIII.

Утром были штундисты из Феодосии, и сегодня целый день он с восторгом говорит о мужиках.

За завтраком: «Пришли они, — оба такие крепкие, плотные; один говорит: «Вот, пришли незваны», а другой — «Бог даст — уйдем не драны». И залился детским смехом, так и трепещет весь.

После завтрака, на террасе:

— Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа: мы, вот, говорим: «теория прогресса», «роль личности в истории»,

«эволюция науки», «дизентерия», а мужик скажет: «шила в мешке не утаишь», и все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что непонятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее, и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали: «Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка».

XXIV.

— «Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее — лживые. Но когда она лжет — она не верит себе, а Руссо лгал — и верил».

XXV.

«Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, т. е. это же он мог бы сказать про самого себя».

XXVI.

— Некоторые церковные слова удивительно темны — какой, например, смысл в словах: «Господня земля и исполнения ее». Это — не от священного писания, а какой-то популярно-научный материализм.

— «У вас где-то истолкованы эти слова» — сказал Сулер.

— Мало что у меня истолковано . . . «Толк — от есть, да не втолкан весь».

И улыбнулся хитренько.

XXVII.

Он любит ставить трудные и коварные вопросы:

— Что вы думаете о себе?

— Вы любите вашу жену?

— Как по-вашему, сын мой Лев — талантливый?

— Вам нравится Софья Андреевна?

Лгать перед ним — нельзя.

Однажды он спросил:

— Вы любите меня, А. М.?

Это — озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует» он, все пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако, — не очень по душе мне. Он — чорт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня.

XXVIII.

Может быть, мужик для него просто — дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем.

Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей Корнэ, он хохотал до слез, до боли в груди, охал и все покрикивал тоненько:

— Лопатой! По . . . Лопатой, а? По самой по . . . И — широкая лопата?

Потом, отдохнув, сказал серьезно:

— Вы еще великодушно ударили, другой бы — по голове стукнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она хотела вас?

— Не помню; не думаю, чтобы понимал . . .

— Ну, как же! Это ясно. Конечно, так.

— Не тем жил тогда . . .

— Чем ни живи — все равно! Вы не очень бабник, как видно. Другой бы сделал на этом карьеру, стал домовладельцем и спился с круга вместе с нею.

Помолчав:

— Смешной вы. Не обижайтесь, — очень смешной! И очень странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли бы быть злым. Вы крепкий, это хорошо . . .

И, еще помолчав, добавил задумчиво:

— Ума вашего я не понимаю — очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное . . . да, сердце умное!

Примечание. Живя в Казани, я поступил дворником и садовником к генеральше Корнэ. Это была француженка, вдова генерала, молодая женщина, толстая, на крошечных ножках

девочки-подростка; у нее были удивительно красивые глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до замужества она была торговкой или кухаркой, быть может, даже «девочкой для радости». С утра она напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом халате поверх ее, в красных татарских туфлях из сафьяна, а на голове грива густых волос. Небрежно причесанные, они падали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она ходила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, просила:

— Полин, давайте мне что-нибудь.

«Что-нибудь» — всегда было одним и тем же — стаканом вина со льдом . . .

В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни княжны Д.-Г., их отец интендант — генерал куда-то уехал, мать умерла. Генеральша Корнэ не взлюбила барышень и старалась сжить их с квартиры, делая им различные пакости. По-русски она говорила плохо, но ругалась отлично, как хороший ломовой извозчик. Мне очень не нравилось ее отношение к безобидным барышням, — они были такие грустные, испуганные чем-то, беззащитные. Однажды около полудня две из них гуляли в саду, вдруг пришла генеральша, пьяная, как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они молча пошли, но генеральша встала в калитке, заткнув ее собой, как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские слова, от которых даже лошади вздрагивают. Я попросил ее перестать ругаться и пропустить барышень, она закричала:

— Я снай тибе! Ти — им лязит окно, когда ночь . . .

Я рассердился, взял ее за плечи и отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув халат, подняв рубаху, заорала:

— Я луччи эти крис!

Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды, с великим изумлением:

— О! О! О!

После этого, взяв паспорт у ее наперсницы Полины, бабы тоже пьяной, но весьма лукавой, — взял под мышку узел иму-

щества моего и пошел со двора, а генеральша, стоя у окна с красным платком в руке, кричала мне:

— Я не звать полис — нитшего — слюший! Иди еще назади... Не надо боясь . . .

XXIX.

Я спросил его:

— Вы согласны с Познышевым, когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?

— А вам очень интересно знать это?

— Очень.

— Так я не скажу!

И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук.

Помнится, — в одном из его рассказов есть такое сравнение деревенского коновала с доктором медицины:

«Слова «гильчак», «почечуй», «спущать кровь» разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и т. д.»

Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озорник!

XXX.

Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона.

XXXI.

— Диккенс очень умно сказал: «Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты». Вообще же это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. Впрочем, он умел построить роман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзака. Кто-то сказал: «Многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом». Бальзак не стыдился и Диккенс тоже, а оба написали не мало плохого. А все-таки Бальзак — гений, т. е. то самое, что нельзя назвать иначе — гений . . .

Кто-то принес книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером», — Лев Николаевич взял ее со стола и сказал, помахивая книжкой в воздухе:

— Тут хорошо сказано о политических убийствах, о том, что эта система борьбы не имеет в себе ясной идеи. Такой идеей, говорит образумевший убийца, может быть только анархическое всевластие личности и презрение к обществу, человечеству. Это — правильная мысль, но анархическое всевластие — описка, надо было сказать — монархическое. Хорошая, правильная идея, на ней споткнутся все террористы, я говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать — он не споткнется. Ему — не на чем споткнуться. Но он просто убийца, а в террористы попал случайно . . .

XXXII.

Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

— Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки.

О, Господи! Не надо ему хвастать этим, не надо!

XXXIII.

Прочитал ему сцены из пьесы «На дне»; он выслушал внимательно, потом спросил:

— Зачем вы пишете это?

Я об'яснил, как умел.

— Везде у вас заметен петушиный наскок на всё. И еще — вы всё хотите закрасить все пазы и трещины своей краской. Помните, у Андерсена сказано: «Позолота-то сотрется, свиная кожа останется», а у нас мужики говорят: — «Все минется, одна правда останется». Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет. Потом — язык очень бойкий, с фокусами, это не годится. Надо писать проще, народ говорит просто, даже как будто — бессвязно, а — хорошо. Мужик не спросит: «почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех», как спрашивала одна ученая барышня. Фокусов — не надо.

Он говорил недовольно, видимо, ему очень не понравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро сказал:

— Старик у вас — несимпатичный, в доброту его — не веришь. Актер, ничего, хорош. Вы «Плоды просвещения» знаете? У меня там повар похож на вашего актера. Пьесы писать трудно. Проститутка тоже удалась, такие должны быть. Вы видели таких?

— Видел.

— Да, это заметно. Правда даст себя знать везде. Вы очень много говорите от себя, потому — у вас нет характеров, и все люди — на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понимаете, они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их . . .

Пришла жена, А. Л., и пригласила к чаю; он встал и пошел так быстро, как будто обрадовался кончить беседу.

XXXIV.

— Какой самый страшный сон видели вы?

Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения остались в памяти, вероятно, на всю жизнь.

Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого цвета, звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже худосочного. Между ними по гнилому небу скользила, не спеша, красноватая молния, очень похожая на змею, и когда она касалась звезды — звезда, тотчас набухая, становилась шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое пятно — точно дымок —, оно быстро исчезало в гнойном, жидком небе. Так, одна за другою, полопались, погибли все звезды, небо стало темней, страшней, потом — всклубилось, закипело и, разрываясь в клочья, стало падать на голову мне жидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глянцевитая чернота кровельного железа. Л. Н. сказал:

— Ну, это у вас от ученой книжки, прочитали что-нибудь из астрономии, вот и кошмар. А другой сон?

Другой сон: снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только, чуть видны, высовываются из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва наме-

ченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные сапоги — пустые.

Он поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал.

— Это — страшно! Вы, в самом деле, видели это, не выдумали? Тут тоже есть что-то книжное.

И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольно, строго, постукивая пальцем по колену.

— Ведь, вы не пьющий? И не похоже, чтоб вы пили много когда-нибудь. А в этих снах все-таки есть что-то пьяное. Был немецкий писатель Гофман, у него ломберные столы по улицам бегали, и все в этом роде, так он был пьяница, — «калаголик», как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут — это, вправду, страшно! Даже, если вы и придумали — очень хорошо! Страшно!

Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так, что даже скулы засияли.

— А, ведь, представьте-ка: вдруг по Тверской бежит ломберный стол, эдакий — с выгнутыми ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят, даже еще цифры на зеленом сукне видать, — это на нем акцизные чиновники трое суток напролет в винт играли, он не вытерпел больше и сбежал.

Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне:

— Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжными? Не обижайтесь, я знаю, что иной раз такое незаметно выдумаешь, что нельзя принять, никак нельзя, и кажется, что во сне видел, а вовсе не сам выдумал. Один старик помещик рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и видит: в степи два холма, и вдруг они превратились в женские титьки, а между ними приподнимается черное лицо, вместо глаз на нем две луны, как бельма, сам он стоит уже между ног женщины, а перед ним — глубокий черный овраг и — всасывает его. Он после этого седеть начал, руки стали трястись, и уехал заграницу к доктору Кнейпу лечиться водой. Этот должен был видеть что-нибудь такое — он был распутник.

Похлопал меня по плечу.

— А вы не пьяница и не распутник — как же это у вас такие сны?

— Не знаю.

— Ничего мы о себе не знаем!

Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише:

— Ничего не знаем!

Сегодня вечером, на прогулке, он взял меня под руку, говоря:

— Сапоги-то идут — жутко, а? Совсем пустые — тёп, тёп, — а снежок поскрипывает! Да, хорошо! А все-таки вы очень книжный, очень! Не сердитесь, только это плохо и будет мешать вам.

Едва ли я книжник больше его, а вот он показался мне на этот раз жестоким рационалистом, несмотря на все его оговорочки.

XXXV.

Иногда кажется: он только-что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже — не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого.

Вчера, пред обедом, он явился в гостиную именно таким, далеко ушедшим, сел на диван и, помолчав минуту, вдруг сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями, сморщив лицо:

— Это еще не всё, нет, — не всё.

Некто, всегда глупый и спокойный, точно утюг, спросил его:

— Это вы о чем?

Он пристально взглянул на него, наклонился ниже, заглядывая на террасу, где сидели доктор Никитин, Елпатьевский, я, и спросил:

— Вы о чем говорите?

— О Плеве.

— О Плеве . . . Плеве . . . — задумчиво, с паузой повторил он, как будто впервые слыша это имя, потом встряхнулся, как птица, и сказал, слабо усмехаясь:

— У меня сегодня с утра в голове глупость; кто-то сказал мне, что он прочитал на кладбище такую надпись:

— «Под камнем сим Иван Егорьев опочил,
Кожевник ремеслом, он кожи все мочил,
Трудился праведно, был сердцем добр, но вот
Скончался, отказав жене своей завод.
Он был еще не стар и мог бы много смочь,
Но Бог его прибрал для райской жизни в ночь
С Пятницы на Субботу Страстной недели» —

и еще что-то такое же . . . Замолчал, потом, покачивая головою, слабо улыбаясь, добавил:

— В человеческой глупости, — когда она не злая — есть очень трогательное, даже милое . . . Всегда есть . . .

Позвали обедать.

XXXVI.

«Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив, становятся интересными, приобретают несвойственное им, трезвым, остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино».

Сулер рассказывал: он шел со Львом Николаевичем по Тверской, Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости.

Толстой начал порицать их:

— Какая величественная глупость! Совершенно животныя, которых дрессировали палкой . . .

Но, когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:

— До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Силища, красота, — ах, Боже мой. Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!

XXXVII.

В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская, спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой, белой, войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома.

Придержав лошадь, он заговорил со мною; я пошел рядом, у

стремени и, между прочим, сказал, что получил письмо от В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородою:

— Он в Бога верует?

— Не знаю.

— Главного не знаете. Он — верит, только стыдится сознаться в этом пред атеистами.

Говорил ворчливо, капризно, сердито прищурив глаза. Было ясно, что я мешаю ему, но, когда я хотел уйти, он остановил меня:

— Куда же вы? Я еду тихо.

И снова заворчал:

— Андреев ваш — тоже атеистов стыдится, а тоже в Бога верит, и Бог ему — страшен.

У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий, и еще один, — кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, — все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

— Узнали, дураки.

И еще через минуту:

— Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому.

XXXVIII.

«Берегите себя прежде всего — для себя, тогда и людям много останется».

XXXIX.

«Что значит — знать? Вот, я знаю, что я — Толстой, писатель, у меня — жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода, — все это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к Богу. А что такое — Бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и все. Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в Боге можно только верой. Тертулиан сказал: «Мысль есть зло».

XL.

Несмотря на однообразие проповеди своей, — безгранично разнообразен этот сказочный человек.

Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал себя, как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и, как будто, нарочно еще более с'ежившийся, он рядом с крепким, солидным татарином, казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и — боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо мигая остренькими глазками, погасил их нестерпимый, проницательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей. Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле жизни, душе и Боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи Корана стихами Евангелия и пророков. В сущности — он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.

А несколько дней тому назад, говоря с Танеевым и Сулером о музыке, он восхищался ее красотой, точно ребенок, и было видно, что ему нравится свое восхищение, — точнее: своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр, рассказал, попутно, смешной анекдот о Фете и назвал музыку «немой молитвой души».

— Как же — немая? — спросил Сулер.

— Потому что — без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренно чист.

С явным наслаждением он говорил милыми, ребьячими словами, вдруг вспомнив лучшие, нежнейшие из них. И, неожиданно, усмехаясь в бороду, сказал мягко, как ласку:

— Все музыканты — глупые люди, а чем талантливее музыкант, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религиозны.

XLI.

Чехову, по телефону.

— Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно — вам! Вы очень хороший, очень!

XLII.

Он не слушает и не верит, когда говорят не то, что нужно ему. В сущности — он не спрашивает, а — допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекции.

XLIII.

Разбирая почту.

— Шумят, пишут, а — умру и, — через год, — будут спрашивать: Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать сапоги и с ним что-то случилось, — да этот?

XLIV.

Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который, неожиданно для себя, нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и — забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, все думая: куда — же засунул я это, необходимое мне? И — боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и — сделают ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг — вспомнил, нашел. Весь исполнился радостью и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря:

— Ничего вы со мною не сделаете.

Но о том — что нашел и где — молчит.

Удивляться ему — никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говорю уже — в одной комнате. Это — как в пустыне, где все сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью.

Письмо.

Только-что отправил письмо Вам — пришли телеграммы о «бегстве Толстого». И вот, — еще не раз'единенный мысленно с Вами, — вновь пишу.

Вероятно, всё, что мне хочется сказать по поводу этой новости, скажется запутанно, может быть, даже резко и зло, —

уж вы извините меня, — я чувствую себя так, как будто меня взяли за горло и душат.

Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его книги, — мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю, пусть это будет дерзко и далеко разойдется с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами; в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле! Ибо он, так сказать, всеоб'емлюще и прежде всего человек, — человек человечества.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в «житие иже во святых отца нашего блаженного боярина Льва». Вы знаете — он давно уже собирался «пострадать»; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожаление о том, что это не удалось ему, — но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и — повторю — деспотическим намерением усилить гнет своих религиозных идей, тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, освятить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, вы понимаете — заставить! Ибо он знает, что проповедь эта недостаточно убедительна; в его дневнике Вы — со временем — прочитаете хорошие образцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и личность. Он знает, что «мученики и страдальцы редко не бывают деспотами и насильниками», — он всё знает! И все-таки говорит: — «Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление». Это всегда отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, ослепить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо догмата.

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравится ему — по эту. Писатель национальный в самом истинном и всеоб'емлющем значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки

нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», «непротивления злу» — проповедь пассивизма, это всё нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фатализмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой, неуклонным, действенным сопротивлением злу жизни. То, что называют «анархизмом Толстого», в существе и корне своем выражает нашу славянскую антигосударственность, черту опять-таки истинно национальную, издревле данное нам в плоть стремление «разбрестись розно». Мы и по сей день отдаемся стремлению этому страстно, как Вы знаете и все знают. Знают — но расползаются, и всегда по линиям наименьшего сопротивления, видят, что это пагубно, и ползут еще дальше друг от друга; эти печальные, тараканьи путешествия и называются: «История России», государства, построенного едва ли не случайно, чисто-механически, к удивлению большинства его честномыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей. К удивлению, ибо мы всё «разбредались», и только, когда дошли до мест, хуже которых — не найдешь, дальше итти — некуда, ну — остановились оседло жить: такова, стало быть, доля наша, такова судьба, чтобы сидеть нам в снегах и на болотах, в соседстве с дикой Эрзей, Чудью, Мерей, Весью и Муромой. Но явились люди, учуявшие, что свет нам не с Востока, а с Запада, и вот он, завершитель старой истории нашей, желает — сознательно и бессознательно — лечь высокой горою на пути нации к Европе, к жизни активной, строго требующей от человека величайшего напряжения всех духовных сил. Его отношение к опытному знанию тоже, конечно, глубоко национально, в нем превосходно отражается деревенский, старорусский скептицизм невежества. В нем — все национально, и вся проповедь его — реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать.

Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, народ», написанное в 905 году, — какая это обидная и злорадная вещь! В ней так и звучит сектантское: «Ага, не послушали меня!» Я написал ему тогда ответ, основанный на его же словах мне, что он «давно утратил право говорить о русском народе и от его лица», ибо я свидетель того, как он не желал слушать и

понять народ, приходивший к нему беседовать по душе. Письмо мое было резко, и я не послал его.

Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда — в сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это — инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни. Люди жить хотят, а он убеждает их: это — пустяки, земная наша жизнь! Российского человека очень просто убедить в этом: он — лентяй и ничего так не любит, как отдохнуть от безделья. В общем, он, конечно, не Платон Каратаев и не Аким, не Безухий и не Неклюдов, — все эти люди созданы историей и природой не вполне по Толстому, он только исправил их для вящего подкрепления проповеди своей. Но — несомненно и неопровержимо, что в целом Русь — Тюлин внизу, а наверху — Обломов. Что Тюлин, об этом свидетельствует 905 год, а что Обломов — смотрите у гр. А. Н. Толстого, у И. Бунина и всюду вокруг себя. Зверей и жуликов — оставим в стороне, хотя зверь у нас тоже чрезвычайно национален, — взгляните, как он пакостно-труслив при всей его жестокости. Жулики, конечно, интернациональны.

Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня чувство, близкое ненависти к нему, и опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность — явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик! Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, — даже и в дневнике своем — молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это «нечто» лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне и Л. А. Сулержицкому; мне оно кажется чем-то вроде «отрицания всех утверждений», — глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком непоколебимо — в глубине души своей — равнодушным к людям, он есть на

столько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их — смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривается в «самое главное» — в смерть.

Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас», ему ли, Толстому, умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа — для всех и — навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие, — почему? Он, конечно, слишком рассудочен и умен для того, чтоб верить в чудо, но, с другой стороны — он озорник, испытатель и, как молодой рекрут, бешенно буйствует, со страха и отчаяния пред неведомой казармой. Помню — в Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова «Добро и зло в учении Нитцше и графа Толстого», он сказал, в ответ на замечание А. П. Чехова, что «книга эта не нравится ему»:

— А мне показалась забавной. Форсисто написано, а — ничего, интересно. Я, ведь, люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: «истина — не нужна», и — верно: на что ему истина? Все равно — умрет.

И, видимо, заметив что слова его не поняты, добавил, остро усмехаясь:

— Если человек научился думать, — про что бы он ни думал, — он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А — какие же истины, если будет смерть?

Далее он начал говорить, что истина едина для всех — любовь к Богу, но на эту тему говорил холодно и устало. А после завтрака, на террасе, снова взял книгу и, найдя место, где автор пишет: «Толстой, Достоевский, Нитцше не могли жить без ответа на свои вопросы, и для них всякий ответ был лучше, чем ничего», — засмеялся и сказал:

— Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит — и других обманул. Ведь, это ясно выходит . . .

Сулер спросил:

— А почему — парикмахер?

— Так, — задумчиво ответил он, — пришло в голову, модный он, шикарный — и вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе у дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры, и лянсье пляшет, отчего и презирает всех.

Этот разговор я воспроизвожу почти дословно, он очень памятен мне и даже был записан мною, как многое другое, поражавшее меня. Я и Сулержицкий записывали много, но Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас, — он вообще был небрежен и хотя по-женски любил Льва Николаевича, но относился к нему как-то странно, точно свысока немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу найти, они у кого-то в России. Я очень внимательно присматривался к Толстому, потому что искал, до сей поры ищу и по смерть буду искать человека живой, действительной веры. И еще потому, что однажды А. П. Чехов, говоря о некультурности нашей, пожаловался:

— Вот за Гете каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут.

Но далее, по поводу Шестова.

— Нельзя, — говорит, — жить, глядя на страшные призраки, он-то откуда знает, льзя или нельзя? Ведь, если бы он знал, видел бы призраки, — пустяков не писал бы, а занялся бы серьезным, чем всю жизнь занимался Будда.

Заметили, что Шестов — еврей.

— Ну, едва ли, — недоверчиво сказал Л. Н. — Нет, он не похож на еврея; неверующих евреев — не бывает, назовите хоть одного . . . нет.

Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее: я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает: а какая ты? А что за тобою, там дальше? Совсем ты уничтожишь меня, или что-то останется жить?

Странное впечатление производили его слова: — «Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И — вслед за этим тотчас же: — «Пострадать бы». — Пострадать — это тоже его правда; ни на секунду не сомневаюсь, что он, полубольной еще, был бы искренно рад попасть в тюрьму, в ссылку,

вообще — принять венец мученический. Мученичество, вероятно, может несколько оправдать, что ли, смерть, сделать ее более понятной, приемлемой, — с внешней, с формальной стороны. Но — никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен: ни «в книгах премудрости», ни «на хребте коня», ни «на груди женщины» он не испытывал полностью наслаждений «земного рая». Он слишком рассудочен для этого и слишком знает жизнь, людей. Вот еще его слова:

«Халиф Адбурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное, не имел столько. И оттого всё, что никогда не жил — не умею жить — для себя, для души, а живу напоказ, для людей».

А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: «Не верю я, что он не был счастлив». А я — верю. Не был. Но — неправда, что он жил «напоказ». Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее свое; ему нравилось заставлять их, вообще — «заставлять» читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить в непогрешимость рассудочно-религиозных домыслов Льва Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетворит, или займет их, — и ушли бы они прочь! Оставили бы человека в привычном, мучительном, а иногда и уютном одиночестве пред бездонным омутом вопроса о «главном».

Все русские проповедники, за исключением Аввакума, и, может быть, Тихона Задонского — люди холодные, ибо верою живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в «На дне», я хотел изобразить вот именно этакого старичка: его интересуют «всякие ответы», но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей — милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные:

— Отстаньте! Любите Бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте Бога, любите дальнего и — отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот — обречен смерти!

Увы, это так, надолго — так! И не могло, и не может быть иначе, ибо — замаялись люди, измучены, раз'единены страшно и все окованы одиночеством, которое высасывает душу. Если б Л. Н. примирился с церковью — это не удивило бы меня нимало. Здесь была бы своя логика: все люди — одинаково ничтожны,

даже если они и епископы. Собственно — примирения тут и не было бы, для него лично этот акт только логический шаг: «прощаю ненавидящих мя». Христианский поступок, а под ним скрыта легонькая, острая усмешечка; ее можно понять, как возмездие умного человека — глупцам.

Я все не то пишу, не так, не о том. У меня в душе собака воет, и мне мерещится какая-то беда. Вот — пришли газеты, и уже ясно: у вас там начинают «творить легенду», — жили были лентяи да бездельники, а нажили — святого. Вы подумайте, как это вредно для страны именно теперь, когда головы разочарованных людей опущены долу, души большинства — пусты, а души лучших — полны скорби. Просятся голодные, истерзанные на легенду. Так хочется утолить боли, успокоить муки! И будут создавать как раз то, что он хотел, но чего не нужно — житие блаженного и святого, он же тем велик и свят, что — человек он, — безумно и мучительно красивый человек, человек всего человечества. Я тут противоречу себе в чем-то, но — это не важно. Он — человек, взыскующий Бога не для себя, а для людей, дабы он его, человека, оставил в покое пустыни, избранной им. Он дал нам Евангелие, а чтоб мы забыли о противоречиях во Христе, — упростил образ его, сгладил в нем воинствующее начало и выдвинул покорное «воле пославшего». Несомненно, что Евангелие Толстого легче приемлемо, ибо оно более «по недугу» русского народа. Надо же было дать что-нибудь этому народу, ибо он жалуется, стоном сотрясает землю и отвлекает от «главного». А «Война и Мир» и все прочее этой линии — не умиротворит скорбь и отчаяние серой русской земли.

О «В. и М.» он сам говорил: «Без ложной скромности — это как Илиада». М. И. Чайковский слышал из его уст точно такую же оценку «Детства», «Отрочества».

Сейчас были журналисты из Неаполя, — один из них уже примчался из Рима. Просят сказать им, что я думаю о «бегстве» Толстого, — так и говорят — «бегство». Я отказался беседовать с ними. Вы понимаете, конечно, что душа моя в тревоге яростной, — я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он — нет ничего величественнее и дороже нам . . .

Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано — скончался.

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел, — мучительно хочется говорить о нем. Представляю его в гробу, — лежит, точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его — всем чужая — обманчивая улыбочка. И руки, наконец, спокойно сложены — отработали урок свой каторжный.

Вспоминаю его острые глаза, — они видели всё насквозь — и движения пальцев, всегда будто лепивших что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то неопределенный голос его. И вижу, как много жизни обнял этот человек, какой он, не по-человечьи, умный и — жуткий.

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под имением Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую, угловатую фигурку, в сером, помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, — между пальцев веют серебряные волосы бороды — и смотрят вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни — огромные, в трещинах, и окиданы пахучими водорослями, — накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том — когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море — часть его души, и все вокруг — от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он — его сосредоточенная воля — призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что — возможно! — встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелятся и закричат, и всё вокруг оживет, зашумит, заговорит

на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было на душе и восторженно, и жутко, а потом все слилось в счастливую мысль:

— Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!

Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела, ушел назад, не желая, мешать его думам. А вот теперь — чувствую себя сиротой, пишу и плачу, — никогда в жизни не случалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю — любил ли его, да разве это важно — любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал всё новое и тотчас высасывал смысл всего.

— Здравствуйте!

Я всегда переводил это слово так: — Здравствуйте, — удовольствия для меня, а для вас толку немного в этом, но все-таки — здравствуйте!

Выйдет он — маленький. И все сразу станут меньше его. Мужицкая борода, грубые, но необыкновенные руки, простенькая одежда и весь этот внешний, удобный демократизм обманывал многих, и часто приходилось видеть, как россияне, привыкшие встречать человека «по платью» — древняя, холопья привычка! — начинали струить то пахучее «прямодушие», которое точнее именуется амикошонством.

— Ах, родный ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здравствуй во веки и прими поклон мой!

Это — московско-русское, простое и задушевное, а вот еще русское, «свободомысленное»:

— Лев Николаевич! Будучи не согласен с вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице вашем великого художника . . .

И вдруг из-под мужицкой бороды, из-под демократической, мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ, — тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ежились да попискивали.

Пришлось мне с одним из «прямодушных» русских людей — москвичем — возвращаться из Ясной Поляны в Москву, так он долго отдышаться не мог, всё улыбался жалобно и растерянно твердил:

— Н-ну, — баня. Вот строг . . . фу!

И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:

— А, ведь, я думал — он и в самом деле анархист. Все твердят — анархист, анархист, я и поверил . . .

Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом мясного цвета, — зачем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна из «глубоких тайн» русской души.

Если Л. Н. хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди: великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, и все смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает им учение Лаотце, а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек-оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах — на медной трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз и — не увижу больше никогда.

Приходили журналисты, утверждают, что в Риме получена телеграмма, «опровергающая слух о смерти Льва Толстого». Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.

Солгать пред ним невозможно было даже из жалости, он и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость — жалеть людей таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать словесной пылью каких-то затертых, бездушных слов.

Он спрашивал:

— Не нравлюсь я вам?

Надо было говорить: «Да, не нравитесь».

— Не любите вы меня? — Да, сегодня я вас не люблю.

В вопросах он был беспощаден, в ответах — сдержан, как и надлежит мудрому.

Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе. О Фете — с добродушной усмешкой и всегда что-нибудь смешное; о Некрасове — холодно, скептически, но обо всех писателях так, словно это были дети его, а он, отец, знает все недостатки их и — на-те! — подчеркивает плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям милостыню подает на бедность их; слушать суждения его было неловко, под остренькой улыбочкой невольно опускались глаза — и ничего не оставалось в памяти.

Однажды он ожесточенно доказывал, что Г. И. Успенский писал на тульском языке, и никакого таланта у него не было. И он же при мне говорил А. П. Чехову:

— Вот — писатель! Он силой искренности своей Достоевского напоминает, только Достоевский политиканствовал и кокетничал, а этот — проще, искреннее. Если б он в Бога верил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.

— А как же вы говорили — тульский писатель и — таланта нет?

Спрятал глаза под мохнатыми бровями и ответил:

— Он писал плохо. Что у него за язык? Больше знаков препинания, чем слов. Талант — это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смотрите на влюбленных, — все талантливы!

О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая.

— Ему бы познакомиться с учением Конфуция или буддистов, это успокоило бы его. Это — главное, что нужно знать всем и всякому. Он был человек буйной плоти. Рассердится, — на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал

многое, а думал — плохо, он у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича и других. Потом — ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнителен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что его так много читают, не понимаю — почему! Ведь, тяжело и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и всё, — не так было, всё проще, понятнее. А вот Лескова напрасно не читают, настоящий писатель, — вы читали его?

— Да. Очень люблю, особенно — язык.

— Язык он знал чудесно, до фокусов. Странно, что вы его любите, вы какой-то не русский, у вас не русские мысли, — ничего, не обидно, что я так говорю? Я — старик, и, может, теперешнюю литературу уже не могу понять, но мне всё кажется, что она — не русская. Стали писать какие-то особенные стихи, — я не знаю, почему это стихи и для кого. Надо учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы — он обратился к Чехову — вы русский! Да, очень, очень русский.

И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто — чудесный!

Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника, прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил:

— Хорошо написал старик, хорошо!

Вышло у него это изумительно просто, восхищение красотой было так искренно, что я во век не забуду восторга, испытанного мною тогда, — восторга, который я не мог, не умел выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия. Даже сердце остановилось, а потом все вокруг стало живительно-свежо и ново.

Надо было видеть, как он говорит, чтоб понять особенную, невыразимую красоту его речи, как будто неправильной, из-

обильной повторениями одних и тех же слов, насыщенной деревенской простотой. Сила слов его была не только в интонации, не в трепете лица, а в игре и блеске глаз, самых красноречивых, какие я видел когда-либо. У Л. Н. была тысяча глаз в одной паре.

Сулер, Чехов, Сергей Львович и еще кто-то, сидя в парке, говорили о женщинах, он долго слушал безмолвно и вдруг сказал:

— А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле буду, — скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь — возьмика меня тогда! — И его взгляд вспыхнул так озорно-жутко, что все замолчали на минуту.

В нем, как я думаю, жило дерзкое и пытливое озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился Чаадаевский скептицизм. Проповедывало и терзало душу художника Аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте — озорник Новгородский, а Чаадаевское усмехалось над этими забавами души да — кстати — и над муками ее.

А науку и государственность поражал древний русский человек, доведенный до пассивного анархизма бесплодностью множества усилий своих построить жизнь более человечно.

Это — удивительно! Но черту Буслаева постиг в Толстом силою какой-то таинственной интуиции Олаф Гульбрансон, карикатурист «Симплициссимуса»; всмотритесь в его рисунок, сколько в нем меткого сходства с действительным Львом Толстым и сколько на этом лице со скрытыми, спрятанными глазами дерзкого ума, для которого нет святынь неприкосновенных и который не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай».

Стоит предо мной этот старый кудесник, всем чужой, одиноко из'ездивший все пустыни мысли в поисках всеоб'емлющей правды и не нашедший ее для себя, смотрю я на него и — хоть велика скорбь утраты, но гордость тем, что я видел этого человека, облегчает боль и горе.

Странно было видеть Л. Н. среди «толстовцев»; стоит величественная колокольня, и колокол ее неустанно гудит на весь мир, а вокруг бегают маленькие, осторожные собачки, визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга — кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и Ясно-Полянский дом, и дворец графини Паниной эти люди насквозь пропитывали духом

лицемерия, трусости, мелкого торгашества и ожидания наследства. В «толстовцах» есть что-то общее с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы мощей, да торгуют «египетской тьмой» и «слезками» богородицы. Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поляне отказывался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

— «Преувеличивает старичек!»

Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это практичные люди, они весьма ловко устраивают свои земные дела.

Л. Н., конечно, хорошо понимал истинную цену «толстовцев», понимал это и Сулержицкий, которого он нежно любил и о ком говорил всегда с юношеским жаром, с восхищением. Как-то в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как ему хорошо жить, и как стала чиста душа его, приняв учение Толстого. Л. Н. наклонился ко мне и сказал тихонько:

— Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное . . .

Многие старались делать ему приятное, но я не наблюдал, чтоб это делали хорошо и умело. Он почти никогда не говорил со мною на обычные свои темы — о всепрощении, любви к ближнему, о Евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв, что все это было бы «не в коня корм». Я глубоко ценил это.

Когда он хотел, то становился как-то особенно красиво деликатен, чуток и мягок, речь его была обаятельно проста, изящна, а иногда слушать его было тяжко и неприятно. Мне всегда не нравились его суждения о женщинах, — в этом он был чрезмерно «простонароден», и что-то деланное звучало в его словах, что-то неискреннее, а в то же время — очень личное. Словно его однажды оскорбили, и он не может ни забыть, ни простить. В вечер первого моего знакомства с ним он увел меня к себе в кабинет, — это было в Хамовниках, — усадил против себя и стал говорить о «Вареньке Олесовой», о «Двадцать шесть и одна». Я был подавлен его тоном, даже растерялся — так обнаженно и резко говорил он, доказывая, что здоровой девушке не свойственна стыдливость.

— Если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей

хочется, чтобы ее обнимали, щупали. Разум ее боится еще неизвестного, непонятного ему — это и называют: целомудрие, стыдливость. Но плоть ее уже знает, что непонятное — неизбежно, законно и требует исполнения закона, вопреки разуму. У вас же эта Варенька Олесова написана здоровой, а чувствует худосочно, — это неправда!

Потом он начал говорить о девушке из «Двадцати шести», произнося одно за другим «неприличные» слова с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обидела меня. Впоследствии я понял, что он употреблял «отреченные» слова только потому, что находил их более точными и меткими, но тогда мне было неприятно слушать его речь. Я не возражал ему; вдруг он стал внимателен, ласков и начал выспрашивать меня, как я жил, учился, что читал.

— Говорят — вы очень начитанный, — правда? Что Короленко — музыкант?

— Кажется, нет. Не знаю.

— Не знаете? Вам нравятся его рассказы?

— Да, очень.

— Это — по контрасту. Он — лирик, а у вас нет этого. Вы читали Вельтмана?

— Да.

— Неправда ли — хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака. А Гоголь подражал Марлинскому.

Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, подчинялся влиянию Гофмана, Стерна и, может быть, Диккенса, — он, взглянув на меня, спросил:

— Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это не верно. Гоголь едва ли знал Диккенса. А вы, действительно, много читали, — смотрите, это вредно! Кольцов погубил себя этим.

Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:

— Вы — настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо — ничего! Умные люди поймут.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двойственное: я был и рад, и гордился тем, что видел Толстого, но его беседа со мной несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора «Казаков», «Холстомера», «Войны», а барина, который,

снисходя ко мне, счел нужным говорить со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и улицы, а это опрокидывало мое представление о нем — представление, с которым я сжился, и оно было дорого мне.

Второй раз я видел его в Ясной. Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботики — настоящие мокроступы, — повел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин об'яснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукою любовно гладит сыроватые, атласные стволы берез.

— Недавно прочитал где-то стихи:

— Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной . . . —

очень хорошо, очень верно!

Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Л. Н. подскочил, заершился весь, лицо вспыхнуло румянцем и, этаким старым зверобоем, как гикнет. А потом — взглянул на меня с невыразимой улыбочкой и засмеялся умным, человечьим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту!

В другой раз там же, в парке, он смотрел на коршуна, — коршун реял над скотным двором, сделает круг и остановится в воздухе, чуть покачиваясь на крыльях, не решаясь: бить, али еще рано? Л. Н. вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью и трепетно шепчет:

— Злодей на кур целит наших. Вот — вот . . . вот сейчас . . . ох, боится! Кучер там, что ли? Надо позвать кучера . . .

И — позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл, метнулся в сторону, — исчез. Л. Н. вздохнул и сказал с явным укором себе:

— Не надо бы кричать, он бы и так удрал . . .

Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского-Берви.

— Вы знали его? — оживленно спросил Л. Н. — Расскажите, какой он.

Я стал рассказывать о том, как Флеровский — высокий, длиннобородый, худой, с огромными глазами, — надев длинный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, вареного

в красном вине, вооруженный огромным холщевым зонтом, бродил со мной по горным тропинкам Закавказья, как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол, и мы благоразумно ретировались от него, угрожая недоброму животному раскрытым зонтом, пятясь задом и рискуя свалиться в пропасть. Вдруг я заметил на глазах Л. Н. слезы, это смутило меня, я замолчал.

— Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный. Мне он так и представлялся, особенным. Среди писателей радикалов он — самый зрелый, самый умный, у него в «Азбуке» очень хорошо доказано, что вся наша цивилизация — варварская, а культура дело мирных племен, дело слабых, а не сильных, и борьба за существование — лживая выдумка, которой хотят оправдать зло. Вы, конечно, не согласны с этим? А вот Додэ — согласен, помните, каков у него Поль Астье?

— А как же согласовать с теорией Флеровского хотя бы роль норманнов в истории Европы?

— Норманны — это другое!

Если он не хотел отвечать, то всегда говорил: «Это другое».

Мне всегда казалось — и думаю, я не ошибаюсь — Л. Н. не очень любил говорить о литературе, но живо интересовался личностью литератора. Вопросы: «знаете вы его? какой он? где родился?» — я слышал очень часто. И почти всегда его суждения приоткрывали человека с какой-то особенной стороны.

По поводу В. Г. Короленко он сказал задумчиво:

— Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вернее и лучше, чем видим мы сами.

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

— Ему мешает медицина, не будь он врачем, — писал бы еще лучше.

О ком-то из молодых:

— Притворяется англичанином, что всего хуже удается москвичу.

Мне он не однажды говорил:

— Вы — сочинитель. Все эти ваши Кувалды — выдуманы.

Я заметил, что Кувалда — живой человек.

— Расскажите, где вы его видели.

Его очень насмешила сцена в камере казанского мирового

судьи Колонтаева, где я впервые увидел человека, описанного мною под именем Кувалды.

— Белая кость! — говорил он, смеясь и отирая слезы. — Да, да — белая кость! Но — какой милый, какой забавный. А рассказываете вы лучше, чем пишете. Нет, вы — романтик, сочинитель, уж сознайтесь!

Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилием.

— А насилие — главное зло! — воскликнул он, взяв меня под руку. — Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас «Мой спутник» — это не сочинено, это хорошо, потому что не выдумано. А когда вы думаете — у вас рыцари родятся, все Амадисы и Зигфриды . . .

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных «спутников» наших — все строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде.

Он усмехнулся и легонько толкнул меня локтем.

— Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы! Вы — сомнительный социалист. Вы — романтик, а романтики должны быть монархистами, такими они и были всегда.

— А Гюго?

— Это — другое, Гюго. Не люблю его — крикун.

Он нередко спрашивал меня, что я читаю, и всегда упрекал меня за плохой — по его мнению — выбор книг.

— Гиббон, это хуже Костомарова, надо читать Момсена, — очень надоедный, но — солидно всё.

Узнав, что первая книга, прочитанная мною — «Братья Земганно», он даже возмутился.

— Вот видите — глупый роман. Это вас и испортило. У французов три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер, ну еще — Мопассан, но Чехов — лучше его. А Гонкуры — сами клоуны, они только прикидывались серьезными. Изучали жизнь по книжкам, написанным такими же выдумщиками, как сами они, и думали, что это серьезное дело, а это никому не нужно.

Я не согласился с его оценкой, и это несколько раздражило

Л. Н., — он с трудом переносил противоречия, и порою его суждения принимали странный, капризный характер.

— Никакого вырождения нет, — говорил он, — это выдумал итальянец Ломброзо, а за ним, как попугай, кричит еврей Нордау. Италия — страна шарлатанов, авантюристов, — там родятся только Аретино, Казанова, Калиостро и все такие.

— А Гарибальди?

— Это — политика, это — другое!

На целый ряд фактов, взятых из истории купеческих семей в России, он ответил:

— Это неправда, это только в умных книжках пишут . . .

Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи, историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:

— Вот это — правда! Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.

— Но, ведь, рыцари будут, Л. Н.!

— Оставьте! Это очень серьезно. Тот, который идет в монахи молиться за всю семью, — это чудесно! Это — настоящее: вы — грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой — скучающий, стяжатель-строитель, — тоже правда! И что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а — вдруг — убил, — ах, это хорошо! Вот это надо написать, а среди воров и нищих нельзя искать героев, не надо! Герои — ложь, выдумка, есть просто люди, люди и — больше ничего.

Он очень часто указывал мне на преувеличения, допускаемые мною в рассказах, но однажды, говоря о второй части «Мертвых душ», сказал, улыбаясь добродушно:

— Все мы — ужас какие сочинители. Вот и я тоже, иногда пишешь и вдруг — станет жалко кого-нибудь, возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого — убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали.

И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи:

— Вот поэтому я и говорю, что художество — ложь, обман и произвол, и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни, ты

сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или море, татарина — почему интересно это, зачем нужно?

Иной раз мысли и чувства его казались мне капризно и даже как бы нарочито изломанными, но чаще он поражал и опрокидывал людей именно суровой прямотою мысли, точно Иов, бесстрашный совопросник жестокого Бога.

Рассказывал он:

— Иду я, — как-то, в конце мая, Киевским шоссе; земля — рай, всё ликует, небо безоблачно, птицы поют, пчелы гудят, солнце такое милое, и всё кругом — празднично, человечно, великолепно. Был я умилен до слез и тоже чувствовал себя пчелой, которой даны все лучшие цветы земли, и Бога чувствовал близко душе. Вдруг вижу: в стороне дороги, под кустами, лежат странник и странница, егозят друг по другу, оба серые, грязные, старенькие, — возятся, как черви, и мычат, бормочут, а солнце без жалости освещает их голые, синие ноги, дряблые тела. Так и ударило меня в душу. Господи — Ты, — творец красоты: как тебе не стыдно? Очень плохо стало мне . . .

— Да, вот видите, что бывает. Природа, — ее богомилы считали делом дьявола — жестоко и слишком насмешливо мучает человека: силу отнимет, а желание оставит. Это — для всех людей живой души. Только человеку дано испытать весь стыд и ужас такой муки, — в плоть данной ему. Мы носим это в себе, как неизбежное наказание, а — за какой грех?

Когда он рассказывал это, глаза его странно изменялись — были то детски жалобны, то сухо и сурово ярки. А губы вздрагивали, и усы щетинились. Рассказав, он вынул платок из кармана блузы и крепко вытер лицо, хотя оно было сухое. Потом расправил бороду крючковатыми пальцами мужицкой сильной руки и повторил тихонько:

— Да, — за какой грех?

Однажды я шел с ним нижней дорогой от Дюльбера к Ай-Тодору. Он, шагая легко, точно юноша, говорил несколько более нервно, чем всегда:

— Плоть должна быть покорным псом духа, куда пошлет ее дух, туда она и бежит, а мы — как живем? Мечется, буйствует плоть, дух же следует за ней беспомощно и жалко.

Он крепко потер грудь против сердца, приподнял брови и, вспоминая, продолжал:

— В Москве, около Сухаревой, в глухом проулке, видел я, осенью, пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора тек грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе, лежит она в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлюпает телом по мокру, а встать не может.

Его передернуло, он зажмурил глаза, потряс головою и предложил тихонько:

— Сядемте здесь . . . Это — самое ужасное, самое противное — пьяная баба. Я хотел помочь ей встать и — не мог, побрезговал; вся она была такая склизкая, жидкая, дотронься до нее — месяц руки не отмоешь — ужас. А на тумбе сидел светленький, сероглазый мальчик, по щекам у него слезы бегут, он шмыгает носом и тянет безнадежно, устало:

— Ма-ам . . . да ма-амка же. Встань же . . .

Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и опять — шлеп затылком в грязь.

Замолчал, потом, оглядываясь вокруг, повторил беспокойно, почти шопотом:

— Да, да, — ужас! Вы много видели пьяных женщин! Много, — ах, Боже мой! Вы — не пишите об этом, не нужно!

— Почему?

Заглянул в глаза мне и, улыбаясь, повторил:

— Почему?

Потом раздумчиво и медленно сказал:

— Не знаю. Это я — так . . . стыдно писать о гадостях. Ну — а почему не писать? Нет, — нужно писать всё, обо всем . . .

На глазах у него показались слезы. Он вытер их и, всё улыбаясь — посмотрел на платок, а слезы снова текут по морщинам.

— Плачу, — сказал он. — Я — старик, у меня к сердцу подкатывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное.

И легонько, толкая меня локтем:

— Вот и вы, — проживете жизнь, а все останется, как было, — тогда и вы заплачете, да еще хуже меня, — «ручьистее», говорят бабы . . . А писать всё надо, обо всем, иначе светленький мальчик обидится, упрекнет, — неправда, не вся правда, скажет. Он — строгий к правде!

Вдруг встряхнулся весь и добрым голосом предложил:

— Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете. Что-нибудь про маленького, про себя. Не верится, что вы тоже

были маленьким, такой вы — странный. Как будто и родились взрослым. В мыслях у вас много детского, незрелого, а — знаете вы о жизни довольно много; больше не надо. Ну, рассказывайте...

И удобно прилег под сосной, на ее обнаженных корнях, наблюдая, как муравьишки суетятся и возятся в серой хвое.

Среди природы юга, непривычно северянину разнообразной, среди самодовольно-пышной, хвастливо-разнузданной растительности, он, Лев Толстой — даже самое имя обнажает внутреннюю силу его! — маленький человек, весь связанный из каких-то очень крепких, глубоко-земных корней, весь такой узловатый, — среди, я говорю, хвастливой природы Крыма он был одновременно на месте и не на месте. Некий очень древний человек и как бы хозяин всего округа, — хозяин и создатель, прибывший после столетней отлучки в свое, им созданное, хозяйство. Многое позабыто им, многое ново для него, все — так, как надо, но — не вполне так, и нужно тотчас найти — что не так, почему не так.

Он ходит по дорогам и тропинкам скорой, спешной походкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от которых не скроется ни один камень и ни единая мысль, смотрит, измеряет, щупает, сравнивает. И разбрасывает вокруг себя живые зерна неукротимой мысли. Он говорит Сулеру:

— Ты, Левушка, ничего не читаешь, это нехорошо, потому что самонадеянно, а вот Горький читает много, это — тоже нехорошо, — это от недоверия к себе. Я — много пишу, и это нехорошо, потому что — от старческого самолюбия, от желания, чтобы все думали по моему. Конечно, — я думаю хорошо для себя, а Горький думает, что для него нехорошо это, а ты — ничего не думаешь, просто: хлопаешь глазами, высматриваешь — во что вцепиться. И вцепишься не в свое дело, — это уже бывало с тобой. Вцепишься, подержишься, а когда оно само начнет отваливаться от тебя, ты и удерживать не станешь. У Чехова есть прекрасный рассказ «Душечка», — ты почти похож на нее.

— Чем? — спросил Сулер, смеясь.

— Любить — любишь, а выбрать — не умеешь и уйдешь весь на пустяки.

— И все так?

— Все? — повторил Л. Н. — Нет, не все.

И неожиданно спросил меня, — точно ударил:

— Вы почему не веруете в Бога?

— Веры нет, Л. Н.

— Это — неправда. Вы по натуре верующий и без Бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать это не хотят, боятся — не поймет, да и храбрости нет. Для веры — как для любви — нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе — верую, — и все будет хорошо, все явится таким, как вам нужно, само себя об'яснит вам и привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше — тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину — так самую лучшую на земле, — непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже — вера. Неверующий не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год — в другую. Душа таких людей — бродяга, она живет бесплодно, это — нехорошо. Вы родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите — красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное — Бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджав под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:

— От этого — не отмолчитесь, нет!

А я, неверующий в Бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:

— Этот человек — богоподобен!

М. М. Коцюбиньский.

«Прекрасное, это редкое», — говорили Гонкуры. Он был одним из тех редких людей, которые при первой же встрече с ними вызывают благостное чувство удовлетворения: именно этого человека ты давно ждал, именно для него у тебя есть какие-то особенные мысли!

В мире идей красоты и добра, он «свой» человек, родной человек, и с первой встречи он возбуждает жажду видеть его возможно чаще, говорить с ним больше.

Обо всем подумавший, он как-то особенно близок хорошему, и в нем кипит органическая брезгливость к дурному. У него тонко развита эстетическая чуткость к доброму, он любит добро любовью художника, верит в его победную силу, и в нем живет чувство гражданина, которому глубоко и всесторонне понятно культурное значение, историческая стоимость добра.

Однажды, рассказывая ему план организации на Руси широкого демократического книгоиздательства, я услыхал его мягкий голос, задумчивые слова:

— Нужно бы вести из года в год «Летопись проявления человечного», — ежегодно выпускать обзор всего, что сотворено за год человеком в области его заботы о счастье всех людей. Это было-бы прекрасное пособие людям, для знакомства их с самими собою, друг с другом. Нас, ведь, больше знакомят с дурным, чем с хорошим. А для демократии такие книги имели бы особенно огромное значение . . .

Он очень часто говорил о демократии, о народе и всегда это было как-то особенно приятно слушать и поучительно.

Я рассказал ему однажды, тихим вечером, легенду о калабрийце Чиро, угольщике, который в 49 году, во время борьбы Сицилии против Фердинанда Бомбы, пришел к благородному Руджиера Сеттимо и простодушно предложил:

— Синьор, если неаполитанский деспот победит, он, наверное, захочет отрубить Вам голову, — да? Тогда, синьор, предложите ему три головы за одну вашу: вот эту, мою голову, голову брата моего и зятя. Мы все ненавидим Бомбу, так же, как и вы, синьор, но, — маленькие люди, — мы не сумеем так умно и успешно бороться за свободу, как умеете вы. Я думаю, что от этой меры народ очень выиграет, а Бомба, вероятно, с большим удовольствием убьет троих, вместо одного, — ведь, он, бездельник, любит убивать! Мы же с радостью умрем за свободу.

Легенда понравилась Михаилу Михайловичу; радостно поблескивая ласковыми глазами, он сказал:

— Демократия всегда романтична и это хорошо, знаете! Ведь, романтизм наиболее человечное настроение: мне думается, что его культурный смысл недостаточно понят. Он — преувеличивает, ну-да! Но — ведь, он преувеличивает добрые начала, свидетельствуя этим, как велика жажда добра в людях.

Был такой случай; ощенилась, впервые и очень мучительно, большая романская овчарка, щенята рождались мертвыми, собака, истерзанная болью, почти издыхала, и эта тяжелая картина вызвала совершенно ясное чувство сострадания у фокстерьера, тоже суки, но еще не родившей.

Маленькая, изящная собака поражала напряженностью своих ощущений: с тихим воем бегая вокруг овчарки, она слизывала слезы с ее измученных глаз и сама плакала; мчалась в кухню, хватала там кости и стремглав несла их больной, бежала к людям и, тихонько, жалобно лая, прыгала на них, как бы прося о помощи и все плакала, — капали слезы из ее прекрасных глаз. Это было очень трогательно и даже немного жутко.

— Это — удивительно! — волнуясь сказал Коцюбиньский. — И я ничем иным не могу себе об'яснить такой силы чувства у собаки, как тем, что люди создали уже вокруг себя настолько неотразимую и внушительную атмосферу человечности, которая способна перевоспитать даже животное, привив ему нечто от души человека.

Человечность, красота, народ, Украина — это любимые темы бесед Коцюбиньского, они всегда были с ним, как его сердце, мозг и славные ласковые глаза.

Он очень любил цветы и, обладая солидными знаниями бо-

таника, говорил о них, как поэт. Было приятно видеть, когда он, держа в руке цветок, ласкал его и рассказывал о нем:

— Смотрите, вот орхидея приняла форму пчелы: этим она желает сказать, что не нуждается в посещении насекомых. Сколько разума всюду, сколько красоты!

Его больное сердце мешало ему ходить по неровным тропинкам Капри, по камням, горячо нагретым солнцем в жарком воздухе, густо насыщенном запахом цветов, но он не щадил себя, гулял много, часто — до утомления.

И когда, бывало, скажешь ему:

— Зачем вы позволяете себе уставать?

Он отвечал, легко побеждая советы благоразумия.

— Хочется видеть как можно больше: мне ведь не долго жить на земле, а я ее — люблю . . .

Он особенно нежно любил свою Украину и часто слышал запах чебреца там, где его не было.

А однажды, увидев у белой стены рыбацкого дома, бледно-розовые мальвии, — весь осветился улыбкой и, сняв шляпу, сказал цветам:

— Здоровеньки були! Як живеться на чужини?

Сконфузился и пошутил:

— Знаете — немножко сантиментальным становлюсь! Но ведь, и вам, думаю, не редко вздыхается по белой березе, которой вас секли, бывало? Э, все люди — люди, а кто не человек, — да будет ему стыдно!

Он любил Капри и писал о нем:

«Чувствую себя не важно, мне только хорошо на Капри. Впечатления от каприйской природы так гармоничны и так благотворно действуют на мою психику, что положительно оздоровляют меня».

Но я думаю, что это не совсем верно и тепличный воздух острова не был полезен ему. А к тому же его украинское червонное сердце всегда было на родине, — ее скорбями он жил, ее муками мучился.

Бывало, видишь: идет он тихо, немножко согнувшись, обнажив сияющую голову, с тем вдумчивым лицом, как на портрете Жука, видишь и догадываешься: думает о своей Черниговщине.

Так и есть: пришел в свою белую комнату, сел утомленно в кресло и говорит:

— Знаете, там, по пути к Arca Naturale, стоит хата совсем такая как у нас! И люди в ней — наши: дидусь такой ветхий и мудрый, сидит на пороге с трубкой и баба такая же, да еще и дивчина с карыми очами — полная иллюзия. Только вот горы, камень, море! А то — все, и солнце, как у нас!

И начинал тихонько говорить о судьбах родины, о будущем ее, о ее людях, любимых им крепко, о литературе, о благотворной работе загубленного ныне «Просвіта». Слушаешь его и видишь человека, который именно обо всем подумал и то, что знает, знает хорошо.

В июне 1911 года он писал с Карпат, из Криворивни:

«Все время провожу в экскурсиях по горам, верхом на гуцульском коне, легком и грациозном, как балерина. Побывал в диких местах, доступных немногим, на «полонинах», где гуцуловы громады проводят со своими стадами все лето. Если бы знали, как величественна здесь природа, какая первобытная жизнь! Гуцулы — оригинальнейший народ, с богатой фантазией, со своеобразной психикой. Глубокий язычник — гуцул всю свою жизнь, до смерти, проводит в борьбе со злыми духами, населяющими леса, горы и воды. Христианством он воспользовался только для того, чтобы украсить языческий культ. Сколько здесь красивых сказок, преданий, поверий, символов. Собираю материалы, переживаю природу, смотрю, слушаю и учусь».

А в следующем письме из Чернигова ему пришлось сказать:

«Не утерпел я, взбирался на горы и, конечно, повредил своему здоровью: но было необычайно красиво, а это — главное».

Не щадя, в стремлении к знанию жизни и красоты ее, своих физических сил, он и к своему таланту поэта относился чрезмерно строго, пред'являл к себе требования слишком суровые: «чувство недовольства собою у меня очень развито», не однажды говорил он мне. «Мои рассказы всегда кажутся мне бледными, неинтересными, ненужными и даже как-то совестно перед литературой и читателем», писал он в 1910 г.

Эти мысли, казалось мне, всегда были с ним и неотступно точили его измученное сердце.

Спрашивает:

— Вам нравится «Самотній»?

— Это лучшие из трех ваших произведений в прозе, а они, все на мой взгляд, очень хороши . . .

Он грустно улыбается:

— А я прочитал сегодня утром и стало неловко. Никому это не нужно, не интересно никому. Что за вой? Все люди одиноки. И не так жутко писать об этом проклятии нашем!

Потом продолжал уже сердито:

— Да там еще в конце гордый крик есть, — это уже и не искренно, а так сказано, — для самоутешения. Чем тут гордиться? Одинок, значит, не нужен никому.

Мы часто беседовали на эту тему и всегда он жестоко казнил себя.

— Смотрите, как это хорошо:

— Жаль маю до землі
Бо тіні, що вкривають ії
Пересунуться на инше місце
І де було тьлияно и сумно
Знов ляже золото сонця . . .

Он усмехнулся и тотчас переделал эти строки в юмористическое стихотворение . . .

Однажды ему сказали:

— Какая верная и страшная вещь ваш «Сміх».

Он небрежно отмахнулся рукою:

— Да это ж заимствовано! И неумело сделано, — в жизни этот смех страшней и законней.

Иногда было досадно, чаще — больно слышать такие возгласы: — много звучало в них великой искренней муки.

Но, относясь безжалостно к себе, к другим он относился очень снисходительно, умея всюду, даже в плохом, найти хорошее — меткое слово, звучную фразу.

— Дорогой мой, — сказал он однажды ночью, когда море и остров молчат так странно, точно в тихом изумлении ждут чего-то необычайного, — столько видано, столько пережито, в душе волнуется целый мир образов, мыслей, каких-то, до слез простых и ласковых песен! Так бы дождем с неба и опрокинул все это на землю, на людей, а — не удается, не умеется!

Не удавалось, — да, но — он мог бы, он бы сумел написать прекрасные большие вещи: многое у него было уже до конца продумано, готово и — красиво, оригинально, по своему. Не удавалось потому, что за три года нашего знакомства, почти в каждом письме его звучала, все усиливаясь, одна и та же нота:

«Должен сознаться, что со мною что-то не ладно. Сердце работает все хуже и хуже, порою приходится ложиться в постель, работа так утомляет меня, что нет сил приняться за что-либо другое».

«Почти ничего не удалось заработать зимою, значит, создалось трудно одолимое препятствие. А между тем вилла в четыре комнаты за 65 лир, с доброй хозяйкой, манят и улыбаются».

И наконец 9—X, 912 он писал:

«Плохо мне, дорогой А. М., болею упорно, продолжительно и жестоко; хуже всего — не могу работать. Остается попробовать героические средство: лечь в больницу, на продолжительное время, для чего на днях отправляюсь в Киев».

А из клиники Образцова он бодро сообщает:

«Перевели меня наконец в Киев, уложили в комнатку, «как тяжелого сердечника». Однако, я нахожу, что иногда чудесно эдак побаловаться! Какие великолепные люди посещают меня ежедневно, принося мне все, что я люблю, — цветы, книги, самих себя! В окно смотрит то же солнце, которое вас греет и оттого кажется еще теплей и ласковей».

Он любил сказать человеку ласковое, хорошее слово— даже в этот день, сильно огорченный накануне смертью Н. В. Лысенка, все-таки нашел в душе, это слово «милый» . . .

Он знал, что скоро умрет и нередко говорил об этом просто, без страха, но и без наигранной бравады, которою многие рисуются столь лживо.

— Смерть необходимо победить, и она будет побеждена! — сказал он однажды. — Я верю в победу разума и воли человека над смертью так же, как в то, что сам — скоро умру. И еще умрут миллионы людей, а все-таки, со временем, смерть станет простым актом нашей воли, — мы будем отходить в небытие так же сознательно, как отходим ко сну. Смерть будет побеждена тогда, когда большинство людей ясно сознают цену жизни, поймут ее красоту, почувствуют наслаждение работать и жить.

Человек высокой духовной культуры, солидно вооруженный знанием естественных наук, он внимательно следил за всем, что творится в области борьбы со смертью, но и поэзия умирания, поэзия непрерывной смены формы тонко чувствовалась им

Не раз, благодарно глядя на серые скалы Капри, богато одетые пышной зеленью трав и цветов, он говорил:

— Какая сила жизни! Мы привыкли к этому и не замечаем победы живого над мертвым, действенного над инертным, и мы как бы не знаем, что солнце творит цветы и плоды из мертвого камня, не видим, как всюду торжествует живое, чтоб бодрить и радовать нас. Мы должны бы улыбаться миру дружески . . .

Он очень умел улыбаться так, — всему улыбкой друга. По поводу смерти Л. Н. Толстого он писал:

«Больно мне было читать, что вы так тяжело пережили смерть Толстого. Мне тоже тяжело было, но не знаю, стыдиться-ли? — и хорошо знать, что на свете бывает большое. Смерть как будто вернее определяет размеры, чем жизнь».

Для меня смерть Михаила Коцюбиньского определилась, как тяжелая личная утрата, я потерял сердечного товарища.

Прекрасный, редкий цветок, ласковая звезда погасла. Трудно жилось ему: быть честным человеком на Руси очень дорого стоит.

Беднеет наше время хорошими людьми, — насладимся грустью воспоминаний о них, о красоте этих светлых душ, любивших беззаветно людей и весь мир, о сильных людях, которые умели работать для счастья родины своей.

Вечная память честным людям!

Леонид Андреев.

Весною 1898 г. я прочитал в московской газете «Курьер» рассказ «Бергамот и Гараська» — пасхальный рассказ обычного типа; направленный к сердцу праздничного читателя, он еще раз напоминал, что человеку доступно — иногда, при некоторых особых условиях, — чувство великодушия, и что порою враги становятся друзьями, хотя и не надолго, скажем — на день.

Со времен «Шинели» Гоголя русские литераторы написали, вероятно, несколько сотен или даже тысячи таких нарочито трогательных рассказов; — вокруг великолепных цветов подлинной русской литературы они являются одуванчиками, которые, якобы, должны украсить нищенскую жизнь больной и жесткой русской души[1]).

Но от этого рассказа на меня повеяло крепким дуновением таланта, который чем-то напомнил мне Помяловского, а, кроме того, в тоне рассказа чувствовалась скрытая автором умненькая улыбочка недоверия к факту, — улыбочка эта легко примиряла с неизбежным сентиментализмом «пасхальной» и «рождественской» литературы.

Я написал автору письмо по поводу рассказа и получил от Л. Андреева забавный ответ; — оригинальным почерком, полупечатными буквами он писал веселые, смешные слова, и среди них особенно подчеркнуто выделился незатейливый, но скептический афоризм:

«Сытому быть великодушным столь же приятно, как пить кофе после обеда.»

С этого началось мое заочное знакомство с Леонидом Николаевичем Андреевым. Летом я прочитал еще несколько маленьких

---

[1]) Весьма вероятно, что в ту пору я думал не так, как изображаю теперь, но старые мои мысли — неинтересно вспоминать.

рассказов его и фельетонов Джемса Линч, наблюдая, как быстро и смело развивается своеобразный талант нового писателя.

Осенью, проездом в Крым, в Москве, на Курском вокзале, кто-то познакомил меня с Л. Андреевым. Одетый в старенькое пальто-тулупчик, в мохнатой бараньей шапке набекрень, он напоминал молодого актера украинской труппы. Красивое лицо его показалось мне малоподвижным, но пристальный взгляд темных глаз светился той улыбкой, которая так хорошо сияла в его рассказах и фельетонах. Не помню его слов, но они были необычны, и необычен был строй возбужденной речи. Говорил он торопливо, глуховатым, бухающим голосом, простуженно кашляя, немножко захлебываясь словами и однообразно размахивая рукой, — точно дирижировал. Мне показалось, что это здоровый, неуёмно веселый человек, способный жить, посмеиваясь над невзгодами бытия. Его возбуждение было приятно.

— Будемте друзьями! — говорил он, пожимая мою руку.

Я тоже был радостно возбужден.

Зимою, на пути из Крыма в Нижний, я остановился в Москве, и там наши отношения быстро приняли характер сердечной дружбы.

Я видел, что этот человек плохо знает действительность, мало интересуется ею, — тем более удивлял он меня силой своей интуиции, плодовитостью фантазии, цепкостью воображения. Достаточно было одной фразы, а иногда — только меткого слова, чтобы он, схватив ничтожное данное ему, тотчас развил его в картину, анекдот, характер, рассказ.

— Что такое С.? — спрашивает он об одном литераторе, довольно популярном в ту пору.

— Тигр из мехового магазина.

Он смеется и, понизив голос, точно сообщая тайну, торопливо говорит:

— А — знаете — надо написать человека, который убедил себя, что он — герой, эдакий разрушитель всего сущего и даже сам себе страшен, — вот как! Все ему верят, — так хорошо он обманул сам себя. Но где-то в своем уголке, — в настоящей жизни, он — просто жалкое ничтожество, боится жены или даже кошки.

Нанизывая слово за словом на стержень гибкой мысли, он легко и весело создавал всегда что-то неожиданное, своеобразное.

Ладонь одной руки у него была пробита пулей, пальцы скрючены, — я спросил его: как это случилось?

— Экивок юношеского романтизма — ответил он. — Вы сами знаете, — человек, который не пробовал убить себя, — дешево стоит.

Он сел на диван вплоть ко мне и прекрасно рассказал о том, как однажды, будучи подростком, бросился под товарный поезд, но, к счастью, угодил вдоль рельс, и поезд промчался над ним, только оглушив его.

В рассказе было что-то неясное, недействительное, но он украсил его изумительно ярким описанием ощущений человека, над которым с железным грохотом двигаются тысячепудовые тяжести. Это было знакомо и мне, — мальчишкой лет десяти я ложился под балластный поезд, соперничая в смелости с товарищами, — один из них, сын стрелочника, делал это особенно хладнокровно. Забава эта почти безопасна, если топка локомотива достаточно высоко поднята, и если поезд идет на под'ем, а не под уклон; тогда сцепления вагонов туго натянуты и не могут ударить вас или, зацепив, потащить по шпалам. Несколько секунд переживаешь жуткое чувство, стараясь прильнуть к земле насколько возможно плотнее и едва побеждая напряжением всей воли страстное желание пошевелиться, поднять голову. Чувствуешь, что поток железа и дерева, проносясь над тобою, отрывает тебя от земли, хочет увлечь куда-то, а грохот и скрежет железа раздается как будто в костях у тебя. Потом, когда поезд пройдет, с минуту и более лежишь на земле, не в силах подняться, кажется, что ты плывешь вслед поезда, а тело твое как будто бесконечно вытягивается, растет, становится легким, воздушным и — вот сейчас полетишь над землей. Это очень приятно чувствовать.

— Что влекло вас к такой нелепой забаве? — спросил Л. Н.

Я сказал, что, может быть, мы испытывали силу нашей воли, противопоставляя механическому движению огромных масс сознательную неподвижность ничтожного нашего тела.

— Нет, — возразил он, — это слишком мудрено, не по-детски.

Напомнив ему, как дети «мнут зыбку» — качаются на упругом

льду только-что замерзшего пруда или затона реки, я сказал, что опасные забавы вообще нравятся детям.

Он помолчал, закурил папиросу и, тотчас бросив ее, посмотрел прищуренными глазами в темный угол комнаты.

— Нет, это, должно быть, не так. Почти все дети боятся темноты . . . Кто-то сказал:

— «Есть наслаждение в бою
И бездны мрачной на краю»,

но — это «красное словцо», не больше. Я думаю как-то иначе, только не могу понять — как?

И вдруг встрепенулся весь, как бы обожжен внутренним огнем.

— Следует написать рассказ о человеке, который всю жизнь, — безумно страдая, — искал истину, и вот она явилась пред ним, но он закрыл глаза, заткнул уши и сказал: «Не хочу тебя, даже если ты прекрасна, потому что жизнь моя, муки мои — зажгли в душе ненависть к тебе». Как вы думаете?

Мне эта тема не понравилась; он вздохнул, говоря:

— Да, сначала нужно ответить, где истина — в человеке или вне его? По-вашему — в человеке?

И засмеялся:

— Тогда это очень плохо, очень ничтожно . . .

Не было почти ни одного факта, ни одного вопроса, на которые мы с Л. Н. смотрели бы одинаково, но бесчисленные разноречия не мешали нам — целые годы — относиться друг к другу с тем напряжением интереса и внимания, которое не часто является результатом даже долголетней дружбы. Беседовали мы неутомимо, помню — однажды просидели непрерывно более двадцати часов, выпив два самовара чая, — Леонид поглощал его в неимоверном количестве.

Он был удивительно интересный собеседник, неистощимый, остроумный. Хотя его мысль и обнаруживала всегда упрямое стремление заглядывать в наиболее темные углы души, но — легкая, капризно своеобычная, она свободно отливалась в формы юмора и гротеска. В товарищеской беседе он умел пользоваться юмором гибко и красиво, но в рассказах терял — к сожалению — эту способность, редкую для русского.

Обладая фантазией живой и чуткой, он был ленив; гораздо больше любил говорить о литературе, чем делать ее. Ему было

почти недоступно наслаждение ночной подвижнической работы в тишине и одиночестве над белым, чистым листом бумаги; он плохо ценил радость покрывать этот лист узором слов.

— Пишу я трудно, — сознавался он. — Перья кажутся мне неудобными, процесс письма — слишком медленным и даже унижающим. Мысли у меня мечутся точно галки на пожаре, я скоро устаю ловить их и строить в необходимый порядок. И бывает так: я написал слово — паутина, вдруг, почему-то, вспоминается геометрия, алгебра и учитель Орловской гимназии — человек, разумеется, — тупой. Он часто вспоминал слова какого-то философа: «Истинная мудрость — спокойна». Но я знаю, что лучшие люди мира мучительно беспокойны. К чорту спокойную мудрость! А что же на ее место? Красоту? Да здравствует! Однако, хотя я не видел Венеру в оригинале, — на снимках она кажется мне довольно глупой бабой. И вообще — красивое всегда несколько глуповато, например — павлин, борзая собака, женщина.

Казалось бы, что он, равнодушный к фактам действительности, скептик в отношении к разуму и воле человека, — не должен был увлекаться дидактикой, учительством, неизбежным для того, кому действительность знакома излишне хорошо. Но первые же наши беседы ясно указывали, что этот человек, обладая всеми свойствами превосходного художника, — хочет встать в позу мыслителя и философа. Это казалось мне опасным, почти безнадежным, главным образом потому, что запас его знаний был странно беден. И всегда чувствовалось, что он как бы ощущает около себя невидимого врага, — напряженно спорит с кем-то, хочет кого-то побороть.

Читать Л. Н. не любил и, сам являясь делателем книги — творцом чуда, — относился к старым книгам недоверчиво и небрежно.

— Для тебя книга — фетиш, как для дикаря, — говорил он мне. — Это потому, что ты не протирал своих штанов на скамьях гимназии, не соприкасался науке университетской. А для меня Илиада, Пушкин и все прочее замусолено слюною учителей, проституировано геморроидальными чиновниками. «Горе от ума» — скучно так же, как задачник Евтушевского. «Капитанская дочка» надоела, как барышня с Тверского бульвара.

Я слишком часто слышал эти обычные слова о влиянии школы на отношение к литературе, и они давно уже звучали для меня неубедительно, — в них чувствовался предрассудок, рожденный русской ленью. Гораздо более индивидуально рисовал Л. Андреев, как рецензии и критические очерки газет мнут и портят книги, говоря о них языком хроники уличных происшествий.

— Это — мельницы, они перемалывают Шекспира, Библию — все, что хочешь, — в пыль пошлости. Однажды я читал газетную статью о Дон-Кихоте и вдруг с ужасом вижу, что Дон-Кихот — знакомый мне старичок, управляющий Казенной Палатой, у него был хронический насморк и любовница, девушка из кондитерской, он называл ее — Милли, а в действительности — на бульварах — ее звали Сонька Пузырь . . .

Но относясь к знанию и книге беззаботно, небрежно, а иногда — враждебно, он постоянно и живо интересовался тем, что я читаю. Однажды, увидав у меня в комнате «Московской гостиницы» книгу Алексея Остроумова о Синезии, епископе Птолемаиды, спросил удивленно:

— Это зачем тебе?

Я рассказал ему о странном епископе-полуязычнике и прочитал несколько строк из его сочинения «Похвала плешивости». «Что может быть плешивее, что божественнее сферы?»

Это патетическое восклицание потомка Геркулеса вызвало у Леонида припадок бешеного смеха, но тотчас же, стирая слезы с глаз и всё еще улыбаясь, он сказал:

— Знаешь, — это превосходная тема для рассказа о неверующем, который, желая испытать глупость верующих, надевает на себя маску святости, живет подвижником, проповедует новое учение о Боге — очень глупое, — добивается любви и поклонения тысяч, а потом говорит ученикам и последователям своим: «Всё это — чепуха». Но для них вера необходима, и они убивают его.

Я был поражен его словами; дело в том, что у Синезия есть такая мысль:

«Если бы мне сказали, что епископ должен разделять мнения народа, то я открыл бы пред всеми, кто я есть. Ибо что может быть общего между чернью и философией? Божественная истина должна быть скрытой, народ же имеет нужду в другом».

Но эту мысль я не сообщил Андрееву и не успел сказать ему

о необычной позиции некрещенного язычника-философа в роли епископа христианской церкви. Когда же я сказал ему об этом, он, торжествуя и смеясь, воскликнул:

— «Вот видишь, — не всегда надо читать для того, чтобы знать и понимать».

Леонид Николаевич был талантлив по природе своей, органически талантлив, его интуиция была изумительно чутка. Во всем, что касалось темных сторон жизни, противоречий в душе человека, брожений в области инстинктов, — он был жутко догадлив. Пример с епископом Синезием — не единичен, я могу привести десяток подобных.

Так, беседуя с ним о различных искателях незыблемой веры, я рассказал ему содержание рукописной «Исповеди» священника Аполлова, — об одном из произведений безвестных мучеников мысли, которые вызвали к жизни «Исповедь» Льва Толстого. Рассказывал о моих личных наблюдениях над людьми догмата, — они часто являются добровольными пленниками слепой, жесткой веры и тем более фанатически защищают истинность ее, чем мучительнее сомневаются в ней.

Андреев задумался, медленно помешивая ложкой в стакане чая, потом сказал, усмехаясь:

— Странно мне, что ты понимаешь это, — говоришь ты, как атеист, а думаешь, как верующие. Если ты умрешь раньше меня, я напишу на камне могилы твоей: «Призывая поклоняться разуму, он тайно издевался над немощью его».

А через две-три минуты, наваливаясь на меня плечом, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками темных глаз, говорил вполголоса:

— Я напишу о попе, увидишь! Это, брат, я хорошо напишу!

И, грозя пальцем кому-то, крепко потирая висок, улыбался.

— Завтра еду домой и — начинаю! Даже первая фраза есть: «Среди людей он был одинок, ибо соприкасался великой тайне»...

На другой же день он уехал в Москву, а через неделю — не более — писал мне, что работает над попом, и работа идет легко, «как на лыжах». Так всегда он хватал на лету всё, что отвечало потребности его духа в соприкосновании к наиболее острым и мучительным тайнам жизни.

Шумный успех первой книги насытил его молодой радостью. Он приехал в Нижний ко мне веселый, в новеньком костюме табачного цвета, грудь туго накрахмаленной рубашки была украшена дьявольски-пестрым галстухом, а на ногах — желтые ботинки.

— Искал палевые перчатки, но какая-то леди в магазине на Кузнецком напугала меня, что палевые уже не в моде. Подозреваю, что она — соврала, наверное, дорожит свободой сердца своего и боялась убедиться, сколь я неотразим в палевых перчатках. Но по секрету скажу тебе, что всё это великолепие — неудобно, и рубашка гораздо лучше.

И вдруг, обняв меня за плечи, сказал:

— Знаешь — мне хочется гимн написать, еще не вижу — кому или чему, но обязательно — гимн! Что-нибудь шиллеровское, а? Эдакое густое, звучное — бомм!

Я пошутил над ним.

— Что же! — весело воскликнул он. — Ведь у Екклезиаста правильно сказано: «Даже и плохонькая жизнь лучше хорошей смерти». Хотя там что-то не так, а — о льве и собаке: «В домашнем обиходе плохая собака полезнее хорошего льва». А — как ты думаешь: Иов мог читать книгу Екклезиаста?

Упоенный вином радости, он мечтал о поездке по Волге на хорошем пароходе, о путешествии пешком по Крыму.

— И тебя потащу, а то ты окончательно замуруешь себя в этих кирпичах, — говорил он, указывая на книги.

Его радость напоминала оживленное благополучие ребенка, который слишком долго голодал, а теперь думает, что навсегда сыт.

Сидели на широком диване в маленькой комнате, пили красное вино, Андреев взял с полки тетрадь стихов:

— Можно?

И стал читать вслух:

— «Медных сосен колонны,
Моря звон монотонный».

— Это Крым? А вот я не умею писать стихи, да и желания нет. Я больше всего люблю баллады, вообще:

— «Я люблю все то, что ново,
Романтично, бестолково,
Как поэт
Прежних лет».

— Это поют в оперетке — «Зеленый остров», кажется.

— «И вздыхают деревья,
Как без рифмы стихи».

— Это мне нравится. Но — скажи — зачем ты пишешь стихи? Это так не идет к тебе. Все-таки стихи — искусственное дело, как хочешь.

Потом сочиняли пародии на Скитальца:

— «Возьму я большое полено
В могучую руку мою
И всех — до седьмого колена —
Я вас перебью!
И пуще того огорошу —
Ура! Ттрепещите! Я рад. —
Казбеком вам в головы брошу,
Низвергну на вас Арарат!»

Он хохотал, неистощимо придумывая милые смешные глупости, но вдруг, наклонясь ко мне, со стаканом вина в руке, заговорил не громко и серьезно:

— Недавно я прочитал забавный анекдот: в каком-то английском городе стоит памятник Роберту Бёрнсу — поэту. Надписи на памятнике — кому он поставлен, нет. У подножия его — мальчик, торгует газетами. Подошел к нему какой-то писатель и говорит: «Я куплю у тебя номер газеты, если ты скажешь — чья это статуя?» «Роберта Бёрнса» — ответил мальчик. «Прекрасно! Теперь — я куплю у тебя все твои газеты, но скажи мне: за что поставили памятник Роберту Бёрнсу?» Мальчик ответил: «За то, что он умер». Как это нравится тебе?

Мне это не очень нравилось, — меня всегда тяжко тревожили резкие и быстрые колебания настроений Леонида.

Слава не была для него только «яркой заплатой на ветхом рубище певца», — он хотел ее много, жадно и не скрывал этого. Он говорил:

— Еще четырнадцати лет я сказал себе, что буду знаменит, или — не стоит жить. Я не боюсь сказать, что все сделанное до меня не кажется мне лучше того, что я сам могу сделать. Если ты сочтешь мои слова самонадеянностью, ты — ошибешься. Нет, видишь ли, это должно быть основным убеждением каждого, кто не хочет ставить себя в безличные ряды миллионов людей.

Именно убеждение в своей исключительности должно — и может — служить источником творческой силы. Сначала скажем самим себе: мы не таковы, как все другие, потом уже легко будет доказать это и всем другим.

— Одним словом, — ты ребенок, который не хочет питаться грудью кормилицы . . .

— Именно: я хочу молока только души моей. Человеку необходимы любовь и внимание или — страх пред ним. Это понимают даже мужики, надевая на себя личины колдунов. Счастливее всех те, кого любят со страхом, как любили Наполеона.

— Ты читал его «Записки»?

— Нет. Это — не нужно мне.

Он подмигнул, усмехаясь:

— Я тоже веду дневник и знаю, как это делается. Записки, исповеди и все подобное — испражнения души, отравленной плохою пищей.

Он любил такие изречения и, когда они удавались ему, искренно радовался. Несмотря на его тяготение к пессимизму, в нем жило нечто неискоренимо детское, — например, ребячливо наивное хвастовство словесной ловкостью, которой он пользовался гораздо лучше в беседе, чем на бумаге.

Однажды я рассказывал ему о женщине, которая до такой степени гордилась своей «честной» жизнью, так была озабочена убедить всех и каждого в своей неприступности, что все окружающие ее, издыхая от тоски, или стремглав бежали прочь от сего образца добродетели, или же ненавидели ее до судорог.

Андреев слушал, смеялся и вдруг сказал:

— Я — женщина честная, мне не к чему ногти чистить — так?

Этими словами он почти совершенно точно определил характер и даже привычки человека, о котором я говорил, — женщина была небрежна к себе. Я сказал ему это, он очень обрадовался и детски-искренно стал хвастаться.

— Я, брат, иногда сам удивляюсь, до чего ловко и метко умею двумя, тремя словами поймать самое существо факта или характера.

И произнес длинную речь в похвалу себе. Но — умница — понял, что это немножко смешно и кончил свою тираду юмористическим шаржем.

— Со временем я так разовью мои гениальные способности,

что буду одним словом определять смысл целой жизни человека, нации, эпохи . . .

Но все-таки критическое отношение к самому себе у него было развито не особенно сильно, это, порою, весьма портило и его работу и жизнь.

Леонид Николаевич странно и мучительно резко для себя раскалывался на-двое: — на одной и той же неделе он мог петь миру — «Осанна»! и провозглашать ему — «Анафема»!

Это не было внешним противоречием между основами характера и навыками или требованиями профессии, — нет, в обоих случаях он чувствовал одинаково искренно. И, чем более громко он возглашал «Осанна»! — тем более сильным эхом раздавалась — «Анафема»!

Он говорил:

— Ненавижу суб'ектов, которые не ходят по солнечной стороне улицы из боязни, что у них загорит лицо или выцветет пиджак, — ненавижу всех, кто из побуждений догматических препятствует свободной, капризной игре своего внутреннего «я».

Однажды он написал довольно едкий фельетон о людях теневой стороны, а вслед за этим — по поводу смерти Эмиля Золя от угара — хорошо полемизировал с интеллигентски-варварским аскетизмом, довольно обычным в ту пору. Но, беседуя со мною по поводу этой полемики, неожиданно заявил:

— А все-таки, знаешь, собеседник-то мой более последователен, чем я: писатель должен жить, как бездомный бродяга. Яхта Мопассана — нелепость!

Он — не шутил. Мы поспорили, я утверждал: чем разнообразнее потребности человека, чем более жаден он к радостям жизни, — хотя бы и маленьким, тем быстрей развивается культура тела и духа. Он возражал: нет, прав Толстой, культура — мусор, она только искажает свободный рост души.

— «Привязанность к вещам» — говорил он — это фетишизм дикарей, идолопоклонство. Не сотвори себе кумира, иначе ты погас, — вот истина! Сегодня сделай книгу, завтра — машину, вчера ты сделал сапог и уже забыл о нем. Нам нужно учиться забывать.

А я говорил: необходимо помнить, что каждая вещь — воплощение духа человеческого, и часто внутренняя ценность вещи значительнее человека.

— Это поклонение мертвой материи, — кричал он.

— В ней воплощена бессмертная мысль.

— Что такое мысль? Она двулична и отвратительна своим бессилием . . .

Спорили мы все чаще, все напряженнее. Наиболее острым пунктом наших разногласий было отношение к мысли.

Я чувствую себя живущим в атмосфере мысли и, видя, как много создано ею великого и величественного, — верю, что ее бессилие — временно. Может быть, я романтизирую и преувеличиваю творческую силу мысли, но это так естественно в России, где нет духовного синтеза, в стране язычески чувственной.

Леонид воспринимал мысль, как «злую шутку дьявола над человеком»; она казалась ему лживой и враждебной. Увлекая человека к пропастям необ'яснимых тайн, она обманывает его, оставляя в мучительном и бессильном одиночестве пред тайнами, а сама — гаснет.

Столь же непримиримо расходились мы во взгляде на человека, источник мысли, горнило ее. Для меня человек всегда победитель, даже и смертельно раненый, умирающий. Прекрасно его стремление к самопознанию и познанию природы, и хотя жизнь его мучительна, — он всё более расширяет пределы ее, создавая мыслью своей мудрую науку, чудесное искусство. Я чувствовал, что искренно и действительно люблю человека — и того, который сейчас живет и действует рядом со мною, и того, умного, доброго, сильного, который явится когда-то в будущем. Андрееву человек представлялся духовно нищим; сплетенный из непримиримых противоречий инстинкта и интеллекта, он навсегда лишен возможности достичь какой-либо внутренней гармонии. Все дела его «суета сует», тлен и самообман. А главное, он — раб смерти и всю жизнь ходит на цепи ее.

Очень трудно говорить о человеке, которого хорошо чувствуешь.

Это звучит, как пародокс, но — это правда: когда таинственный трепет горения чужого «я» ощущается тобою, волнует тебя, — боишься дотронуться кривым, тяжелым словом твоим до невидимых лучей дорогой тебе души, боишься сказать не то, не так: не хочешь исказить чувствуемое и почти неуловимое сло-

вом, не решаешься заключить чужое, хотя и общезначимое, человечески-ценное в твою тесную речь.

Гораздо легче и проще рассказывать о том, что чувствуешь недостаточно ясно, — в этих случаях многое — и даже все, что ты хочешь — можно добавить от себя.

Я думаю, что хорошо чувствовал Л. Андреева: точнее говоря — я видел, как он ходит по той тропинке, которая повисла над обрывом в трясину безумия, над пропастью, куда заглядывая, зрение разума угасает.

Велика была сила его фантазии, но — несмотря на непрерывно и туго напряженное внимание к оскорбительной тайне смерти, он ничего не мог представить себе по ту сторону ее, ничего величественного или утешительного, — он был, все-таки, слишком реалист для того, чтобы выдумать утешение себе, хотя и желал его.

Это его хождение по тропе над пустотой и раз'единяло нас всего более. Я пережил настроение Леонида давно уже, — и, по естественной гордости человечьей, мне стало органически противно и оскорбительно мыслить о смерти.

Однажды я рассказал Леониду о том, как мне довелось пережить тяжелое время «мечтаний узника о бытии за пределами его тюрьмы», о «каменной тьме» и «неподвижности, уравновешенной на веки», — он вскочил с дивана и, бегая по комнате, дирижируя искалеченной ладонью, торопливо, возмущенно, задыхаясь, говорил:

— Это, брат, трусость, — закрыть книгу, не дочитав ее до конца! Ведь в книге — твой обвинительный акт, в ней ты отрицаешься — понимаешь? Тебя отрицают со всем, что в тебе есть — с гуманизмом, социализмом, эстетикой, любовью, — все это — чепуха по книге? Это смешно и жалко: тебя приговорили к смертной казни — за что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорблен этим, — цветочками любуешься, обманывая себя и других, — глупенькие цветочки! . .

Я указывал ему на некоторую бесполезность протестов против землетрясения, убеждал, что протесты никак не могут повлиять на судороги земной коры — все это только сердило его.

Мы беседовали в Петербурге, осенью, в пустой, скучной комнате пятого этажа. Город был облечен густым туманом, в серой массе тумана недвижимо висели, радужные, призрачные

шары фонарей, напоминая огромные мыльные пузыри. Сквозь жидкую вату тумана к нам поднимались со дна улицы нелепые звуки, — особенно надоедливо чмокали по торцам мостовой копыта лошадей.

Там, внизу, со звоном промчалась пожарная команда. Леонид подошел ко мне, свалился на диван и предложил:

— Едем смотреть пожар?

— В Петербурге пожары не интересны.

Он согласился:

— Верно. А, вот, в провинции, где-нибудь в Орле, когда горят деревянные улицы, и мечутся, как моль, мещане — хорошо! И голуби над тучей дыма — видел ты?

Обняв меня за плечи, он сказал, усмехаясь:

— Ты — все видел, чорт тебя возьми! И — «каменную пустоту» — это очень хорошо — каменная тьма и пустота!

И — бодая меня головою в бок:

— Иногда я тебя за это ненавижу.

Я сказал, что чувствую это.

— Да, — подтвердил он, укладывая голову на колени мне. — Знаешь — почему? Хочется, чтоб ты болел моей болью, — тогда мы были бы ближе друг другу, — ты, ведь, знаешь, как я одинок!

Да, он был очень одинок, но, порою, мне казалось, что он ревниво оберегает одиночество свое, оно дорого ему, как источник его фантастических вдохновений и плодотворная почва оригинальности его.

— Ты — врешь, что тебя удовлетворяет научная мысль, — говорил он, глядя в потолок угрюмо темным взглядом испуганных глаз. — Наука, брат, тоже мистика фактов: никто ничего не знает — вот истина. А вопросы — как я думаю и зачем я думаю, источник главнейшей муки людей, — это самая страшная истина! Едем куда-нибудь, пожалуйста . . .

Когда он касался вопроса о механизме мышления — это всего более волновало его. И — пугало.

Оделись, спустились в туман и часа два плавали в нем по Невскому, как сомы по дну илистой реки. Потом сидели в какой-то кофейне, к нам неотвязно пристали три девушки, одна из них стройная эстонка, назвала себя «Эльфридой». Лицо у нее было каменное, она смотрела на Андреева большими серыми,

без блеска, глазами с жуткой серьезностью и кофейной чашкой пила какой-то зеленый, ядовитый ликер. От него исходил запах жженой кожи.

Леонид пил коньяк, быстро захмелел, стал буйно остроумен, смешил девиц неожиданно забавными и замысловатыми шутками и, наконец, решил ехать на квартиру к девицам, — они очень настаивали на этом. Отпускать Леонида одного было невозможно, — когда он начинал пить, в нем просыпалось нечто жуткое, мстительная потребность разрушения, какая-то ненависть «плененного зверя».

Я отправился с ним, купили вина, фрукт, конфект, и, где-то на Раз'езжей улице, в углу грязного двора, заваленного бочками и дровами, во втором этаже деревянного флигеля, в двух маленьких комнатах, среди стен, убого и жалобно украшенных открытками, — стали пить.

Перед тем, как напиться до потери сознания, Леонид опасно и удивительно возбуждался, его мозг буйно вскипал, фантазия разгоралась, речь становилась почти нестерпимо яркой.

Одна из девушек, круглая, мягкая и ловкая, как мышь, почти с восхищением рассказала нам, как товарищ прокурора укусил ей ногу выше колена, — она, видимо считала поступок юриста самым значительным событием своей жизни, показывала шрам от укуса и, захлебываясь волнением, радостно блестя стеклянными глазками, говорила:

— Он так любил меня, — даже вспомнить страшно! Укусил, знаете, а — у него зуб вставлен был, — и остался в коже у меня!

Эта девушка, быстро опьянев, свалилась в углу на кушетку и заснула, всхрапывая. Пышно-телая, густоволосая шатенка с глазами овцы и уродливо длинными руками играла на гитаре, а Эльфрида составила на пол бутылки и тарелки, вскочила на стол и плясала, молча, по змеиному изгибаясь, не сводя глаз с Леонида. Потом она запела неприятно густым голосом, сердито расширив глаза, порой, точно переломленная, наклонялась к Андрееву; он выкрикивал подхваченные им слова чужой песни, странного языка, и толкал меня локтем, говоря:

— Она что-то понимает, смотри на нее, видишь? Понимает!

Моментами, возбужденные глаза Леонида как будто слепли; становясь еще темнее, они как бы углублялись, пытаясь заглянуть внутрь мозга.

Утомясь, эстонка спрыгнула со стола на постель, вытянулась, открыв рот и гладя ладонями маленькие груди, острые, как у козы.

Леонид говорил:

— Высшее и глубочайшее ощущение в жизни, доступное нам — судорога полового акта, — да, да! И, может быть, земля, как вот эта сука, мечется в пустыне вселенной, ожидая, чтоб я оплодотворил ее пониманием цели бытия, а сам я, со всем чудесным во мне, — только сперматозоид.

Я предложил ему итти домой.

— Иди, я останусь здесь . . .

Он был уже сильно пьян, и с ним было много денег. Он сел на кровать, поглаживая стройные ноги девушки и забавно стал говорить, что любит ее, а она неотрывно смотрела в лицо ему, закинув руки за голову.

— Когда баран отведает редьки, у него вырастают крылья, — говорил Леонид.

— Нет. Это не правда, — серьезно сказала девушка.

— Я тебе говорю, что она понимает что-то! — закричал Леонид в пьяной радости. Через несколько минут он вышел из комнаты, — я дал девице денег и попросил ее уговорить Леонида ехать кататься. Она сразу согласилась:

— Я боюсь его. Такие стреляют из пистолетов, — бормотала она.

Девица, игравшая на гитаре, уснула, сидя на полу около кушетки, где, всхрапывая, спала ее подруга.

Эстонка была уже одета, когда возвратился Леонид; он начал бунтовать, крича:

— Не хочу! Да будет пир плоти!

И попытался раздеть девушку; отбиваясь, она так упрямо смотрела в глаза ему, что взгляд ее укротил Леонида, он согласился:

— Едем!

Но захотел одеть дамскую шляпу à la Рембрандт и уже сорвал с нее все перья.

— Это вы заплатите за шляпу? — деловито спросила девица.

Леонид поднял брови и захохотал, крича:

— Дело — в шляпе! Ура!

На улице мы наняли извозчика и поехали сквозь туман. Было

еще не поздно, едва за полночь. Невский, в огромных бусах фонарей, казался дорогой куда-то вниз, в глубину, вокруг фонарей мелькали мокрые пылинки, в серой сырости плавали черные рыбы, стоя на хвостах; полушария зонтиков, казалось, поднимают людей вверх, — все было очень призрачно, странно и грустно.

На воздухе Андреев совершенно опьянел, задремал, покачиваясь, девица шепнула мне:

— Я слезу, да?

И, спрыгнув с колен моих в жидкую грязь улицы, исчезла.

В конце Каменноостровского проспекта Леонид спросил, испуганно открыв глаза:

— Едем? Я хочу в кабак. Ты прогнал эту?

— Ушла.

— Врешь. Ты — хитрый, я — тоже. Я ушел из комнаты, чтобы посмотреть, что ты будешь делать, стоял за дверью и слышал, как ты уговаривал ее. Ты вел себя невинно и благородно. Ты вообще нехороший человек, пьешь много, а не пьянеешь, от этого дети твои будут алкоголиками. Мой отец тоже много пил и не пьянел, а я — алкоголик.

Потом мы сидели на «Стрелке» под дурацким пузырем тумана, курили и, когда вспыхивал огонек папирос, — видно было, как сереют наши пальто, покрываясь тусклым бисером сырости.

Леонид говорил с неограниченной откровенностью, и это не была откровенность пьяного, — его ум почти не пьянел до момента, пока яд алкоголя совершенно прекращал работу мозга.

— Если бы я остался с девками, это кончилось бы плохо для кого-то. Все так. Но — за это я тебя и не люблю, именно за это! Ты мешаешь мне быть самим собою. Оставь меня — я буду шире. Ты, может быть, обруч на бочке, уйдешь и — бочка рассыплется, но — пускай рассыплется — понимаешь? Ничего не надо сдерживать, пусть все разрушается. Может быть, истинный смысл жизни именно в разрушении чего-то, чего мы не знаем — или — всего, что придумано и сделано нами.

Темные глаза его угрюмо упирались в серую массу вокруг его и над ним, иногда он их опускал к земле, мокрой, усыпанной листьями, и топал ногами, словно пробуя прочность земли.

— Я не знаю, — что ты думаешь, но — то, что ты всегда говоришь, не твоей веры, не твоей молитвы слова. Ты говоришь,

что все силы жизни исходят от нарушения равновесия, а сам ищешь именно равновесия, какой-то гармонии и меня толкаешь на это, тогда как — по твоему же — равновесие — смерть!

Я возражал: никуда я не толкаю его, не хочу толкать, но — мне дорога его жизнь, здоровье дорого, работа его.

— Тебе приятна только моя работа, — мое внешнее, — а не сам я, не то, чего я не могу воплотить в работе. Ты мешаешь мне и всем, иди в болото!

Навалился на плечо мне и, с улыбкой заглядывая в лицо, продолжал:

— Ты думаешь, я пьян и не понимаю, что говорю чепуху? Нет, я просто хочу разозлить тебя. Я, брат, декадент, выродок, больной человек. Но Достоевский был тоже больной, как все великие люди. Есть книжка, — не помню, чья, — о гении и безумии, в ней доказано, что гениальность — психическая болезнь! Эта книга — испортила меня. Если бы я не читал ее, — я был бы проще. А теперь, я знаю, что почти гениален, но не уверен в том, — достаточно ли безумен? Понимаешь, — я сам себе представляюсь безумным, чтоб убедить себя в своей талантливости, — понимаешь?

Я — засмеялся. Это показалось мне плохо выдуманным и потому не правдивым.

Когда я сказал ему это, он тоже захохотал и вдруг, гибким движением души, акробатически ловко перескочил в тон юмориста:

— А — где кабак, место священнодействий литературных? Талантливые русские люди обязательно должны беседовать в кабаке, — такова традиция, без этого критики не признают таланта.

Сидели в ночном трактире извозчиков, в сырой, дымной духоте: по грязной комнате сердито и устало ходили сонные «человеки», «математически» ругались пьяные, визжали страшные проститутки, одна из них, обнажив левую грудь — желтую, с огромным соском коровы, — положила ее на тарелку и поднесла нам, предлагая:

— Купите фунтик?

— Люблю бесстыдство, — говорил Леонид, — в цинизме я ощущаю печаль, почти отчаяние человека, который сознает, что он не может не быть животным, хочет не быть, а не может! Понимаешь?

Он пил крепкий, почти черный чай, знал я, что так нравится ему и отрезвляет его, — я нарочно велел заварить больше чая. Прихлебывая дегтеподобную, горькую жидкость, щупая глазами вспухшие лица пьяниц, Леонид непрерывно говорил:

— С бабами — я циничен. Так — правдивее, и они это любят. Лучше быть законченным грешником, чем праведником, который не может домолиться до полной святости.

Оглянулся, помолчал и говорит:

— А здесь — скучно, как в духовной консистории!

Это рассмешило его.

— Я никогда не был в духовной консистории, в ней должно быть что-то, похожее на рыбный садок . . .

Чай отрезвил его. Мы ушли из трактира. Туман сгустился, опаловые шары фонарей таяли, как лед.

— Мне хочется рыбы, — сказал Леонид, облокотясь на перила моста через Неву, и оживленно продолжал: — Знаешь, как бывает со мной? Вероятно — так дети думают, — наткнется на слово — рыба и подбирает созвучные ему: — рыба, гроба, судьба, иго, Рига, — а вот стихи писать — не могу!

Подумав, он добавил:

— Так же думают составители букварей . . .

Снова сидели в трактире, угощаясь рыбной солянкой, Леонид рассказывал, что его приглашают «декаденты» сотрудничать в «Весах».

— Не пойду, не люблю их. У них за словами я не чувствую содержания, они «опьяняются» словами, как любит говорить Бальмонт. Тоже — талантлив и — больной.

В другой раз, — помню, — он сказал о группе «Скорпиона»:

— Они насилуют Шопенгауэра, а я люблю его, и потому ненавижу их.

Но это слишком сильное слово в его устах, — ненавидеть он не умел, был слишком мягок для этого. Как-то показал мне в дневнике своем «слова ненависти», но — они оказались словами юмора, и он сам искренно смеялся над ними.

Я отвез его в гостиницу, — уложил спать, но, зайдя после полудня, узнал, что он, тотчас после того, как я ушел, встал, оделся и тоже исчез куда-то. Я искал его целый день, но не нашел.

Он непрерывно пил четыре дня и потом уехал в Москву.

У него была неприятная манера испытывать искренность взаимных отношений людей; он делал это так: неожиданно, между прочим, спрашивает:

— Знаешь, что Z. сказал про тебя? — или сообщит:

— A. S. говорит о тебе . . .

И темным взглядом, испытуя, заглядывает в глаза.

Однажды я сказал ему:

— Смотри, — так ты можешь перессорить всех товарищей!

— Ну, что же? — ответил он. — Если ссорятся из-за пустяков, значит — отношения были не искренни.

— Чего ты хочешь?

— Прочности, такой — знаешь — монументальности, красоты отношений. Надо, чтоб каждый из нас понимал, как тонко кружево души, как нежно и бережливо следует относиться к ней. Необходим некоторый романтизм отношений, в кружке Пушкина он был, и я этому завидую. Женщины чутки только к эротике, Евангелие бабы — Декамерон.

Но через полчаса он осмеял свой отзыв о женщинах, уморительно изобразив беседу эротомана с гимназисткой.

Он не выносил Арцыбашева и порою с грубой враждебностью высмеивал его именно за одностороннее изображение женщины, как начала исключительно чувственного.

Однажды он мне рассказал такую историю: когда ему было лет одиннадцать, он увидал где-то в роще или в саду, как дьякон целовался с барышней.

— Они целовались, и оба плакали, — говорил он — понизив голос и с'еживаясь; когда он рассказывал что-нибудь интимное, он напряженно сжимал свою несколько рыхлую мускулатуру.

— Барышня была такая, знаешь, тоненькая, хрупкая, на соломенных ножках, дьякон — толстый, ряса на животе засалена и лоснится. Я уже знал, зачем целуются, но первый раз видел, что целуясь — плачут, и мне было смешно. Борода дьякона зацепилась за крючки растегнутой кофты, он замотал головой, я свистнул, чтобы испугать их, испугался сам и — убежал. Но в тот же день вечером почувствовал себя влюбленным в дочь мирового судьи, девчонку лет десяти, ощупал ее, грудей у нее не оказалось, значит целовать нечего, и она не

годится для любви. Тогда я влюбился в горничную соседей, коротконогую, без бровей, с большими грудями, — кофта ее на груди была так же засалена, как ряса на животе дьякона. Я очень решительно приступил к ней, а она меня решительно оттрепала за ухо. Но это не помешало мне любить ее, она казалась мне красавицей и чем далее, тем больше. Это было почти мучительно и очень сладко. Я видел много девиц действительно красивых и умом хорошо понимал, что возлюбленная моя — урод, сравнительно с ними, а все-таки для меня она оставалась лучше всех. Мне было хорошо, потому, что я знал: никто не мог бы любить так, как умею я, белобрысую толстую девку, никто — понимаешь, — не сумел бы видеть ее красивее всех красавиц!

Он рассказал это превосходно, насытив слова свои милым юмором, который я не умею передать; как жаль, что, всегда хорошо владея им в беседе, он пренебрегал или боялся украшать его игрой свои рассказы, — боялся, видимо, нарушить красками юмора темные тона своих картин.

Когда я сказал: жаль, что он забыл, как хорошо удалось ему сотворить из коротконогой горничной первую красавицу мира, что он не хочет больше извлекать из грязной руды действительного золотые жилы красоты, — он комически хитро прищурился, говоря:

— Ишь ты, какой лакомый! Нет, я не намерен баловать вас, романтиков . . .

Невозможно было убедить его в том, что именно он — романтик.

На «Собрании сочинений», которое Леонид подарил мне в 1915 г., он написал:

«Начиная с курьерского «Бергамота», здесь все писалось и прошло на твоих глазах, Алексей: во многом это — история наших отношений».

Это, к сожалению, верно; к сожалению — потому, что я думаю: для Л. Андреева было бы лучше, если бы он не вводил в свои рассказы «историю наших отношений». А он делал это слишком охотно и, торопясь «опровергнуть» мои мнения, портил этим свою обедню. И как будто именно в мою личность он воплотил своего невидимого врага.

— Я написал рассказ, который, наверное, не понравится тебе, — сказал он однажды. — Прочитаем?

Прочитали. Рассказ очень понравился мне, за исключением некоторых деталей.

— Это — пустяки, это я исправлю, — оживленно говорил он, расхаживая по комнате, шаркая туфлями. Потом сел рядом со мною и, откинув свои волосы, заглянул в глаза мне.

— Вот, — я знаю, чувствую, ты искренно хвалишь рассказ. Но — я не понимаю, как может он нравиться тебе?

— Мало ли на свете вещей, которые не нравятся мне, однако, это не портит их, как я вижу.

— Рассуждая так, нельзя быть революционером.

— Ты, что же, смотришь на революционера глазами Нечаева — «революционер — не человек?»

Он обнял меня, засмеялся:

— Ты плохо понимаешь себя. Но — слушай, — ведь, когда я писал «Мысль», я думал о тебе; Алексей Савелов — это ты! Там есть одна фраза: «Алексей не был талантлив» — это, может быть, нехорошо с моей стороны, но ты своим упрямством так раздражаешь меня иногда, что кажешься мне неталантливым. Это я нехорошо написал, да?

Он волновался, даже покраснел.

Я успокоил его, сказав, что не считаю себя арабским конем, а, только, ломовой лошадью; я знаю, что обязан успехами моими не столько природной талантливости, сколько уменью работать, любви к труду.

— Странный ты человек, — тихо сказал он, прервав мои слова и вдруг, отрешившись от пустяков, задумчиво начал говорить о себе, о волнениях души своей. Он не имел общерусской, неприятной склонности исповедываться и каяться, но иногда ему удавалось говорить о себе с откровенностью мужественной, даже несколько жесткой, однако — не теряя самоуважения. И это было приятно в нем.

— Понимаешь, — говорил он — каждый раз, когда я напишу что-либо особенно волнующее меня, — с души моей точно кора спадает, я вижу себя яснее и вижу, что я талантливее написанного мной. Вот — «Мысль». Я ждал, что она поразит тебя, а теперь сам вижу, что это, в сущности, полемическое произведение, да еще не попавшее в цель.

Вскочил на ноги и полушутя заявил, встряхнув волосами:

— Я боюсь тебя, злодей! Ты — сильнее меня, я не хочу поддаваться тебе.

И снова серьезно:

— Чего-то не хватает мне, брат. Чего-то очень важного, — а? Как ты думаешь?

Я думал, что он относится к таланту своему непростительно небрежно, и что ему не хватает знаний.

— Надо учиться, читать, надо ехать в Европу . . .

Он махнул рукой.

— Не то. Надо найти себе Бога и поверить в мудрость Его.

Как всегда, мы заспорили. После одного из таких споров он прислал мне корректуру рассказа «Стена». А по поводу «Призраков» он сказал мне:

— Безумный, который стучит, это — я, а деятельный Егор — ты. Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе романтиков, идеализаторов разума, оторванных мечтой своей от жизни.

Скверный шум, вызванный рассказом «Бездна», расстроил его. Люди, всегда готовые услужить улице, начали писать об Андрееве различные гадости, доходя в сочинении клеветы до комизма: так один поэт напечатал в харьковской газете, что Андреев купался со своей невестой без костюмов. Леонид обиженно спрашивал:

— Что же он думает, — во фраке, что ли, надо купаться? И, ведь, врет, не купался я ни с невестой, ни соло, весь год не купался — негде было. Знаешь, я решил напечатать и расклеить по заборам покорнейшую просьбу к читателям, — краткую просьбу:

— «Будьте любезны, —
Не читайте «Бездны»!

Он был чрезмерно, почти болезненно внимателен к отзывам о его рассказах и всегда, с грустью или с раздражением, жаловался на варварскую грубость критиков и рецензентов, а однажды даже в печати жаловался на враждебное отношение критики к нему лично, как человеку.

— Не надо этого делать, — советовали ему.

— Нет, нужно, а то они, стараясь исправить меня, уши мне отрежут или кипятком ошпарят . . .

Его жестоко мучил наследственный алкоголизм; болезнь проявлялась сравнительно редко, но почти всегда в формах очень тяжелых. Он боролся с нею, борьба стоила ему огромных усилий, но порой, впадая в отчаяние, он осмеивал эти усилия.

— Напишу рассказ о человеке, который с юности двадцать пять лет боялся выпить рюмку водки, потерял из-за этого множество прекрасных часов жизни, испортил себе карьеру и умер во цвете лет, неудачно срезав себе мозоль или занозив себе палец.

И действительно, приехав в Нижний ко мне, он привез с собою рукопись рассказа на эту тему.

В Нижнем у меня Л. Н. встретил отца Феодора Владимирского, протоиерея города Арзамаса, а впоследствии члена Второй Государственной Думы, — человека замечательного. Когда-нибудь я попробую написать его житие, а пока нахожу необходимым кратко очертить главный подвиг его жизни.

Город Арзамас чуть ли не со времени Ивана Грозного пил воду из прудов, где летом плавали трупы утопших крыс, кошек, кур, собак, а зимою, подо льдом, вода протухала, приобретая тошнотворный запах. И вот отец Феодор, поставив себе целью снабдить город здоровой водой, двенадцать лет самолично исследовал почвенные воды вокруг Арзамаса. Из года в год, каждое лето, он, на восходе солнца, бродил, точно колдун, по полям и лесам, наблюдая, где земля «преет». И после долгих трудов нашел подземные ключи, проследил их течение, перекопал, направил в лесную ложбину за три версты от города и, получив на десять тысяч жителей свыше сорока тысяч ведер превосходной ключевой воды, предложил городу устроить водопровод. У города был капитал, завещанный одним купцом условно или на водопровод, или на организацию кредитного общества. Купечество и начальство, добывая воду бочками на лошадях из дальних ключей за городом, в водопроводе не нуждалось и, всячески затрудняя работу отца Феодора, стремилось употребить капитал на основание кредитного общества,

а мелкие жители хлебали тухлую воду прудов, оставаясь — по привычке, издревле усвоенной ими — безучастны и бездеятельны. Итак, найдя воду, отец Феодор принужден был вести длительную и скучную борьбу с упрямым своекорыстием богатых и подленькой глупостью бедняков.

Приехав в Арзамас под надзор полиции, я застал его в конце работы по собиранию источников. Этот человек, истощенный каторжным трудом и несчастиями, был первым арзамасцем, который решился познакомиться со мной, — мудрое арзамасское начальство, строжайше запретив земским и другим служащим людям посещать меня, учредило, на страх им, полицейский пост прямо под окнами моей квартиры.

Отец Феодор пришел ко мне вечером, под проливным дождем, весь — с головы до ног — мокрый, испачканный глиной, в тяжелых мужицких сапогах, сером подряснике и выцветшей шляпе, — она до того размокла, что сделалась похожей на кусок грязи. Крепко сжав руку мою мозолистой и жесткой ладонью землекопа, он сказал угрюмым баском:

— Это вы — нераскаянный грешник, коего сунули нам исправления вашего ради? Вот мы вас исправим! Чаем угостить можете?

В седой бородке спрятано сухонькое личико аскета, из глубоких глазниц кротко сияет улыбка умных глаз.

— Прямо из леса зашел. Нет ли чего — переодеться мне?

Я уже много слышал о нем, знал, что сын его — политический эмигрант, одна дочь сидит в тюрьме «за политику», другая усиленно готовится попасть туда же; знал, что он затратил все свои средства на поиски воды, заложил дом, живет, как нищий, сам копает канавы в лесу, забивая их глиной, а когда сил у него не хватало, — Христа ради просил окрестных мужиков помочь ему. Они — помогали, а городской обыватель, скептически следя за работой «чудака» попа, пальцем о палец не ударил в помощь ему.

Вот с этим человеком Л. Андреев и встретился у меня.

Октябрь, сухой, холодный день, дул ветер, по улице летели какие-то бумажки, птичьи перья, облупки лука. Пыль скреблась в стекла окон, с поля на город двигалась огромная дождевая туча. В комнату к нам неожиданно вошел отец Феодор, протирая запыленные глаза, лохматый, сердитый, ругая вора,

украшего у него саквояж и зонт, губернатора, который не хочет понять, что водопровод полезнее кредитного общества, — Леонид широко открыл глаза и шепнул мне:

— Это что?

Через час, за самоваром, он, буквально разинув рот, слушал, как протоиерей нелепого города Арзамаса, пристукивая кулаком по столу, порицал гностиков за то, что они боролись с демократизмом церкви, стремясь сделать учение о богопознании недоступным разуму народа.

— Еретики эти считали себя высшего познания искателями, аристократами духа, — а не народ ли, в лице мудрейших водителей своих, суть воплощение мудрости Божией и духа Его?

«Докеты», «офиты», «плерома», «Карпократ», гудел отец Феодор, а Леонид, толкая меня локтем, шептал:

— Вот олицетворенный ужас арзамасский!

Но вскоре он уже размахивал рукою пред лицом отца Феодора, доказывая ему бессилие мысли, а священник, встряхивая бородой, возражал:

— Не мысль бессильна, а неверие.

— Оно является сущностью мысли . . .

— Софизмы сочиняете, господин писатель . . .

По стеклам окон хлещет дождь, на столе курлыкает самовар, старый и малый ворошат древнюю мудрость, а со стены вдумчиво смотрит на них Лев Толстой с палочкой в руке — великий странник мира сего. Ниспровергнув все, что успели, мы разошлись по комнатам далеко за полночь, я уже лег в постель с книгой в руках, но в дверь постучали, и явился Леонид, встрепанный, возбужденный, с расстегнутым воротом рубахи, сел на постель ко мне и заговорил, восхищаясь:

— Вот так поп! Как он меня обнаружил, а?

И вдруг на глазах у него сверкнули слезы.

— Счастлив ты, Алексей, чорт тебя возьми! Всегда около тебя какие-то удивительно интересные люди, а я — одинок . . . или же вокруг меня толкутся . . .

Он махнул рукою. Я стал рассказывать ему о жизни отца Феодора, о том, как он искал воду, о написанной им «Истории ветхого завета», рукопись которой у него отобрана по постановлению Синода, о книге «Любовь — закон жизни», тоже запрещенной духовной цензурой. В этой книге отец Феодор до-

казывал цитатами из Пушкина, Гюго и других поэтов, что чувство любви человека к человеку является основой бытия и развития мира, что оно столь же могущественно, как закон всеобщего притяжения, и во всем подобно ему.

— Да, — задумчиво говорил Леонид — надо мне поучиться кое-чему, а то стыдно перед попом . . .

Снова постучали в дверь — вошел отец Феодор, запахивая подрясник, босый, печальный.

— Не спите? А я, того . . . пришел! Слышу, говорят, пойду, мол — извинюсь! Покричал я на вас резковато, молодые люди, так вы не обижайтесь. Лег, подумал про вас — хорошие человеки, ну, решил, — что я напрасно горячился. Вот — пришел — простите! Иду спать . . .

Забрались оба на постель ко мне, и снова началась бесконечная беседа о жизни. Леонид — хохотал и умилялся:

— Нет, какова наша Россия? . . «Позвольте, — мы еще не решили вопроса о бытии Бога, а вы обедать зовете!» Это же — не Белинский говорит, это — вся Русь говорит Европе, ибо Европа, в сущности, зовет нас обедать, сытно есть, — не более того!

А отец Феодор, кутая подрясником тонкие, костяные ноги, улыбаясь, возражал:

— Однако, Европа все-ж-таки мать крестная нам, — не забудьте! Без Вольтеров ее и без ее ученых — мы бы с вами не состязались в знаниях философических, а безмолвно блины кушали бы и — только всего!

На рассвете отец Феодор простился и часа через два уже исчез хлопотать о водопроводе арзамасском, а Леонид, проспав до вечера, — вечером говорил мне:

— Ты подумай — кому, для чего нужно, чтоб в тухлом каком-то городе жил умница поп, энергичный и интересный? И почему именно поп — умница в этом городе, а? Какая ерунда! Знаешь — жить можно только в Москве, — уезжай отсюда. Скверно тут, — дождь, грязь . . . И тотчас же стал собираться домой . . .

На вокзале он сказал:

— А все-таки этот поп — недоразумение. Анекдот!

Он довольно часто жаловался, что почти не видит людей значительных, оригинальных.

— Ты, вот, умеешь находить их, а за меня всегда цепляется какой-то репейник, и таскаю я его на хвосте моем — зачем?

Я рассказал о людях, знакомство с которыми было бы полезно ему — людей высокой культуры или оригинальной мысли, говорил о В. В. Розанове и других. Мне казалось, что знакомство с Розановым было бы особенно полезно для Андреева. Он удивлялся!

— Не понимаю тебя!

И говорил о консерватизме Розанова, чего мог бы и не делать, ибо в существе духа своего был глубоко равнодушен к политике, лишь изредка обнаруживая приступы внешнего любопытства к ней. Его основное отношение к политическим событиям он выразил наиболее искренно в рассказе: «Так было — так будет».

Я пытался доказать ему, что учиться можно у чорта и вора так же, как у святого отшельника, и что изучение не значит — подчинение.

— Это не совсем верно — возражал он, — вся наука представляет собою подчинение факту. А Розанова я не люблю.

Иногда казалось, что он избегает личных знакомств с крупными людьми потому, что боится влияния их; встретится раз, два с одним из таких людей, иногда горячо расхвалит человека, но вскоре теряет интерес к нему и уже не ищет новых встреч.

Так было с Саввой Морозовым, — после первой длительной беседы с ним Л. Андреев, восхищаясь тонким умом, широкими знаниями и энергией этого человека, называл его Ермак Тимофеевич, говорил, что Морозов будет играть огромную политическую роль:

— У него лицо татарина, но это, брат, английский лорд!

Но знакомства с ним не продолжил. И так же было с А. А. Блоком.

Я пишу, как подсказывает память, не заботясь о последовательности, о «хронологии».

В «Художественном театре», когда он помещался еще в Каретном ряду, Леонид Николаевич познакомил меня со своей невестой — худенькой, хрупкой барышней с милыми, ясными глазами. Скромная, молчаливая, она показалась мне безличной, но вскоре я убедился, что это человек умного сердца.

Она прекрасно поняла необходимость материнского, бережного отношения к Андрееву, сразу и глубоко почувствовала значение его таланта и мучительные колебания его настроений. Она — из тех редких женщин, которые, умея быть страстными любовницами, не теряют способности любить любовью матери; эта двойная любовь вооружила ее тонким чутьем, и она прекрасно разбиралась в подлинных жалобах его души и звонких словах капризного настроения минуты.

Как известно, русский человек «ради красного словца не жалеет ни матери, ни отца». Л. Н. тоже весьма увлекался красным словом и порою сочинял изречения весьма сомнительного тона.

«Через год после брака жена точно хорошо разношенный башмак, — его не чувствуешь» — сказал он однажды при Александре Михайловне. Она умела не обращать внимания на подобное словотворчество, а порою даже находила эти шалости языка остроумными и ласково смеялась. Но, обладая в высокой степени чувством уважения к себе самой, она могла — если это было нужно ей — показать себя очень настойчивой, даже непоколебимой. У нее был тонко развит вкус к музыке слова, к форме речи. Маленькая, гибкая, она было изящна, а иногда как-то забавно, по-детски, важна, — я прозвал ее «Дама Шура», это очень привилось ей.

Л. Н. ценил ее, а она жила в постоянной тревоге за него, в непрерывном напряжении всех сил своих, совершенно жертвуя личностью своей интересам мужа.

В Москве у Андреева часто собирались литераторы, было очень тесно, уютно, милые глаза «Дамы Шуры», ласково улыбаясь, несколько сдерживали «широту» русских натур. Часто бывал Ф. И. Шаляпин, восхищая всех своими рассказами.

Когда расцветал «модернизм», пытались понять его, но больше — осуждали, что гораздо проще делать. Серьезно думать о литературе было некогда, на первом плане стояла политика. Блок, Белый, Брюсов казались какими-то «уединенными пошехонцами», в лучшем мнении — чудаками, в худшем — чем-то вроде изменников «великим традициям русской общественности». Я тоже так думал и чувствовал. Время ли для «Симфонии», когда вся Русь мрачно готовится плясать трепака? События развивались в направлении катастрофы, признаки ее близости

становились все более грозными, эс-эры бросали бомбы, и каждый взрыв сотрясал всю страну, вызывая напряженное ожидание коренного переворота социальной жизни. В квартире Андреева происходили заседания Ц. К. социал-демократов большевиков, и однажды весь Комитет вместе с хозяином квартиры был арестован и отвезен в тюрьму.

Просидев в тюрьме с месяц, Л. Н. вышел оттуда точно из купели Силоамской — бодрый, веселый.

— Это хорошо, когда тебя сожмут, — хочешь всесторонне расшириться! — говорил он.

И смеялся надо мной.

— Ну, что, пессимист? А ведь Россия-то — оживает? А ты рифмовал: самодержавие — ржавея.

Он печатал рассказы «Марсельеза», «Набат», «Рассказ, который никогда не будет кончен», но уже в октябре 1905 г. прочитал мне в рукописи «Так было».

— Не преждевременно ли? — спросил я.

Он ответил:

— Хорошее всегда преждевременно . . .

Вскоре он уехал в Финляндию и хорошо сделал — бессмысленная жестокость декабрьских событий раздавила бы его. В Финляндии он вел себя политически активно, выступал на митинге, печатал в газетах Гельсингфорса резкие отзывы о политике монархистов, но настроение у него было подавленное, взгляд на будущее — безнадежен. В Петербурге я получил письмо от него; он писал между прочим:

«У каждой лошади есть свои врожденные особенности, у наций — тоже. Есть лошади, которые со всех дорог сворачивают в кабак, — наша родина свернула к точке наиболее любезной ей и снова долго будет жить распивочно и на вынос».

Через несколько месяцев мы встретились в Швейцарии, в Монтрэ. Леонид издевался над жизнью швейцарцев.

— Нам, людям широких плоскостей, не место в этих тараканьих щелях, — говорил он.

Мне показалось, что он несколько поблек, потускнел, в глазах его остеклело выражение усталости и тревожной печали. О Швейцарии он говорил также плоско, поверхностно и то же

самое, что издавна привыкли говорить об этой стране свободолюбивые люди из Чухломы, Конотопа и Тетюш. Один из них определил русское понятие свободы глубоко и метко такими словами:

«Мы в нашем городе живем, как в бане — без поправок, без стеснения». О России Л. Н. говорил скучно и нехотя, и однажды, сидя у камина, вспомнил несколько строк горестного стихотворения Якубовича «Родине»:

«За что любить тебя, какая ты нам мать?»

— Написал я пьесу, — прочитаем?

И вечером он прочитал «Савву».

Еще в России, слушая рассказы о юноше Уфимцеве и товарищах его, которые пытались взорвать икону Курской Богоматери, — Андреев решил обработать это событие в повесть и тогда же, сразу, очень интересно создал план повести, выпукло очертил характеры. Его особенно увлекал Уфимцев, поэт в области научной техники, юноша, обладавший несомненным талантом изобретателя. Сосланный в Семиреченскую область, кажется в Каркаралы, живя там под строгим надзором людей невежественных и суеверных, не имея необходимых инструментов и материалов, он изобрел оригинальный двигатель внутреннего сгорания, усовершенствовал циклостиль, работал над новой системой драги, придумал какой-то «вечный патрон» для охотничьих ружей. Чертежи его двигателя я показывал инженерам в Москве, и они говорили мне, что изобретение Уфимцева очень практично, остроумно и талантливо. Не знаю, какова судьба всех этих изобретений, — уехав за границу, я потерял Уфимцева из виду.

Но я знал, что это юноша из ряда тех прекрасных мечтателей, которые, — очарованы своей верой и любовью, — идут разными путями к одной и той же цели — к возбуждению в народе своем разумной энергии, творящей добро и красоту.

Мне было грустно и досадно видеть, что Андреев исказил этот характер, еще не тронутый русской литературой, мне казалось, что в повести, как она была задумана, характер этот найдет и оценку, и краски, достойные его. Мы поспорили и, может быть, я несколько резко говорил о необходимости точного изображения некоторых — наиболее редких и положительных — явлений действительности.

Как все люди определенно очерченного «я», острого ощущения своей «самости», Л. Н. не любил противоречия, он обиделся на меня, и мы расстались холодно.

Кажется в 907 или 8-ом году Андреев приехал на Капри, похоронив «Даму Шуру» в Берлине, — она умерла от послеродовой горячки. Смерть умного и доброго друга очень тяжело отразилась на психике Леонида. Все его мысли и речи сосредоточенно вращались вокруг воспоминаний о бессмысленной гибели «Дамы Шуры».

— Понимаешь, — говорил он, странно расширяя зрачки, — лежит она еще живая, а дышит уже трупным запахом. Это очень иронический запах.

Одетый в какую-то бархатную черную куртку, он даже и внешне казался измятым, раздавленным. Его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе о смерти. Случилось так, что он поселился на вилле Карачиолло, принадлежавшей вдове художника, потомка маркиза Карачиолло, сторонника французской партии, казненного Фердинандом Бомбой. В темных комнатах этой виллы было сыро и мрачно, на стенах висели незаконченные грязноватые картины, напоминая о пятнах плесени. В одной из комнат был большой закопченный камин, а перед окнами ее, затеняя их, густо разросся кустарник; в стекла со стен дома заглядывал плющ. В этой комнате Леонид устроил столовую.

Как-то под вечер, придя к нему, я застал его в кресле пред камином. Одетый в черное, весь в багровых отсветах тлеющего угля, он держал на коленях сына своего, Вадима, и вполголоса, всхлипывая, говорил ему что-то. Я вошел тихо; мне показалось, что ребенок засыпает, я сел в кресло у двери и слышу: Леонид рассказывает ребенку о том, как смерть ходит по земле и душит маленьких детей.

— Я боюсь, — сказал Вадим.

— Не хочешь слушать?

— Я боюсь, — повторил мальчик.

— Ну, иди спать . . .

Но ребенок прижался к ногам отца и заплакал. Долго не удавалось нам успокоить его, Леонид был настроен истерически, его слова раздражали мальчика, он топал ногами и кричал:

— Не хочу спать! Не хочу умирать!

Когда бабушка увела его, я заметил, что едва ли следует пугать ребенка такими сказками, какова сказка о смерти, непобедимом великане.

— А если я не могу говорить о другом? — резко сказал он. — Теперь я понимаю, насколько равнодушна «прекрасная природа», и мне одного хочется — вырвать мой портрет из этой пошло-красивенькой рамки.

Говорить с ним было трудно, почти невозможно, он нервничал, сердился и, казалось, нарочито растравлял свою боль.

— Меня преследует мысль о самоубийстве, мне кажется, что тень моя, ползая за мной, шепчет мне: уйди, умри!

Это очень возбуждало тревогу друзей его, но иногда он давал понять, что вызывает опасения за себя сознательно и нарочито, как бы желая слышать еще раз, что скажут ему в оправдание и защиту жизни.

Но веселая природа острова, ласковая красота моря и милое отношение каприйцев к русским довольно быстро рассеяли мрачное настроение Леонида. Месяца через два его точно вихрем охватило страстное желание работать.

Помню — лунной ночью, сидя на камнях у моря, он встряхнул головой и сказал:

— Баста! Завтра с утра начинаю писать.

— Лучше этого тебе ничего не сделать.

— Вот именно.

И весело, — как он давно уже не говорил, — он начал рассказывать о планах своих работ.

— Прежде всего, брат, я напишу рассказ на тему о деспотизме дружбы, — уж расплачусь же я с тобой, злодей!

И тотчас, — легко и быстро, сплел юмористический рассказ о двух друзьях, мечтателе и математике, — один из них всю жизнь рвется в небеса, а другой заботливо подсчитывает издержки воображаемых путешествий и этим решительно убивает мечты друга.

Но вслед за этим он сказал:

— Я хочу писать об Иуде, — еще в России я прочитал стихотворение о нем — не помню чье[1]), — очень умное. Что ты думаешь об Иуде?

[1]) А. Рославлева.

У меня в то время лежал чей-то перевод тетралогии Юлиуса Векселля «Иуда и Христос», перевод рассказа Тора Гедберга и поэма Голованова, — я предложил ему прочитать эти вещи.

— Не хочу, у меня есть своя идея, а это меня может запутать. Расскажи мне лучше — что они писали? Нет, не надо, не рассказывай.

Как всегда в моменты творческого возбуждения, он вскочил на ноги, — ему необходимо было двигаться.

— Идем!

Дорогой он рассказал содержание «Иуды», а через три дня принес рукопись. Этим рассказом он начал один из наиболее плодотворных периодов своего творчества. На Капри он затеял пьесу «Черные маски», написал злую юмореску «Любовь к ближнему», рассказ «Тьма», создал план «Сашки Жегулева», сделал наброски пьесы «Океан» и написал несколько глав — две или три — повести «Мои записки»; — все это в течение полугода. Эти серьезные работы и начинания не мешали Л. Н. принимать живое участие в сочинении пьесы «Увы», пьесы в классически-народническом духе, в стихах и прозе, с пением, плясками и всевозможным угнетением несчастных русских землепашцев. Содержание пьесы достаточно ясно характеризует перечень действовавших в ней лиц:

«Угнетон — безжалостный помещик.

Свирепея — таковая же супруга его.

Филистерий — Угнетонов брат, литераторишко прозаический.

Декадентий — неудачное чадо Угнетоново.

Терпим — землепашец, весьма несчастен, но не всегда пьян.

Скорбела — любимая супруга Терпимова; преисполнена кротости и здравого смысла, хоша беременна постоянно.

Страдала — прекрасная дочь Терпимова.

Лупоморда — ужаснейший становой пристав. Купается в мундире и при орденах.

Раскатай — несомненный урядник, а на самом деле — благородный граф Эдмон де Птие.

Мотря Колокольчик — тайная супруга графова, а в действительности испанская маркиза донна Кармен Нестерпима и Несносна, притворившаяся гитаной.

Тень русского критика Скабичевского.

Тень Каблица-Юзова.

Афанасий Щапов, в совершенно трезвом виде.

«Мы говорили» — группа личностей без речей и действий.

Место происшествия — «Голубые Грязи», поместье Угнетоново, дважды заложенное в Дворянском банке и однажды еще где-то».

Был написан целый акт этой пьесы, густо насыщенный веселыми нелепостями. Прозаический диалог уморительно писал Андреев и сам хохотал, как дитя, над выдумками своими.

Никогда, ни ранее, ни после, я не видал его настроенным до такой высокой степени активно, таким необычно трудоспособным. Он как будто отрешился от своей неприязни к процессу писания и мог сидеть за столом день и ночь, полуодетый, растрепанный, веселый. Его фантазия разгорелась удивительно ярко и плодотворно, — почти каждый день он сообщал план новой повести или рассказа.

— Вот когда, наконец, я взял себя в руки! — говорил он, торжествуя.

И расспрашивал о знаменитом пирате Барбароссе, о Томазо Аниелло, о контрабандистах, карбонариях, о жизни калабрийских пастухов.

— Какая масса сюжетов, какое разнообразие жизни! — восхищался он. — Да, эти люди накопили кое-чего для потомства. А у нас: взял я как-то «Жизнь русских царей», читаю — едят! Стал читать «Историю русского народа» — страдают! Бросил, — обидно и скучно.

Но, рассказывая о затеях своих выпукло и красочно, писал он небрежно. В первой редакции рассказа «Иуда» у него оказалось несколько ошибок, которые указывали, что он не позаботился прочитать даже Евангелие. Когда ему говорили, что «герцог Спадаро» для итальянца звучит так же нелепо, как для русского звучало бы «князь Башмачников», а сен-бернардских собак в XII веке еще не было, — он сердился:

— Это пустяки.

— Нельзя сказать: «они пьют вино, как верблюды», не прибавив — воду!

— Ерунда!

Он относился к своему таланту, как плохой ездок к прекрасному коню, — безжалостно скакал на нем, но не любил, не холил. Рука его не успевала рисовать сложные узоры буйной

фантазии, он не заботился о том, чтоб развить силу и ловкость руки. Иногда он и сам понимал, что это является великою помехой нормальному росту его таланта.

— Язык у меня костенеет, я чувствую, что мне все трудней находить нужные слова . . .

Он старался гипнотизировать читателя однотонностью фразы, но фраза его теряла убедительность красоты. Окутывая мысль ватой однообразно-темных слов, он добивался того, что слишком обнажал ее, и казалось, что он пишет популярные диалоги на темы философии.

Изредка, чувствуя это, он огорчался:

— Паутина, — липко, но не прочно! Да, нужно читать Флобера; ты, кажется, прав: он, действительно, потомок одного из тех гениальных каменщиков, которые строили неразрушимые храмы средневековья!

На Капри Леониду сообщили эпизод, которым он воспользовался для рассказа «Тьма». Героем эпизода этого был мой знакомый, эс-эр. В действительности эпизод был очень прост: девица «дома терпимости», чутьем угадав в своем «госте» затравленного сыщиками, насильно загнанного к ней революционера, отнеслась к нему с нежной заботливостью матери и тактом женщины, которой вполне доступно чувство уважения к герою. А герой, человек душевно неуклюжий, книжный, ответил на движение сердца женщины проповедью морали, напомнив ей о том, что она хотела забыть в этот час. Оскорбленная этим, она ударила его по щеке, — пощечина вполне заслуженная на мой взгляд. Тогда, поняв всю грубость своей ошибки, он извинился пред нею и поцеловал руку ее, — мне кажется, последнего он мог бы и не делать. Вот и все.

Иногда, к сожалению, очень редко, действительность бывает правдивее и краше даже очень талантливого рассказа о ней.

Так было и в этом случае, но Леонид неузнаваемо исказил и смысл, и форму события. В действительном публичном доме не было ни мучительного и грязного издевательства над человеком и ни одной из тех жутких деталей, которыми Андреев обильно уснастил свой рассказ.

На меня это искажение подействовало очень тяжко: Леонид как будто отменил, уничтожил праздник, которого я долго и

жадно ожидал. Я слишком хорошо знаю людей для того, чтоб не ценить — очень высоко — малейшее проявление доброго, честного чувства. Конечно, я не мог не указать Андрееву на смысл его поступка, который для меня был равносилен убийству из каприза, — злого каприза. Он напоминал мне о свободе художника, но это не изменило моего отношения, — я и до сего дня еще не убежден в том, что столь редкие проявления идеально-человеческих чувств могут произвольно искажаться художником в угоду догмы, излюбленной им.

Мы долго беседовали на эту тему, и, хотя беседа носила вполне миролюбивый, дружеский характер, но все же с этого момента между мною и Андреевым что-то порвалось.

Конец этой беседы очень памятен мне.

— Чего ты хочешь? — спросил я Леонида.

— Не знаю, — ответил он, пожав плечами, и закрыл глаза.

— Но ведь есть же у тебя какое-то желание, — оно или всегда впереди других, или возникает более часто, чем все другие?

— Не знаю, — повторил он. — Кажется, — нет ничего подобного. Впрочем, иногда я чувствую, что для меня необходима слава, — много славы, столько, сколько может дать весь мир. Тогда я концентрирую ее в себе, сжимаю до возможных пределов и, когда она получит силу взрывчатого вещества, — я взрываюсь, освещая мир каким-то новым светом. И после того люди начнут жить новым разумом. Видишь ли — необходим новый разум, не этот лживый мошенник! Он берет у меня всё лучшее плоти моей, все мои чувства и, обещая отдать с процентами, не отдает ничего, говоря: завтра! Эволюция, — говорит он. А когда терпение мое истощается, жажда жизни душит меня, — революция, — говорит он. И обманывает грязно. И я умираю, ничего не получив.

— Тебе нужна вера, а не разум.

— Может быть. Но если так, то прежде всего — вера в себя.

Он возбужденно бегал по комнате, потом, присев на стол, размахивая рукою пред лицом моим, продолжал.

— Я знаю, что Бог и Дьявол только символы, но мне кажется, что вся жизнь людей, весь ее смысл в том, чтобы бесконечно, беспредельно расширять эти символы, питая их кровью и плотью мира. А вложив все до конца силы свои в эти две противоположности, человечество исчезнет, они же станут плотскими реаль-

ностями и останутся жить в пустоте вселенной глаз на глаз друг с другом, непобедимые, бессмертные. В этом нет смысла? Но его нигде, ни в чем нет.

Он побледнел, у него дрожали губы, в глазах сухо блестел ужас.

Потом он добавил вполголоса, бессильно:

— Представим себе Дьявола — женщиной, Бога — мужчиной, и они родят новое существо, — такое же, конечно, двойственное, как мы с тобой. Такое же . . .

Уехал он с Капри неожиданно; еще за день перед от'ездом говорил о том, что скоро сядет за стол и месяца три будет писать, но в тот же день вечером сказал мне:

— А знаешь, я решил уехать отсюда. Надо все-таки жить в России, а то здесь одолевает какое-то оперное легкомыслие. Водевили писать хочется, водевили с пением. В сущности — здесь не настоящая жизнь, а — опера, здесь гораздо больше поют, чем думают. Ромео, Отелло и прочих в этом роде изобрел Шекспир, — итальянцы неспособны к трагедии. Здесь не мог бы родиться ни Байрон, ни Поэ.

— А Леопарди?

— Ну, Леопарди . . . кто знает его? Это из тех, о ком говорят, но кого не читают.

Уезжая, он говорит мне:

— Это, Алексеюшко, тоже Арзамас, — веселенький Арзамас, не более того.

— А помнишь, как ты восхищался?

— До брака мы все восхищаемся. Ты скоро уедешь отсюда? Уезжай, пора. Ты становишься похожим на монаха . . .

Живя в Италии, я настроился очень тревожно по отношению к России. Начиная с 11-го года вокруг меня уверенно говорили о неизбежности общеевропейской войны и о том, что эта война, наверное, будет роковой для русских. Тревожное настроение мое особенно усугублялось фактами, которые определенно указывали, что в духовном мире великого русского народа есть что-то болезненно-темное. Читая изданную Вольно-Экономическим Обществом книгу об аграрных беспорядках великорусских губерний, я видел, что эти беспорядки носили особенно

жестокий и бессмысленный характер. Изучая по отчетам московской судебной палаты характер преступлений населения московского судебного округа, я был поражен направлением преступной воли, выразившимся в обилии преступлений против личности, а также в насилии над женщинами и растлении малолетних. А раньше этого меня неприятно поразил тот факт, что во Второй Государственной Думе было очень значительное количество священников — людей наиболее чистой русской крови, но эти люди не дали ни одного таланта, ни одного крупного государственного деятеля. И было еще много такого, что утверждало мое тревожно-скептическое отношение к судьбе великорусского племени.

По приезде в Финляндию я встретился с Андреевым и, беседуя с ним, рассказал ему мои невеселые думы. Он горячо и даже, как будто, с обидою возражал мне, но возражения его показались мне неубедительными — фактов у него не было.

Но вдруг он, понизив голос, прищурив глаза, как бы напряженно всматриваясь в будущее, заговорил о русском народе словами необычными для него — отрывисто, бессвязно и с великой, несомненно искренней, убежденностью.

Я не могу, — да если б и мог, не хотел бы воспроизвести его речь; сила ее заключалась не в логике, не в красоте, а в чувстве мучительного сострадания к народу, в чувстве, на которое — в такой силе, в таких формах его — я не считал Л. Н. способным.

Он весь дрожал в нервном напряжении и, всхлипывая, как женщина, почти рыдая, кричал мне:

— Ты называешь русскую литературу — областной, потому что большинство крупных русских писателей — люди московской области? Хорошо, пусть будет так, но все-таки это — мировая литература, это самое серьезное и могучее творчество Европы. Достаточно гения одного Достоевского, чтоб оправдать даже и бессмысленную, даже насквозь преступную жизнь миллионов людей. И пусть народ духовно болен — будем лечить его и вспомним, что — как сказано кем-то: «лишь в больной раковине растет жемчужина».

— А красота зверя? — спросил я.

— А красота терпения человеческого, кротости и любви? — возразил он. И продолжал говорить о народе, о литературе, все более пламенно и страстно.

Впервые говорил он так страстно, так лирически, раньше я слышал столь сильные выражения его любви только к талантам, родственным ему по духу — к Эдгару Поэ чаще других.

Вскоре после нашей беседы разразилась эта гнусная война, — отношение к ней еще более раз'единило меня с Андреевым.

Лишь в 15-ом году, когда из армии хлынула гнуснейшая волна антисемитизма, и Леонид, вместе с другими писателями, стал бороться против распространения этой заразы, мы, однажды, поговорили. Усталый, настроенный дурно, он ходил по комнате, засунув одну руку за пояс брюк, другою размахивая в воздухе. Темные его глаза были угрюмы. Он спросил:

— Можешь ты сказать откровенно, — что заставляет тебя тратить время на бесплодную борьбу с юдофобами?

Я ответил, что еврей, вообще, симпатичен мне, а симпатия — явление «биохимическое» и об'яснению не поддается.

— А все-таки?

— Еврей, — суть человек верующий, вера его — по преимуществу — качество, я люблю верующих, люблю фанатиков всюду — в науке, искусстве, политике. Хотя знаю: фанатизм нечто наркотическое, но наркотики — не действуют на меня. Прибавь к этому стыд русского за то, что в его доме — на родине его — непрерывно творится позорное и гнусное в отношении к еврею.

Леонид тяжело привалился на диван, говоря:

— Ты человек крайностей, и они тоже, — вот в чем дело! Кто-то сказал: — «Хороший еврей — Христос, плохой — Иуда». Но я не люблю Христа, — Достоевский прав: Христос был великий путаник . . .

— Достоевский не утверждал этого, это — Нитчше . . .

— Ну, Нитчше. Хотя должен был утверждать именно Достоевский. — Мне кто-то доказывал, что Достоевский тайно ненавидел Христа. Я тоже не люблю Христа и христианство, оптимизм — противная, насквозь фальшивая выдумка . . .

— Разве христианство кажется тебе оптимистичным?

— Конечно, — царствие небесное и прочая чепуха. Я думаю, что Иуда был не еврей, — грек, эллин. Он, брат, умный и дерзкий человек, Иуда. Ты когда-нибудь думал о разнообразии мотивов предательства? Они — бесконечно разнообразны. У Азефа была своя философия, — глупо думать, что он предавал

только ради заработка. Знаешь, — если б Иуда был убежден, что в лице Христа пред ним сам Иегова, — он все-таки предал бы его. Убить Бога, унизить его позорной смертью, — это, брат, не пустячек!

Он долго говорил на Геростратову тему и, — как всегда, когда он сталкивался с такими мыслями, — говорил интересно, возбужденно, подхлестывая фантазию свою острейшими парадоксами. В такие минуты его грубовато красивое, но холодное лицо становится тоньше, одухотворенней, и темные глаза, в которых у него нескрываемо блестит страх пред чем-то, — в такие минуты горят дерзко, красиво и гордо.

Потом он вернулся к началу беседы.

— Но все-таки о евреях ты что-то выдумываешь, тут у тебя — литература! Я — не люблю их, они меня стесняют. Я чувствую себя обязанным говорить им комплименты, относиться к ним с осторожностью. Это возбуждает у меня охоту рассказывать им веселые еврейские анекдоты, в которых всегда лестно и хвастливо подчеркнуто остроумие евреев. Но — я не умею рассказывать анекдоты, и мне всегда трудно с евреями. Они считают и меня виновным в несчастиях их жизни, — как же я могу чувствовать себя равным еврею, если я для него — преступник, гонитель, погромщик?

— Тогда ты напрасно вступил в это общество, — зачем же насиловать себя?

— А — стыд? Ты же сам говоришь — стыд. И — наконец русский писатель обязан быть либералом, социалистом, революционером — чорт знает, чем еще! И — всего меньше — самим собою.

Усмехаясь он добавил:

— По этому пути шел мой хороший приятель Горький и — от него осталось почтенное, но — пустое место. Не сердись.

— Продолжай.

Он налил себе крепкого чая и — с явной целью задеть меня — стал грубо отрицать превосходный, суровый талант Ивана Бунина, — не любит он его. Но вдруг, скучным голосом сказал:

— А женился я на еврейке!

В 16-м году, когда привез мне книги свои, оба снова и глубоко почувствовали, как много было пережито нами, и какие мы

старые товарищи. Но мы могли, не споря, говорить только о прошлом, настоящее же воздвигало между нами высокую стену непримиримых разноречий.

Я не нарушу правды, если скажу, что для меня стена эта была прозрачна и проницаема, — я видел за нею человека крупного, своеобразного, очень близкого мне в течение десяти лет, единственного друга в среде литераторов.

Разногласия умозрений не должны бы влиять на симпатии: я никогда не давал теориям и мнениям решающей роли в моих отношениях к людям.

Л. Н. Андреев чувствовал иначе. Но не я поставлю это в вину ему, ибо он был таков, каким хотел и умел быть — человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины.

Оглавление.

Стр.

Мои университеты 5
Сторож 124
Время Короленко 150
О вреде философии 176
О первой любви 188
В. Г. Короленко 217
Н. Е. Каронин-Петропавловский 237
А. П. Чехов 256
Лев Толстой 274
М. М. Коцюбиньский 321
Леонид Андреев 328

Содержание Полного Собрания Сочинений М. Горького.

Том I. *Макар Чудра. — О Чиже, который лгал, и о Дятле, любителе истины. — Емельян Пиляй. — Дед Архип и Ленька. — Челкаш. — Старуха Изергиль. — Однажды осенью. — Ошибка. — Мой спутник. — Дело с застежками. — Песня о соколе. — На плотах. — Болесь. — Тоска. — Коновалов. — Хан и его сын. — Вывод. — Супруги Орловы.*

Том II. *Бывшие люди. — Озорник. — Варенька Олесова. — Товарищи. — В степи. — Мальва. — Ярмарка в Голтве. — Зазубрина. — Скуки ради. — Дружки. — Проходимец.*

Том III. *Читатель. — Кирилка. — О чорте. — Еще о чорте. — Васька Красный. — Двадцать шесть и одна. — Песнь о буревестнике. — 9-ое января. — Солдаты. — Три дня. — Тюрьма. — Букоемов. — Товарищ! — Рассказ Филиппа Васильевича. — Каин и Артем. — Человек. — Случай из жизни Макара.*

Том IV. *Фома Гордеев.*

Том V. *Трое.*

Том VI. *Исповедь. — Лето.*

Том VII. *Мать.*

Том VIII. *Жизнь ненужного человека. — Городок Окуров.*

Том IX. *Жизнь Матвея Кожемякина.*

Том X. *Детство.*

Том XI. *В людях. — Хозяин.*

Том XII. *Рождение человека. — Ледоход. — Губин. — Нилушка. — Кладбище. — На пароходе. — Женщина. — В ущелье. — Калинин. — Едут. — Покойник. — Ералаш. — Вечер у Шамова. — Вечер у Панашкина. — Вечер у Сухомяткина. — Светло-серое с голубым. — Книга. — Как сложили песню. — Птичий грех. — Гривенник. — Счастье. — Герой. — Клоун. — Зрители. — Тимка. — Легкий человек. — Страсти-Мордасти. — На Чангуле. — Весельчак. — Девушка и Смерть. — Баллада о графине Эллен де Курси.*

Том XIII. *Романтик. — Мордовка. — Девочка. — Пожар. — Кража. — Злодеи. — В Америке. — Интервью. — Сказки об Италии. — Русские сказки. — Жалобы. — Рассказы.*

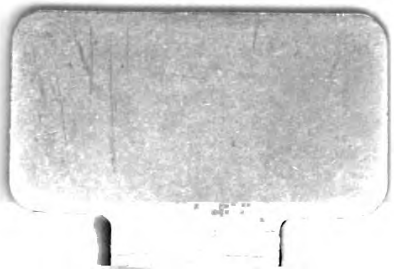
Том XIV. *Мещане. — На дне. — Дачники. — Дети солнца. — Васса Железнова. — Последние.*

Том XV. *Варвары. — Враги. — Чудаки. — Зыковы. — Дети. — Старик.*

Том XVI. *Мои университеты. — Воспоминания.*

Право на настоящее издание полного собрания всех сочинений М. Горького на русском языке приобретено Торговым Представительством С. С. С. Р. в Германии.

Право печатания в России полного собрания сочинений М. Горького уступлено Торговым Представительством Государственному Издательству, а издание за границей — Обществу с ограниченной ответственностью «Книга» (Verlag „Kniga“ G. m. b. H.).

Типография Шпамера в Лейпциге

783118